



# ВВЕДЕНИЕ В МЕДИОЛОГИЮ

режи дебрэ



ОБРАЗ ОБЩЕСТВА





**Régis Debray**

# **Introduction à la médiologie**

Presses Universitaires de France - PUF, Paris 2000

режи дебрэ

# ВВЕДЕНИЕ В МЕДИОЛОГИЮ

Москва  
Праксис 2009



ББК 60.5  
Д26

Серия «Образ общества» выходит в свет при поддержке Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

*Редакционный совет серии:*

В. С. Вахштайн, И. Е. Дискин, Т. А. Дмитриев,  
В. А. Куренной, В. К. Левашов, В. В. Петухов,  
Д. М. Рогозин, А. М. Руткевич, В. В. Федоров,  
А. Ф. Филиппов, И. А. Фомин, А. Ю. Чепуренко

**Дебре Р.**  
Д26 Введение в медиологию / Пер. с франц.  
Б. М. Скуратова. — М.: Праксис, 2010. —  
368 с. — (Серия «Образ общества»).

ISBN 978-5-901574-76-8

Режи Дебре — известный французский политический теоретик левой ориентации, соратник Че Гевары и советник президента Франсуа Миттерана. В 1990 г. он предложил термин «медиология» для обозначения нового учения о средствах передачи знания и традиций, т. е. культурных благ. В работе «Введение в медиологию» (2000), Дебре, опираясь на достижения современной французской философской и социально-научной мысли, предлагает широкий спектр новых понятий и подходов, призванных объяснить процессы коммуникации, происходящие в современном мире.

ББК 60.5

© PUF, 2000

© Б. М. Скуратов, перевод, 2009

© А. Кулагин, оформление обложки,  
2009

© Издательская группа «Праксис»,  
2010

ISBN 978-5-901574-76-8

## К ЧИТАТЕЛЮ

«Образ общества» — таково название серии переводных работ современных европейских социологов, издаваемых «Праксисом» вот уже несколько лет. Название, на мой взгляд, очень удачное, но с одним дополнением: единого образа общества у нас нет и уже не будет, но есть и будут — образы. Работа социологов — изучать и анализировать общество, «возвращая» его ему самому. Но сколько социологов — столько и идей, концепций, образов. И раз появившись, эти образы подчас оживают, и живут дальше собственной жизнью, уже не столько помогая людям понять, в каком же обществе они живут, сколько увлекая их своей объяснительной силой, логикой, красотой.

А самые сильные и правдоподобные из образов общества еще и влияют на самих людей, меняя в малопредсказуемом направлении их взгляды и, в конечном счете, поступки. Как писал Х. Абельс,

созданный наукой образ молодежи оказывает воздействие на само поведение молодежи. Связь здесь, по моему мнению, следующая: признаки тех или иных установок, которые отмечаются в эмпирических исследованиях и проникают в публичный дискурс посредством СМИ, политики или системы образования, кристаллизуются в конкретных ожиданиях, которые, в свою очередь, приводят к реальному возникновению установок, вызывая соответствующие формы поведения.

Эту особенность создаваемых нами образов нужно иметь в виду, когда выпускаешь в жизненную стихию очередной образ. А их за последние несколько десятилетий накопилось немало. Наша задача — познакомить с ними не только молодых социологов, но и профессию, и представителей смежных гуманитарных дисциплин, и — чем черт не шутит? — политиков и общественных деятелей, чьи познания о достижениях социологической науки заканчиваются Гэллапом, Сорокиным и Парсонсом, редко когда — Валлерстайном, Бурдые и Тоффлером.

Начиная с этого года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) присоединяется к издательской программе «Образ общества», взяв на себя содержательные и финансовые обязательства по её поддержке. В этом нам поможет группа хорошо известных и авторитетных в профессиональном сообществе ученых, согласившихся войти в Редакционный совет серии. Надеюсь, ни их, ни наш труд не будет потрачен напрасно, и читатель с благодарностью вспомнит тех, чьими усилиями ему стало доступно новое интеллектуальное наслаждение.

Возможно, не все из предложенного Вашему вниманию покажется Вам новым и действительно заслуживающим интереса. Научный поиск не всегда приводит к истинным открытиям, порой он подобен добыче крупинки золота в тоннах «пустой породы». И чем больше мы меняемся, тем больше остаемся неизменными. В этом выражении емко схвачена диалектика перемен, реформ, революций — и неизбежных, непоколебимых, фундаментальных основ человеческого общества. То, что представляется переменами, часто просто прикидывается ими, как бы свежо и ново оно ни выглядело; а то, что кажется за-

коснелым и устаревшим, подчас открывает свою непреложную и вневременную актуальность, когда дело доходит до главного.

Валерий Федоров,  
генеральный директор ВЦИОМ



«Я не создал ничего нового, я всего лишь передавал наставления древних».

Конфуций, *Беседы*, VII, 1

Особую благодарность я выражаю Франсуа Дагонье, за постоянную и щедрую поддержку; Даниэлю Бунью, Франсуа-Бернару Юйгу, Морису Сашо, Монике Сикар и Доминику Пайни, за ценные замечания и предложения; всем членам комитета редакции *Cahiers de médiologie* за непрерывный вклад в работу.

Без них этот опыт синтеза не смог бы увидеть свет — до такой степени верно, что медиология подобна командным видам спорта.

## СОДЕРЖАНИЕ

Глава I — Время передачи	13
<i>Угол атаки</i>	13
Не просто сообщать: передавать	13
Расширение поля раскопок	25
Что свойственно человеку	34
Приоритет — памятнику	48
Глава II — «The Medium is the Message»	63
<i>Метод стартует</i>	63
Рентгеноскопия клише	63
Медиаферы, первый подход	78
Техника и/или культура: как распознать?	92
Доказательство с помощью искусства	107
Глава III — «Вот это убьет то»	119
<i>Объект: отношения, а не объекты</i>	119
Между вот этим и тем: раствор циркуля (от велосипеда к Боженьке)	119
Вопрос детерминизма: медиум и среда	147
Предшественники в перспективе	163
Глава IV — Эффективность символов	175
<i>Путь от медиума к медиации</i>	175
«Могущество слова»:	
пока еще закрытый черный ящик	175
Вступительный код: Воплощение	191

Двойное тело медиума	202
Глава V — Совет дисциплин	221
<i>Проект: вспомогательное обслуживание</i>	221
Какие центры приютили медиологию?	221
Почему мы не семиологи?	221
Почему мы не психологи?	230
Почему мы не социологи?	236
Почему мы не прагматики?	242
Почему мы не историки?	244
Техническое бессознательное, сопротивления и отрицания	250
Снести еще одну стену	268
Глава VI — Зачем заниматься медиологией?	283
<i>Цель игры: разрядить обстановку</i>	283
Не наука и не панацея	283
Техника против этнологии: опасная зона	294
Высокотехнологичное пророчество, или избыток логики	302
Эффект бега трусцой	310
В сторону техноэтики	322
Библиография	337
Примечания	345

## ГЛАВА I — ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧИ

## УГОЛ АТАКИ

## НЕ ПРОСТО СООБЩАТЬ: ПЕРЕДАВАТЬ

Живые существа представляют собой предмет биологии, линии и поверхности — предмет геометрии, атмосферные явления — предмет метеорологии. На первый взгляд, каждая дисциплина характеризуется своим *предметом*, и тогда возникает искушение сказать: «Медиология есть изучение медиа». Это, однако же, было бы грубой ошибкой. Как справедливо напомнил нам недавно историк техники Андре-Жорж Одрикур, «в действительности, конкретную науку характеризует *точка зрения*, а не предмет. Например, вот стол. Его можно изучать с физической точки зрения, можно изучать его вес, плотность, сопротивление давлению; с химической точки зрения — возможности его сгорания на огне или растворения в кислотах; с биологической точки зрения — возраст и породу дерева, из которого изготовлена древесина; наконец, с точки зрения гуманитарных наук, происхождение и функционирование стола для людей»<sup>1</sup>. Если мы рассмотрим обширный спектр «гуманитарных наук», то увидим, что каждая из них вошла в человеческий род своим путем — и тем самым каждый индивид с течением времени получает несколько «удостоверений личности», в зависимости от планов среза. Каждая дисциплина вычерчивает на одном и том же антропологическом фоне ярко выраженную и привилегированную фигуру, референцию

в новом разрезе. Это «сечение» объективного реального (такой термин принят подразделениями нашего Национального Совета университетов, или CNU) раз за разом черпает всё новые темы из человека, тем не менее, остающегося уникальным, глобальным и цельным. Ибо назначение теоретической работы — разъединять то, что смешивает практика. После двух столетий усилий мы уже достаточно хорошо знаем человека говорящего (лингвистика), желающего (психоанализ), производящего (экономика), входящего в группы (социология), рассчитывающего (когнитивные науки); управляющего или управляемого (политические науки), учащегося или преподающего (педагогические науки) и т. д. А с какой «темой» имеет дело медиология? Не исключая того, что называют «коммуникацией», она более конкретным образом интересуется *человеком передающим*. Поскольку этого последнего мы знаем гораздо меньше, чем ранее перечисленных, нам необходимо сделать чуть более оригинальное или «смещенное» усилие по отношению к предыдущим точкам зрения.

«Оригинальное» не означает ни «чуждое», ни «исключительное». Угол зрения, предполагаемый задачей относительно человеческой реальности, очевидно, не является *исчерпывающим* (сводящим все прочие виды поведения к состоянию эпифеноменов, обладающих некоей изначальной сущностью — как в других науках слово, желание, труд и т. д.). Не является он и *дизъюнктивным*, т. е. требующим от каждого наблюдаемого качества, чтобы оно принадлежало либо к своему плану, либо к какому-нибудь другому (при невозможности перескакивания и смешения). Одна и та же реальность может изучаться согласно сразу и отдельным друг от друга, и совмести-

мыми планами. Тот или иной естественный язык, к примеру, может анализироваться как *средство коммуникации*, позволяющее живым собеседникам способствовать их взаимопониманию. Но у этого языка есть еще и *функция передачи*, которую берет на себя, в особенности, его графика (латинский и кириллический алфавиты, китайские идеограммы, корейский *хангыль*<sup>2</sup> и т. д.), в том, что, конденсируя коллективную память той или иной исторической группы, она увековечивает некую «базовую идентичность», общую всем, кто использует родной язык — систему значений, позволяющую определенной группе живых почувствовать общность принадлежности с мертвыми, принадлежавшими той же группе. В первом случае в качестве материала — синхроническим образом — берутся интеракции между индивидами; во втором, с диахронической точки зрения, интеракции между поколениями. Но речь всегда будет идти об одном и том же языке.

Термин «коммуникация» изведal в наши дни чрезвычайно счастливую судьбу (по причинам, которые мы рассмотрим впоследствии). Чтобы добраться до Континента «передачи», который невидим невооруженным глазом и, подобно всем оперативным понятиям, не может быть познан «просто так» из непосредственного опыта, нам необходимо преодолеть горизонт «коммуникации». Несмотря на то, что он нам хорошо знаком, и несмотря на его права гражданства, или, скорее, из-за них, это будет нашим первым «эпистемологическим препятствием». Такое преодоление уже не будет забвением или небрежением. Оно примет форму интеграции в более сложное целое. Коммуникация представляет собой *момент* более длительного процесса и *фрагмент* более об-

ширного множества, которые мы — по договоренности — назовем передачей [transmission]. Всякое распределение дисциплин имеет в виду — в качестве первого шага — некоторые терминологические решения.

К термину «передача» мы отнесем все, что имеет отношение к динамике коллективной памяти, а к термину «коммуникация» — обращение сообщений в некий заданный момент. Или же, углубляя противоположность, мы скажем, что коммуникация состоит в *переносе информации в пространстве* в пределах одной и той же пространственно-временной сферы, а передача — в *переносе информации во времени*, между различными пространственно-временными сферами. Коммуникация имеет определенный социологический горизонт, а в качестве «стартового трамплина» — межиндивидуальную психологию (между отправителем и получателем, в том первоначальном опыте, который образуется через акт беседы). Передача же имеет горизонт исторический, а в качестве стартовой позиции — некое техническое осуществление [performance] (с использованием материального носителя). В первом случае, через соотнесение известного «здесь» с известным «в другом месте», мы образуем связь (а значит, часть общества); во втором, через соотнесение «когда-то» с «теперь», мы получаем непрерывность (а значит, культуру). Психологи и социологи не могут не интересоваться темой коммуникации (и науками о ней), функционированием медиа и возбуждаемыми ими аффектами. Историки и антропологи не могут не интересоваться тем, что делает — или разбирает — вереница поколений (посредством логической реорганизации хорошо знакомых понятий, продвигаемых от состояния



туманности к состоянию созвездия). Отсюда и здесь и там возникают различные (устные и письменные) разновидности соседства и сродства.

Эти различия могут казаться искусственными и произвольными, и нам справедливо заметят, что для того, чтобы передавать, сначала необходимо осуществлять коммуникацию. Если бы Иисус из Назарета не осуществлял коммуникацию со своим окружением, не беседовал с учениками, не ораторствовал перед толпами, то христианская Церковь никогда не смогла бы обеспечить передачу послания евангельской вести через эпохи и континенты. Это очевидно, но существуют нарушения непрерывности между двумя порядками феноменов; даже если бы эти феномены могли как бы следовать друг за другом (а мы увидим, почему эту очевидность можно в очередной раз подвергнуть сомнению), они требуют понятийных аппаратов, которые могут переходить из одной сферы в другую, но не сливаются.

Аналогично этому, возникает соблазн (хотя и напрасный) свести бином передача/коммуникация к другому биному: публичное вещание/межличностный обмен (между собеседниками, телефонными абонентами или авторами писем). Однако чтобы получить феномен передачи, недостаточно продлевать линии связи (настраивая отправителя на получателя), усложнять сети этих линий (однонаправленные, двунаправленные, множественные), индустриализовать их каналы (печать, радио, телевидение). Верно, скорее, обратное. Критерий состоит не в наличии или отсутствии машинного интерфейса между человеком и человеком, но, наоборот, в наличии или отсутствии интерфейса институционального. Могут существовать (их все больше и больше), согласно за-

главию работы Пьера Шеффера, «машины для коммуникации» (электрический телеграф, телевизор, компьютер). Но не может быть, и никогда не было, машины для передачи. Передача представляет собой коммуникацию, *оптимизированную посредством тела*, индивидуального и коллективного — в двояком смысле «сие есть тело мое» и «крупные корпорации» [corps]. Если коммуникация бывает непосредственная, прямая, радующаяся собственной бренности, то передача не является ни непосредственной, ни безличной. Это могут быть межличностные отношения (между отцом и сыном, преподавателем и студентом, священником и верующим, мастером и подмастерьем и т. д.), технически оснащенные, но технический интерфейс не является достаточным условием. Затем, существуют *акты* коммуникации, коммуникация всегда представляет собой процесс, имеет форму *процессии* (по-гречески *paradosis*, что переводится как «традиция»). Если традиция работает с поколением, с биологическим фактом того, что в обществах существуют дети и взрослые, то передача начинается с воспитания (отец-сын, наставник-адепт, преподаватель-ученик, мастер-подмастерье). Она не останавливается. Как бы там ни было, она разворачивается во времени, согласно обязанностям, определенным иерархиям и протоколам, проходя по этапам или ступеням, как упорядоченное наследование — как это происходит в высших формах традиции, образуемых ритуалами кооптации, принятия в ученики, вступления куда-либо или усыновления (последователь, духовный сын, душеприказчик и т. д.).

«Величайшим триумфом человека (и некоторых других биологических видов) над вещами является то, что он сумел перенести на завтра последствия и плоды вчерашних трудов. Человечество очень медленно возвысилось над кучей того, что длится».

(Поль Валери, *Обрывочные истории*)

«Поддержание пути», или расчистка длительности, не бывает ни без самоотречения, ни без горестей. Не бывает линии духовного наследия без некоего корпуса ограничений — путеводной нити, ведущей через поколения и относящейся к тому или иному институту. Последний необходимо понимать как *генеалогический аппарат* — в двойном смысле: *психического аппарата* (ментально соотносящего индивида с группой, к которой он принадлежит, учитывая всяческие неврозы, которые могут от этого возникнуть) и *аппарата юридического* (фиксирующего правовые правила, руководящие всякими отношениями родственной связи или преемственности, учитывая злоупотребления, которые могут от этого произойти). Увековечивание идей, верований и знаний не может происходить без социального вектора, роль которого состоит не только в гарантии аутентичности, но и в «аффективном согласовании» (Жан Гюйота). Узы коммунитарной филиации способствуют возникновению места воображаемой идентификации (Церковь, Партия, Семья, Компания и т. д.), и нам неизвестна лично принятая генеалогия, которая не пользовалась бы неким мифом или историческим романом — эквивалентом романа семейного (большое или малое повествование). Так складывается легитимность ценностей, или правомерность содержания, и лояльность людей, или их верность передатчику традиции.

Идея того, что можно обеспечить (культурную) передачу с помощью (технических) средств коммуникации, образует одну из наиболее типичных иллюзий «коммуникативного общества», свойственного эпохе модерна, все лучше оснащаемой для завоевания пространства, и все хуже — для покорения времени (остаётся узнать, может ли какая-нибудь эпоха покорить сразу *оба*, или же все культуры обречены предпочитать одно *или* другое). Оставляя в стороне этот философский вопрос, мы удовольствуемся тем, что отметим объективные причины сегодняшнего упоения коммуникацией, чья луженая глотка, несомненно, будет господствовать в начинающемся столетии. Изобличаем ли мы ее мистификации или превозносим возможности, порицаем или хвалим — коммуникация как суеверие образуется от информационного взрыва. Парк наших машин нас восхищает, совокупность наших институтов нам докучает, и притом потому, что первый на всем скаку обновляется, а вторая более или менее самотождественно воспроизводится. Чтобы покорить пространство, достаточно некоего двигателя. Чтобы покорить время, необходима движущая причина *плюс* мотор во всех смыслах слова, или же материальная или формальная машина (как алфавитное письмо), *плюс* социальный институт (школа, например, этот вектор книжной культуры, и даже сплошь и рядом — ее последнее пристанище). Поскольку индустрия, пользующаяся стремительным усовершенствованием *коммуникации*, опережает по скорости институты, пользующиеся медленным темпом *передачи*, новая география сосредоточивает внимание на сетях, убирая на второй план становящиеся все мельче и все более хрупкими звенья в цепи творческой непрерыв-

ности. Вездесущие массмедиа (мондиализация) дисквалифицируют в той или иной степени выдохшиеся и историчные медиа. Первые перераспределили отношения между *здесь и в другом месте* гораздо более ощутимо и явно, нежели отношения между *до и после*. Отсюда привилегия, спонтанно жалуемая общественным сознанием средствам *укрощения пространства* по сравнению со средствами *укрощения времени*. Неоднократно отмечали: территория наша расширяется, а календарь сужается; оптический горизонт отступает, глубина времени растушевывается; и по Интернету мы плаваем легче, нежели по хронологии. Иными словами, в годы, когда весь земной шар может одновременно смотреть по телевизору Чемпионат мира по футболу (синхрония), Расин или Страсти Христовы становятся мертвой буквой для французских школьников (диахрония). Обладание общим прошлым постепенно становится все более затруднительным — как раз по мере облегчения общим владением информацией. Расширение зон мобильности и сужение поля исторического сознания; укрепление технических связей и ослабление символических уз: все более вопиющий разрыв между средствами, посвященными архипелагу Коммуникации и континенту Передачи (и связанным с ними престижем), происходит от вызванного технологическим ускорением неравновесия между двумя гранями — материальной и институциональной — одного и того же диспозитива, занимающегося с начала исторических времен переносом символических благ; между ОМ (обрабатываемой материей) и МО (материализованной организацией). В инверсии целого и части, или в подчинении длительного эфемерному, можно видеть признак подлинного кризиса цивили-

зации — а это официальное имя кризисов передачи; причем сегодняшняя дестабилизация школьных программ телепрограммами является сразу и симптомом, и символом этого кризиса.

Возьмем осязаемый пример: библиотеку. Под этим словом («книжный шкаф») мы понимаем некий запас написанных знаков, сложенный для хранения и консультаций в форме книг и другой печатной продукции в специализированном здании. Такая физическая концентрация образует запасы памяти, внешнее средство внутренней передачи. Это инертное вместилище не только обладает призванием хранить наследие веков, но и — самим своим существованием — способствует оставлению новых подобных следов, служа матрицей для образованного сообщества с его собственными ритуалами (экзегеза, перевод, компиляция и т. д.). Библиотека порождает писателей подобно тому, как кинотека — кинематографистов. Этот учреждающий локус был в прошлом институирован неким суверенным, чисто политическим актом. Образованный мир не является самодостаточным (*translatio imperii et studii*<sup>3</sup>). Великие библиотеки отсылают к эпонимичному имени через некий локус. Так, Александрийская библиотека отсылает к Александру Македонскому. За Гомером (позднее собрание так называемых гомеровских следов) стоял Писистрат. За Конфуцием — империя Хань. За Пергамской библиотекой — Атталиды. За Багдадской — Аль-Мансур. А Национальная библиотека Франции носит имя Франсуа Миттерана. Нет библиотеки, которая не была бы королевской, халифской, папской, княжеской, сенатской, парламентской или президентской, институтской, орденой или университет-

ской. То, что общение между учеными поощряется и производится библиотекой, не может скрыть институциональной аналогии этого инструмента, как продолжения и дополнения для некоего организованного сообщества (способного пережить своего основателя). И безразлично, идет ли речь о той или иной школе мысли, вроде лица Аристотеля, об ассоциации частного права (в Древней Греции не было публичных библиотек); идет ли речь о Церкви или о монашеском сообществе, о колледже или об университете; о должным образом очерченной и упорядоченной академической или просвещенной (как в эпоху Ренессанса) среде. Вот где *опора опоры* — невидимый оператор передачи, по отношению к которой библиотека служит зримым медиумом, но не двигателем. Точнее говоря, именно подобное институтированное сообщество *преобразует хранилище в вектор*, совершая при этом собственное увековечение (Школа, Церковь, Строй, Нация и т. д.). Его библиотека будет «протезом», необходимым для его воспроизведения, но средство переноса здесь — не самодвижущееся; речь не идет о том, что сущность этого сообщества мобилизуется какими-то предварительными органическими требованиями. Ведь нельзя утверждать, что кладовая для провизии сама обеспечивает питание. Содержащаяся в книгах внешняя память обретает силу только из внутренней памяти некоей группы. Кладовая памяти напоминает памятники: она может служить для того, чтобы отложить нашу память в сторону, чтобы с громадными расходами торжественно ее увековечить — дабы, в свою очередь, освободиться от нее, избавиться как от балласта, сложив на стеллажах или в компьютерных программах (извращенная функция памятника,

которая не ускользнула от Фрейда). Иными словами, если бы коллективная память просто хранилась в «локусах-памятниках», то коллектив быстро охватила бы амнезия. Системные компьютерщики, программирующие и создающие дистрибутивные сети все усложняющейся информации, не заботясь о предварительных условиях ученичества и наставничества, стали жертвами упомянутого смешения. Это означает пренебрегать тем, что книга еще не делает читателя (скорее, наоборот), и что банк линейных данных не вызывает *ipso facto*<sup>4</sup> соответствующих способностей к усвоению знаний. Тем самым мы видим, как, с одной стороны, власти в сфере образования выводят классиков из программы средней школы, заменяя чтение текстов чтением газет, и в итоге в школе воцаряется чтение обрывков текстов; с другой же стороны, власти в сфере культуры субсидируют оцифровывание классиков, чтобы облегчить к ним доступ, и при этом удивляются, что некоторые читальные залы в наших электронных мавзолеях пустуют. Несообразность? Да, но основанная на заблуждении. Оно состоит в том, что физический перенос информации принимается за социальную передачу знаний. Или за средство их продвижения.

Мимоходом заметим, что это не оплакивание утраченных гуманитарных наук, но призыв к необходимости: вспомнить место институционального момента во всем процессе передачи. Или, точнее говоря — если оставаться в пределах записанной памяти — к необходимости посредника между актуальными текстами и потенциальными читателями; к необходимости своего рода издательского института с его классическими атрибутами каталогизации, отбора и иерархизации информации<sup>5</sup>.



Скажем то же самое иначе. В «инфокоме»<sup>6</sup> ударение спонтанно ставится на сами медиа, на характеристики их каналов или материальной основы. В «медии» тоническое ударение, скорее, ставится на медиацию (суффикс действия *ция*), неотделимую от ее оснащения. Медиологический анализ упорядочивает и подчиняет школу — образованию, музей — выставкам, библиотеку — чтению, мастерскую — ученичеству, лабораторию — исследованиям, церковь — культу и т. д. Возвышать «места памяти» над сообществами запоминающих людей и делать эти места независимыми от этих сообществ равнозначно фетишизации здания и, так сказать, отделению места обитания от самого обитания, или тела от души. И душа здесь — не нематериальное дуновение, но материализованная организация (допустим, Церковь), способная пережить свое изначальное средство коммуникации (устную проповедь), используя — в хронологическом порядке — рукописный свиток, печатную книгу, радио и экран, в соответствии с имеющимися в распоряжении ресурсами; словом, «соответствуя эпохе» (телеевангелизация).

## РАСШИРЕНИЕ ПОЛЯ РАСКОПОК

Из этих предпосылок возникает более обширная территория для раскопок, нежели та, что обычно достается исследованиям по коммуникации. И сразу же понятно — почему. Коммуникация с самого начала — благодаря реестровой связи с массмедиа — находится в мире языковых или родственных им знаков («язык музыки», «язык кино»), тогда как передача — по ту и по сю сторону вербального носителя смысла — включает и много других таких но-

сителей: жесты и локусы, как и слова и образы; церемонии, как и тексты; телесный и архитектурный элементы в той же степени, что и «интеллектуальный» и «моральный». Например, христианские формулировки после их фиксации передавались к нам из поколения в поколение посредством песнопений и календарных праздников, церковного золота и органов, витражей и алтарей, процессий и причастий, гостии на языке, кадильного дыма в ноздрях и голых камней под ногами кающихся — а также с помощью чтения или проповеди. Аналогичным образом, понятие нации передается знаменем и колокольным звоном по погибшим, мраморной могилой героя и деревенской стелой, фронтоном мэрии и посещением поля битвы — равно как и школьными текстами и предвыборной риторикой. Нет такого создания ценностей, которое не было бы производством или переработкой предметов и подвигов: не бывает движения идей без движения людей и благ (паломников, товаров, колонов, воинов, послов); не может быть новой субъективности без вспомогательных средств для памяти (книг или свитков, гимнов и эмблем, инсигний и памятников). Эти оперативные цепочки беспорядочно перемешивают недвижимое и подвижное, идеальное и тяжеловесное. Медиолог христианского движения заинтересуется как *кодексами*, так и Евангелиями, как заимствованными у апостолов путями, так и их посланиями. А медиолог национального чувства во Франции — железными дорогами и телеграфной сетью не меньше, чем крещением Хлодвига или мемуарами де Голля; мостами и шоссе, как и лекциями Ренана; состоянием мостов и дорог, как и школьными учебниками; водопроводами и линиями электропередач, как и армиями и академи-

ями, словом, *вещами* (тривиальными), как и *людьми* (знаменитыми), и *текстами* (основополагающими).

«Прекрасная поэма, идея, открытие — это не имеет определенной ценности. Если они разрушаются, прежде чем быть познанными, то ничего и не было. Если же они оказывают воздействие, если они цепляются за одного человека, а потом за другого, то их значение становится не предвидимым; оно сопричастно тому, что произойдет с этим человеком. Если человек погибнет без других последствий, то они погибнут точно так же».

(Поль Валери, *Записные книжки*)

Инвентарь документов должен расширять свою социальную опору, и потому не может здесь отделаться от политики. Это материя, соседствующая с политической. Каждому хорошо известно: всякое распространение тезисов имеет в виду борьбу за власть (будь то в психиатрии, в теоретической физике или в менеджменте). Здесь действует принципиальное условие, согласно которому *передавать* означает *организовывать*, а *организовывать* — волей-неволей *создавать иерархию*. Чтобы связать людей между собой в горизонтальном измерении, необходимо драматически начать, разделяя их в измерении вертикальном. По существу, неизвестны организации без структуры упорядоченности, без позиций первого, второго, третьего ранга и т. д. Отказ от иерархий зачастую совпадает с отказом от опосредования: это *упование на мгновенное озарение*. И оно достаточно близко к анархизирующей позиции, сводящейся к ностальгии по утраченной непосредственности (как мы это видим в случае с ситуационизмом). В христианской античности задачи наставника явным образом выпадали епископу, главе общины (ав-

торитет решает, о чем необходимо мыслить), а иудейская традиция превращает наставника, раввина, в отца своих учеников. К тому же великие передатчики христианского Послания скрупулезно уточнили церковную иерархию (Псевдо-Дионисий Ареопагит скалькировал ее по образцу ангельских чинов). Мы видели, что происходящий во времени процесс телекоммуникации, объединяя предков с потомками, не сводится ни к физическому механизму (к звуковым волнам или к электрической схеме), ни к индустриально изготовленному прибору (радиоприемник, телевизор, компьютер). Чтобы сообщение продолжало циркулировать после смерти своего передатчика (и своих первых адресатов); чтобы мертвый сумел схватить живого, но живой сумел восторжествовать над мертвым, передача должна прибавить к инертным векторам памяти живую схему органограммы. Отсюда рождается драма с многочисленными отзвуками, с захватами наследства, расколами, схизмами и отходом от заданных путей. Самомалейшая коммуникация обладает некоей стоимостью, потому что ни одно устройство не может без энергетических затрат извлекать сигналы из окружающей среды, подавляя случайную паразитность сигнала. Однако первому звену в цепи передачи (скажем: апостол Павел или Ленин, Фрейд или Лакан), помимо откашливания собственного рупора, приходится сталкиваться и с плевками противников. И тогда «шум» будет не неизбежным фоном всякой информации, но следствием борьбы за выживание в среде, где — как и для биологических видов, конкурирующих в одной и той же экологической нише, — для всех кандидатов на вечность нет (равноправного) места. Отсюда маневры высокой политики (объединение, фильтра-

ция, исключение, конфискация, кооптация, ликвидация и т. д.), проводимые под давлением селекции, чтобы защититься от исключения, осуществляемого соседом. Ведь в противном случае концом бывает упразднение (например, закрытие Афинской школы Юстинианом в 529 г.).

По примеру всего, что служит иммунизации коллективного организма от беспорядка и агрессии, передача неизбежно задействует воинствующую (а иногда и военную) стратегию. Битва внутри, битва снаружи (пропагандировать свою веру или свои идеи означает бороться с враждебными). Коммуникация возможна просто «на все четыре стороны». Что касается передачи, то мы намеренно передаем как раз «наиболее драгоценное для нас», и то, что затрагивает живые произведения: значительные секреты (семьи, государства, изготовления, сердец, долгот, металлов, ремесла, партии, богов и т. д.); то, увековечивание чего позволяет коллективу образовывать единое целое, проецируя себя в общее будущее, — и ориентироваться в настоящем, отличаться от соседа, шагать с высоко поднятой головой. Это вещи, которые нельзя бросать на произвол судьбы, но они требуют инициации — постепенной и с помощью хорошо подобранных слов. Журналист осуществляет коммуникацию, преподаватель передает (отличие информации от знания). Нотариус регулирует преемственность, священник обеспечивает традицию (акты отличаются от ритуалов). Чтобы вступить в коммуникацию, достаточно заинтересоваться. Чтобы должным образом передавать, необходимо преобразовывать, а то и преображать. Находясь на страже цельности некоего *мы*, а не только соотнося два или несколько *я*, передача неотделима от постро-

ения идентичности, которое для индивидов больше касается «быть», нежели «иметь». И построение это столь же основополагающее, сколь хрупкое, потому что оно не относится к сфере основных жизненных программ — питания или секса, — но имеет в виду кропотливое плавание против течения энтропии (ведущей к дисперсии и исчезновению). Настоятельно необходима телесная «обработка» публики и ее публичных *тел* (обработка ремесленная, мистическая или наставительная — чему служат чародеи, барды, греки и римляне, аэды, клирики, пилоты, школьные учителя, катехизаторы), чтобы без всякой генетической гарантии продлевать жизнь корпуса знаний, ценностей и ноу-хау, который — плавающим движением между «сегодня» и «вчера» — определяет личностность коллектива.

Наконец, медиолог неизбежно оказывается погруженным в антропологию, которая изучает большую длительность, подходя к границам бесписьменного общества. Переходить от коммуникации к передаче означает менять хронологическую шкалу — что в словосочетании «перенос информации» радикально изменяет дальность действия первого слова. При коммуникации, взятой вместе с сопутствующими явлениями, прием играет такую же роль, что и передача (одна и та же телепрограмма может изменить смысл в зависимости от публики), но цепь массмедиа остается слишком короткой, чтобы изменить смысл сообщения в глубину. А вот организация коммуникации, наоборот, предполагает подлинную отделку содержания. *Перенос* сообщения, взятый в большой длительности, приводит к *преобразованиям*. Культурные сети и экспансия культуры используют длинные схемы. Общее для религии, искусства

и идеологии — то, что они пользуются продлениями таких схем, чтобы получить возможность (не всегда получая ее) долгосрочно обустроиться (если картины на песке у индейцев навахо делаются, чтобы тотчас стирать их, то возобновление способности *medicine-man'a'* осуществлять его эфемерные дела предполагает передачу некоего умения, т. е. победу над эфемерным). Человек, с которым имеют дело масс-медиа, ведет счет на недели, дни и даже минуты; человек медиологии — на десятилетия, а то и века. Мы передаем для того, чтобы то, чем мы живем, во что верим и что мыслим, не умерло с нами (это точнее, нежели со мной). Чтобы так получилось, нам позволено прибегать к наилучшим мнемотехническим средствам (устная поэзия с ее ритмами и припевами, рисунок, карикатура, аудиокассета и т. д. — отдаваясь воле предполагаемой аудитории или имеющейся у нас в распоряжении аппаратуры). Эти долгосрочные послания повышают шансы на выживание, сокращаясь (набросок здесь уместнее, чем рисунок), но сокращение или конденсация служат тут лишь тому, чтобы «выдолбить русло», произвести отпечаток. Средства, производящие впечатление, отличаются от средств, оказывающих влияние. Совместимая с актом коммуникации, мимолетность послания противоречила бы передаче. Ни к одной из доктринальных филиаций, путь которых медиолог может хоть как-то восстановить — как в случае с первоначальным христианством и «пролетарским социализмом» — невозможно подойти через «коммуникацию». Вера в живого Христа, эти слухи не передавались через газеты, а марксистская благая весть не передавалась по радио. Рамки мысли, послужившие матрицами для христианского и коммунистического дви-

жения, относятся к области истории ментальностей гораздо больше, чем к медиа. Отсюда мы видим, что массмедиа, или «средства массовой информации» (пресса, радио, телевидение), служат для медиолога тем же, чем пирожные «мадлен» были для Марселя Пруста — не меньше, но едва ли больше: удобным случаем обрести «детство человечества», или отправную точку для восхождения (к скрытым принципам умопостигаемости).

---

Коммуникация и передача являются регистрами, которые надо не сопоставлять, но координировать. Обе зависят друг от друга. Первая служит необходимым, но недостаточным условием для второй. Стало быть, мы можем рассматривать изучение коммуникации, как уже хорошо исследованную страну, которую необходимо расположить на континенте с неточными или недостаточно точными координатами, хотя о его размерах (и ставках открытия) мы уже догадываемся.

Итак, предстоящая перед нами таблица предназначена для того, чтобы создать некую диалектику (и диалог), но не противопоставлять области исследования друг другу.

---



# ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧИ

	<i>Коммуникация</i>	<i>Передача</i>
<b>Масштаб времени</b>	Краткое время, синхрония. Актуальность, скорость.	Долгое время, диахрония. Отпечаток, вечность.
<b>Центр тяжести</b>	Информация Для «пользования»	Ценности и знания Для «памяти»
<b>Вектор пространства</b>	Техническое устройство [Dispositif technique] ОМ (организованная материя)	Устройство + институт  ОМ + МО (материализованная организация)
<b>Природа времени</b>	Современный получатель (соприсутствующий или телеприсутствие). Со-бытие в одно и то же время	Будущий адресат  (через сопринадлежность к одной линии «потомства»). Со-бытие последовательное
<b>Социальное сродство</b>	Предприятия и «власти» (логика рынка)	Институты и «авторитеты» (ради не прибыльной цели)
<b>Научное соседство</b>	Социология и социальная психология	История и антропология
<b>Символическое измерение</b>	Нет необходимости (прагматические связи между индивидами). Рамки «потребностей»	Необходимое (связи через поколения).  Рамки «обязанностей».
<b>Основные локусы</b>	Телевидение, журналы, радио, Интернет, self-media и т. д. Сети	Музеи, библиотеки, школы, церкви, академии и т. д.  Координаты

	<i>Коммуникация</i>	<i>Передача</i>
<i>Ассоциирующиеся термины</i>	Мнения, консенсус, аудитория, убеждение, впечатление, публичность, журналистика, интерактивность и т. д.	Памятник, наследие, архивы, религия, идеология, образование, достояние, вступление в члены и т. д.
<i>Период релевантности</i>	Современная эпоха (индустриальная современная)	Все эпохи (инвариант накопления)
<i>Типичное порицание</i>	«Это что-то «архео», знаем-знаем!»	«Это что-то «нео», не удержится!»
<i>Типичная похвала</i>	«Какова аудитория!»	«Какова выживаемость!»

## ЧТО СВОЙСТВЕННО ЧЕЛОВЕКУ

Изучение фактов передачи — которое «на выходе» разменивается на изучение случаев, представляющих непосредственный интерес, — неотделимо от воззрений на становление человека в длинном ряду животных. «На входе» медиолог постулирует антропологию.

Расширяя временные рамки эволюции и пространственные рамки эволюции гоминидов, палеонтологи придумали множество мостков между животным и человеком. Разрывы и границы оказываются растяжимыми. Остается одна черта, которую с полным правом можно счесть отделяющей *sapiens sapiens* от других приматов. Мы — единственный вид животных, способный передавать из поколения в поколение не просто способы поведения, но и новые творения. Законы поколений неспособны объяснить это накопление приобретенного, ибо молекулярная биология учит нас, что «ядерная структура

[молекулы] недоступна для приобретенного опыта и остается инвариантной на протяжении поколений» (Франсуа Жакоб). Тем не менее тривиальным фактом стало то, что человек XXI века имеет больше способностей воздействовать на свое окружение, видоизменять собственную эволюцию, чем имел его предшественник из XIX века, а также человек XVI века, и так вплоть до неолита. Не пренебрегая тем, что шимпанзе передают друг другу некоторые способы поведения, связанные с добыванием корма, и что эта прерывность вписывается в континуум живого, мы все-таки можем обнаружить «антропологическое различие» в *кумулятивной последовательности*. Существуют животные *общества* значительной сложности; зато неизвестна, например, животная *культура*, которая способствовала бы, например, тому, чтобы нынешнее поколение львов или муравьев обладало большей компетенцией, чем столетие или два назад. Как бы ни варьировали их жизненные среды, окружающая среда решает за них, а их генетическая программа программирует индивидуальную жизнь. Даже если эти виды могут постепенно найти себе экологическую нишу, без генеалогии они не имеют истории. Отсутствующие как в собственном прошлом, так и в собственном будущем, крепко запертые в настоящем без начала и конца, они не оставляют *следов*. Нет животной *традиции*, которая нанизывалась бы на нить времени, прибавляясь к вечности жизненных стереотипов. Опыт животного является утраченным для его вида, и при каждом рождении животному приходится все начинать заново. Итак, если отвлечься от генетических мутаций, представляющих собой изменения в масштабе всей Земли, то сложнейшие обще-

ства животных остаются инвариантными. Так, колония полиандрических пчел, чей мельтешащий танец вокруг улья я наблюдаю сегодня, осталась неизменной по сравнению с той, которую наблюдал Вергилий в римской Кампанье, но у группы римлян, которую я вижу на Пинчо, другие мысли и нравы, нежели у обитателей Семи Холмов во времена Августа. Вот и вся разница между естественной и нашей историей: в нашей длительность может стать творением, потому что каждый располагает резервуарами прошлого. *Ното* совершает инновации посредством того, что он накапливает. Итак, имея ту же зависимость от космологии, что и прочие приматы, человек отличается от них способностью усваивать виды поведения, какового он не переживал, и не изобретенные им нормы. Тем самым всякий индивид на правах роли встраивается в трансперсональный — поскольку искусственный — мир, который начался и продолжится без него.

Именно потому, что он обладает этой экстрабиологической способностью добавлять к своей органической программе (ДНК) не органические, но организованные элементы (обработанные камни, орудия труда и т. д.), человек эпохи перехода от первобытного к современному смог создать культуру — если понимать под ней сумму приобретений, накопленных и переданных биологическим видом, начиная с его доисторического возникновения («культуру» в описательном, а не нормативном смысле, противопоставленную «дикарству», а не «некультурности»). Итак, изучение передачи помещает нас в средоточие культурной антропологии — чего не могла сделать коммуникация, понятие не столь отчетливое или более расплывчатое. Не будет неуместным сказать, что

моя природная среда сообщает [communiqué] мне информацию — зрительную, слуховую, обонятельную и т. д., — или же что животные посылают друг другу и получают друг от друга *сообщения* (этим занимается зоосемиотика). Но никто не скажет о животных, как и о моей природной среде, что они обеспечивают передачу. Если угодно, все образует сообщения — от естественных до социальных стимулов, от сигналов до знаков, — но не все образует наследие. Нервная система индивида под старость изменяется, а ее работоспособность [performance] слабеет — ведь разрушенные нейроны заменить невозможно; а вот нервная система человечества непрестанно приумножает связи и усложняет свои операции. Тем, чем мы являемся, мы, к счастью, являемся не раз и навсегда, потому что каждый день добавляем некие плюсы и минусы к наследственному запасу — способному прореагировать на наши действия обратной связью (живая инженерия и «генетические манипуляции»). Жизнь предлагает нам своего рода мнемохимию, а культура — мнемотехнику, продолжение мнемохимии другими средствами. Из этих добавлений к памяти письмо, экстериоризирующее и материализующее мысль, несомненно, имело наиболее плодотворные последствия. Бесписьменные культуры, разумеется, не могут считаться «некультурными». Поскольку они опираются на устные формы, они являются в высшей степени традиционалистскими, но только не «историческими» в собственном смысле слова.

Объяснимся образно: если бы *homines erecti*<sup>8</sup> эпохи нижнего палеолита довольствовались коммуникацией между собой, дружески беседуя вечерами вокруг костров в теплом сердечном единении, то человечество так никогда и не возникло бы. Кроме того,

ради нашего счастья они изготавливали твердые щепки, клинки, наконечники копий, дротики — и долговечность всего этого превосходила годы их жизни. Эта-то «мертвая память», накапливаемая и подвижная, передавала по эстафете и расширяла их живую память, с необходимостью смертную и мимолетную. Найти объект для этого — вот в чем была мудрость. Доверить труд прочному материалу — наименее ненадежное средство увековечить этот труд. Такое освобождение от биологического времени превратило наше семейство приматов в *work in progress*<sup>9</sup>, когда смертность индивида получает компенсацию (а то и утешение) от коллективного бессмертия биологического вида.

Нельзя сказать, что материалы, образующие духовную традицию, не поддаются воздействию времени или избегают вандализма со стороны других материалов. Архивы тоже подвержены общей коррозии (папирус разрушается от влажности, пергамент — от огня, бумага — кислотой, виниловые пластинки — под воздействием тепла, магнитная лента — размагничиванием и т. д.). Рисунки в пещерах искажаются, кованое железо ржавеет, мрамор рассыпается, обои обесцвечиваются, ацетат целлюлозы разрушается сам. Бактерии, грибы, насекомые и водоросли не щадят твердых тел (вот почему существуют Дирекция по национальному достоянию, исследовательские лаборатории, хранители предметов искусства, реставраторы и инспекторы исторических памятников). Впрочем, землетрясения продолжают разрушать в Ассизи фрески Чимабуэ. Хотя и менее пластичные, неорганические вещества остаются надежнее органических, если необходимо замедлять последствия законов энтропии. «Самая крепкая память слабее

самых бледных чернил» — гласит китайская поговорка. Фактически парадокс состоит в том, что вспомогательное средство для памяти содержит больше, чем память; шпаргалка [*pense-bête*] — больше, чем мыслитель. Отполированный камень продолжает жизнь своего полировщика, и в самом что ни на есть грубом орудии труда можно увидеть безмолвного паромщика, самый ветхий из наших ветхих заветов, единственный, изготовить который оказалось по силам для тех, кто не оставил завещания, так как не пользовались письменностью. Доисторические орудия труда можно отнести к наследию, доставшемуся нам от первобытных людей (говорим же мы о «первобытном искусстве») — это своего рода материализованный банк данных, глыба практического знания, хранящаяся в глубине пещеры. Хранение, порождающее знания, начинается между случайным использованием чего-либо в качестве орудия (шимпанзе ставит ящики друг на друга, чтобы сорвать банан) и непрерывным преодолением «искусств и ремесел». Самомалейший артефакт выходит за рамки всякой случайной функциональности: он включает в себя неформальную информацию, т. е. целую серию жестов, приведших к ее производству, и серию тех жестов, каких требует всякое ее новое использование («операционная цепь», уже включающая интеллектуальное в материал и ментальное в малейший жест). В отличие от *инструмента*, который может исчерпываться в немедленном употреблении, *орудие труда* изготавливается *до* и хранится *после* своего применения. Наиболее примитивные орудия функционировали как «хранилища памяти». Так, рубило, вырезанное из миндального ореха, в любом случае представляет собой вектор культуры, носитель

приобретенной компетенции (выдалбливание), совершенствуемой от поколения к поколению долбителей.

*Извлечение запасов для хранения из некоего потока* становится — благодаря их сбору — стандартным процессом полезной аккультурации, которая переводит незначащее в сферу смысла. Как мы видим в сегодняшнем расширении достояния памяти на аудиовизуальные потоки (создание Государственного хранилища образов и звуков во Французской Инатеке<sup>10</sup> превратило телевидение в объект рефлексии, подлежащий особому изучению, делающий возможными специализированную педагогику, историю и особые критические знания). Работа с наследием, отнюдь не будучи декоративным приложением к душевной жизни, знаменует собой возникновение новой цели для цивилизации (так, после того, как радио- и телепередачи собираются и индексируются, появляются радио- и телекультура). Складирование запасов может представлять собой неясный, чрезвычайно небрежный и внешне второстепенный момент мнемотехнического процесса, и все-таки это основополагающий и решающий момент, поскольку он обеспечивает прыжок из незапамятных времен в памятные. Условием является наличие резервуара. Передают лишь то, что смогли сохранить. Невозможно продлить срок жизни, не накопив. Нет сельского хозяйства без амбаров. Нет цивилизации без ангаров, резервуаров, хранилищ, магазинов, запруд, каретных сараев и т. д. Нет символического обращения без библио-, пинако-<sup>11</sup>, глипто-<sup>12</sup>, кинема-, видео- и *Ина-теки* (от греч. *thêkê* — хранилище, вместилище, шкаф). Форма *х-тека* является канонической, сопутствующей всякому состоянию общества.



Умение изготавливать «протезы»<sup>13</sup>, которое превратило биологического человека в человека культурного (Бернар Стиглер: «С самого начала человек является человеком лишь потому, что он сочетает свою нервную и церебральную память с искусственными устройствами поддержки памяти»), дает неоспоримое объективное основание доктринальным тезисам о совершенствовании (XVIII в.) и о прогрессе (XIX в.). Речь идет о поистине родовом свойстве человека: *self-made man*<sup>14</sup> никогда не существовал; мы возникли благодаря всем, кто нам предшествовал. В начале «Рассуждения о происхождении и основаниях неравенства между людьми» Жан-Жак Руссо с интуицией, предвосхищающей будущее, рассмотрел эту исключительную черту как способную положить конец спорам о соответствующих способностях человека и животного — силе, подвижности, чувствительности и т. д. «Но если бы трудности, — писал этот первый из антропологов эпохи модерна, — с которыми связано изучение всех этих вопросов, и оставляли все же некоторый повод для споров относительно этого различия между человеком и животным, то есть другое, весьма характерное и отличающее их одно от другого свойство, которое уже не может вызвать никаких споров: это — способность к самосовершенствованию, которое с помощью различных обстоятельств ведет к последовательному развитию всех остальных способностей, способность, присущая как всему роду нашему, так и каждому индивидууму, в то время, как животное, по истечении нескольких месяцев после рождения на свет, становится тем, чем будет всю жизнь, а род его, через тысячу лет, — тем же, чем был он в первый год этого тысячелетия»<sup>15</sup>. Это «весьма характерное свойство»

внушало грандиозную картину творения уже Паскалю: «Всю последовательность людей на протяжении стольких столетий необходимо рассматривать как одного и того же человека, который всегда остается жив и непрерывно учится». Проницательный Огюст Конт, в свою очередь, скажет, что «человечество состоит не столько из живых, сколько из мертвых», и определит культуру как «культ великих мертвых». Например, гименоптерам (перепончатокрылым) это «чуждость» неведомо, и никто не подумает о хищниках, как о тех млекопитающих, которые непрерывно растут и непрерывно учатся. Не будем же — вслед за великими моралистами — задаваться вопросом, соответствует ли это уникальное качество испытывать, архивировать и накапливать прежде не существовавшие вещи совершенствованию или деградации *phylum'a*; необходимо ли — вслед за спиритуалистами — видеть здесь доказательство божественного принципа восхождения к «точке омега» или, наоборот, роковой отрыв от наших священных истоков; что лучше: вместе с Мальро превозносить культуру как «наследие благородства мира» или клеймить ее в ницшеанском русле как клеймо больного животного в нас («упадочничество безграмотности»). Описательные суждения медиолога располагаются за пределами этих спекулятивных телеологий. Кроме того, он не должен (в том, что касается качеств) вдаваться в морализаторские рассуждения о традиции как личной ответственности, например, задаваться вопросом о том, должно ли чувство долга побеждать отказ от уз верности; ресурс ли память или бремя. Вероятно, она и то и другое, но здесь это неважно. Единственная претензия медиолога — превратить передачу в объект позитивного, не пророче-

ского и не полемического дискурса. Он довольствуется критическим вопрошанием: при каких материальных и социальных условиях возможно наследие? Это столь же тривиальная, сколь и необычная любознательность — подобная тем плодотворным вопрошаниям, что на каждой стадии мысли начинали с преобразования банальности в загадку.

«Кумулятивный» не означает «непрерывный». Получение наследия не отождествляется с механической «утраской» достояния. Конечно же, наследие состоит из разрывов и явного отбрасывания (языческой Античности — христианством, Средневековья — Ренессансом, Старого режима — Революцией и т. д.). Подобно тому как продвижение вперед представляет собой череду падений, которые приходится наверстывать *in extremis*<sup>16</sup>, а реноме — совокупность абсурдов, так и всякая коллективная родословная представляет собой спираль изобретений, окольных путей, реинтерпретаций, новых аффектаций, иногда — насильственных разрушений; противоположность спокойной реке. Но если наследие является каждодневно возобновляемой конструкцией, то последняя предполагает, по меньшей мере, что предшествующее не отменяется, и что некое «так уже было» может сохраняться в некоем «так еще есть». И прежде всего, именно сохранение следов или древностей, которые время от времени можно активизировать, делает возможной революцию. «Раздумья без следов становятся исчезающими», — писал Малларме. Что такое геометрия? Начертание фигур Евклида. А христианство? Написание слов Евангелия. А живопись? Сохранение черт и пигментов. След — благодаря своему упорству — социализирует и трансиндивидуализирует индивидуальные воспо-

## ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ «ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ» СЦЕНАРИЙ

«Записной» гуманизм в *теоретическом* смысле слова разнообразен в своих перипетиях, но постоянен в правилах. Интрига вызывает столкновение двух антагонистических полюсов — субъекта и объекта. Первый представляет собой негативное явление по отношению ко второму, его пагубную изнанку и всегда затаившегося врага. Эта антиномия является радикальной. Мир вещей подчиняется господству *необходимости*, мир духа есть средоточие *свободы*. *Внешнее* — это раб, это locus всевозможных детерминизмов (технические принуждения, социальные структуры, природные силы). *Внутреннее* автономно, это место эмансипации (интеллектуальные суждения и моральные решения). Всякий раз, когда внешнее побеждает внутреннее, человек «овеществляется» (= становится вещью) или же «отчуждается» (= становится чужим самому себе). Тогда он утрачивает духовную независимость и умение. Чтобы обрести безусловную суверенность, ему необходимо оторваться от зачарованности, от привязанности к кускам воска (Декарт) и вернуться *bei sich*<sup>17</sup>, в свои края, в самого себя («Возвратись в самого себя, Октав, и перестань сетовать...»). На основе этой известной с незапамятных времен драматургии можно сформировать широкое разнообразие антитез: человек против машины (или «Франция против роботов»). Экстериорность против интериорности. Артефакт против природы. Ненужный излишек против изначально необходимого. «В-себе» против «для-себя». «Иметь» против «быть». Пассивное против активного. Застывшее мертвое против подвижного живого и т. д. Эти бесчисленные варианты, более или менее патетические, считают заданным фактом, что субъект конструируется с изнанки объекта и против него (подобно тому, как культура — против индустрии).

Вслед за открытиями и приобретениями палеонтологии человека (Леруа-Гуран) мы намеренно выступаем

против этого философского сценария, унаследованного у изначального идеализма. Для нас человеческий субъект строится вместе с объектом и при помощи объекта, в непрестанном маятникообразном движении. Ибо объективация субъекта, к счастью, преодолевает его. Именно превращаясь в чувствительную материю, например, в надписи, наша мысль выставляет себя на всеобщее обозрение и становится противопоставляемой самой себе и всем остальным. Уединенный дух чахнет и умирает; он оживает посредством буквы, которая оплодотворит, в свою очередь, и другие умы — находящиеся на расстоянии или в грядущем. Объект представляет собой условие возникновения субъекта, «объективное трансцендентальное» «человечественности» [hominité] (Мишель Серр). Драма животного, или, скорее, отсутствие у него истории и драмы, происходит от того, что оно не может выйти за пределы самого себя. Его «артефакты» — гнездо, термитник, логово — остаются неотъемлемой, неотделимой частью его экологической ниши. Лишь человек может расположить изготовленный объект за пределами этой ниши, убрав его из сферы своего непосредственного существования — объект независимый, подвижный и взаимозаменяемый с другими (Франсуа Дагонье).

*Объект* отличается от *вещи*, каковая является тем, что человек не задумал и не изготовил. Чтобы не поддаваться расистскому отбрасыванию «как-бишь-его» («все желтые похожи друг на друга»), мы постараемся различать среди обширных и знакомых окружающих нас объектов и вещей естественные *субстанции* (древесина, глина, кожа), изготовленные *материалы* (стекло, сталь, бетон), *продукты* ручного изготовления (обтесанный камень, тарелка или седло лошади), *продукты фабричного изготовления* (серийные), *товары* (серийно произведенные объекты на продажу).

Наконец, мы постараемся уделить внимание «штукам», которые считаются обычными или тривиальными (к объектам искусства или культа мы обращаемся на

«вы», к объектам быта — на «ты»), отсылаются в низкий мир банальности под такими именами, как «штуковина», «игрушка», «цацка», «фитюлька», «халтура». Конечно, сегодня сюда не включаются объекты, наделенные интеллектом (электронный ярлык, электронный датчик давления и т. д.).

В этом смысле медиологическое наблюдение требует не только оптического переворачивания отношений «фон-форма» в восприятии окружающей среды, но и своего рода морального переворота для наблюдателя. Ему требуется покинуть благородные и облагораживающие, гладкие и значительные зоны «Бытия», чтобы войти (с аналитической мелочностью, если он сможет), во второстепенные и шероховатые, и даже в подозрительные и откровенно ничтожные зоны «существующего» во всех его состояниях.

Для тренировки здесь рекомендуется прочесть книгу поэта Франсиса Понжа «На стороне вещей». «К чему я стремлюсь, — пишет этот последний, — так это к тому, чтобы выйти из этого пошлого манежа, по которому крутится человек под предлогом того, чтобы оставаться верным человеку, человеческому, и где духу (по крайней мере, моему) скучно до смерти. И всякий предмет мне здесь помогает».

минания, объективируя их. Именно устойчивая память о нитях и чертах позволяет — на расстоянии или задним числом — передавать ускользающие испытания индивидов. То, что верно для памяти, верно и для всех остальных человеческих функций: нарушая простое биологическое повторение, человек последовательно экстериоризировал ударную силу своей руки в рубиле, движения своих ног — в колесе, свои подвижные мускулы — в водяной и ветряной мельнице, свои мечты — на экранах, кору головного мозга — в чипах. И заместитель естественного орга-

на, технический объект, превзошел его изначальные способности. Так, в библиотеке хранится больше информации, чем в самом ученом черепе; способностей к расчетам в кремниевом чипе больше, чем в мозгу Эйнштейна; а у карбюратора скорость больше, чем у бегуна-олимпийца. Тело продлевается сначала в орудиях труда, которые становятся машинами (с встроенным двигателем), каковые образуют технические системы, которые сами перерастают в «техническую макросистему», как, например, сеть воздухоплавания, ядерно-энергетическая сеть и т. д.<sup>18</sup> Тем самым мы присутствуем при постепенном отделении функций от соответствующих им органов человека. Стагнации нашего органического «оборудования», начиная с первых *homines sapientes* — от которых мы унаследовали черепную коробку и костно-мышельный остов — соответствует взрывное распространение вспомогательных артефактов во внешнем мире; и если наши способности к интеллектуальной памяти уменьшились по мере развития графических средств помощи для памяти (что прекрасно предсказал Платон, описав в «Федре» благие и дурные последствия изобретения бога Тота<sup>19</sup>), то эта локализованная потеря оказалась более чем компенсированной колоссальным накоплением «внемозговой памяти», которую образует коллективная оснащённость человечества. Тем самым техническая эволюция продолжает эволюцию живого после того, как последняя остановилась (для нас — по меньшей мере, сто тысяч лет назад). Это снятие замков открывает для обществ бесконечное будущее — (ибо «конец истории» в качестве условия собственной возможности предполагает невозможную остановку научного и технического развития).

## ПРИОРИТЕТ — ПАМЯТНИКУ

В начале была кость [l'os], а не Логос.

Истина Евангелия? Нет. Историческая данность. Хронологическое предшествование, первенство теории.

Кость, этот первобытный архив... Первые погребальные обряды, как считается, появились за 100 000 лет до н. э. При нынешнем состоянии наших открытий наиболее древние останки костей, собранные и положенные рядом в охраняемой яме (а не разбросанные и брошенные на произвол судьбы на поверхности земли среди прочих отходов), датируются средним Палеолитом. Захоронения — наша первая мнемотехника. Она согласует настоящее с прошлым и с будущим (тела ингумируются при соблюдении погребальных обрядов). Это признак того, что человек больше не сводится к собственной физической длительности, что он помещается между временем, которое уже наступило (временем предков и мифов), и грядущим («О братья-люди, что после нас будете жить...»). Соотнести осязаемое присутствие с умопостигаемым отсутствием: вот минимальное определение символической операции. А каковы наши самые первые символы? Черепа с полированными краями, обработанные под мел, присыпанные золотом, с подведенными охрой глазницами. Двухное, которое хоронит своих мертвецов, отмечая камнем место захоронения, свидетельствует о том, что животная жизнь больше не является его последним законом. Эти надгробия остаются гигантскими памятниками, иногда видимыми, иногда — нет: китайские ямы-казармы, египетские пирамиды, японские курганы, месопото-



тамские мастабы, кирпичные некрополи на возвышенностях Перу.

Символическая операция, прежде всего, производится непосредственно над трупом предка, технически превращенного в мумию или в украшенный и погребенный скелет (впоследствии символом становится мраморная фигура, расprostертая на надгробии). Мумификация — это искусство превращения непрерывного потока в некий склад, искусство извлечения жесткого тела из тела мягкого, крепкой и устойчивой формы из мешка с гниющими внутренностями. Тело восстановленное, очищенное, подвергнутое закалке, высушенное при помощи каустической соды, закутанное, обмазанное клеевой краской, выделанное — уже не останки, но произведение искусства. При отсутствии мумификации отделение костяка от внутренностей, твердых частей от подверженных гниению можно было доверить естественным процессам — превратностям погоды или хищникам. У зороастрийцев отделять вечное от эфемерного, остоу от плоти полагалось грифам на вершинах башен безмолвия. Сохранялись и почитались лишь очищенные таким образом скелеты. Эти разнообразные практики свидетельствуют у плотоядного двуногого — задолго до золотых масок Тутанхамона и Агамемнона — о своеобразном и «неистребимом желании продлиться».

Кость, наша точка отсчета... Всякая цивилизация начинается с останков. «Ты Петр, и на камне сем...». Мученик, от тебя останутся кости; эти кости будут помещены в оправу; эта рака с мощами будет привлекать паломников, которые построят над ней церковь; в результате вокруг этой церкви будет процветать целый город. Возьмем ли мы Ватикан, Бонн или

Тур — первые поселения христианства воздвигнуты подле скелетов. От тела к декору, от черепа к могиле, от надгробий к столицам — такова должная последовательность.

Кость, продолжающаяся в камне и воздвигнутая у всех на виду, — стела, полуколонна или обелиск. Мегалит, кэрн<sup>20</sup>, моаи<sup>21</sup> острова Пасхи — вертикально застывшие каменные предки, кости как сооружения. Поиски гаранта вечности последовательно обращаются к граниту, к твердому или сухому камню — таковы глыба, плита, дольмен, менгир<sup>22</sup>. Для индивидуальных или коллективных надгробий отвергают древесину как подверженную гниению, или промятую глиняную массу, так как постройки из нее рассыпаются. Аналогично этому, тела фараонов высушивают, дабы они затвердели и могли возродиться, будучи защищенными и «запечатанными» победителями времени, в виде бога Гора или солнца, в космической вечности. И известняковые Сфинксы до сих пор высятся в Гизе. Итак, первая память была архитектурной, а первая архитектура — памятниками.

*Стало быть, в начале символов был мегалит, а не символ, выраженный на письме. Архитектура предшествует литературе подобно тому, как камни — словам. И как след — знаку. Для целей передачи лучше всего годится не речевой акт, даже если первые пластические и графические формы позволяют предполагать языковое сопровождение. Но противопоставлять упомянутые феномены необходимо лишь в «письме мысли», каким была древнейшая пиктография, т. е. гравюра как таковая, которая, на взгляд медиолога, имеет больше смысла, чем используемый код (поскольку без материализации*

нет увековечения). Семиолог в своих интересах отдает приоритет графическому означаемому, или взаимодействию означающих; медиолог — процедуре изготовления надписи, а также использованному инструменту труда и материалу. Австралийские «чурингас» (дерево с выгравированными абстрактными мотивами), свитки из березовой коры у оджибуэв<sup>23</sup>, текстильное *кейлу*<sup>24</sup> у инков, смоченная глина у жителей Месопотамии: физический носитель и допускаемый им тип надписи, позволяющие переходить от аудио-временных к видео-пространственным элементам, превращают сообщения в архив. Итак, простые каракули и граффити считаются более важными для очеловечивания человека, нежели какой-нибудь солнечный культ или ритуальный танец.

Лингвистика (Соссюр) выделила разговорный язык (письменный язык, на его взгляд, был всего лишь производным). А тот, кто занимается следами, будет действовать в обратном порядке. Из верности к *homo* не *cogitans*, *ludens* или *loquens*, но *monens*<sup>25</sup>... Человек *cogito* знает, что он мыслит. *Homo monens* делает лучше: он наводит на мысли, всего лишь выводя свою душу наружу. Он создает памятники. *Monere* происходит от индоевропейского корня *men-* (который мы находим в словах «ментальный», «*mention*» и «комментарий»). Этот термин объединяет в себе несколько выстраивающихся в цепочку смыслов: 1) наводить кого-либо на мысль о том, что было; побуждать его к воспоминанию; 2) побуждать или заставлять кого-либо сделать что-либо в настоящем; 3) предсказывать или возвещать некую возможность в будущем. В таком случае памятник для коллективной мысли можно считать тем же, чем слово, физически ощутимое высказывание является

для языка, этой умопостигаемой, но абстрактной тотальности.

«Зодчество было главной летописью человечества. [...] Во всем мире не возникло ни одной хоть сколько-нибудь сложной мысли, которая не выразила бы себя в здании; каждая общедоступная идея, как и каждый религиозный закон, имела свой памятник; все значительное, о чем размышлял род человеческий, он запечатлел в камне. А почему? Потому что всякая идея, будь то идея религиозная или философская, стремится увековечить себя; иначе говоря, всколыхнув одно поколение, она хочет всколыхнуть и другие и оставить по себе след».

(Виктор Гюго, *Собор Парижской Богоматери*<sup>26</sup>)

Расклинить [désenclaver] символическое «символа» (буквенного, цифрового, репрезентативного и т. д.), оторвать смысл от семиотической орбиты, от системы, для которой язык служит солнцем, означает обнаружить самые устойчивые субстраты для нашей человечности. Символичность выходит за рамки теневых игр означающего и означаемого и предшествует таким играм (мы можем символизировать опыт иначе, нежели словами, и дискурс есть всего лишь один из многих способов выражения мысли). Речь участвует в коммуникации, камень — в передаче. Поэтому логистика смысла выходит за пределы логики кода. История без слов, которую нам рассказывают оссуарии и менгиры, возводит то, что могло бы показаться академичным в наших суждениях, к генезису религий, к длительному существованию цивилизаций, к основанию городов и царств, к легендарным подвигам у истоков. Стало быть, материализовать символическое, как делаем мы, не означает соскользывать в тривиальность. Напротив, это озна-

чает вновь сакрализовать нестойкий и привычный мир посланий, наш слишком уж насущный хлеб; это означает находить длинные вереницы предшествовавших нам людей. Это не означает переселяться в предместья культуры, это означает раскапывать «корни мира» (Леруа-Гуран) у всех порогов «великой задувки огня» ( $\approx 100\,000$  лет тому назад). Медиолог должен многому научиться у историка первобытного общества, и больше всего (превращая нужду в добродетель) его способу восстанавливать и периодизировать человеческие культуры на основании самых что ни на есть скромных следов и типов использованных материалов (кварц, кремний, медь, бронза, железо и т. д.).

Если символизация, с исторической точки зрения, начинается с трехмерного менгира — сложенные уступами камни с ростром человека насчитывают семь тысяч лет — то в них уже может прочитываться символическое, а именно: материальность следа, маркировка пространства, обращение к потомству и опора на общину. Греческое *sèma*, от которого происходят наши слова с элементом, означающим «знак» (семафор, семиология, полисемия и т. д.), первоначально значило «надгробие», колонна, сообщающая о мертвом. Затем — фигуративный знак (на печати, щите, носу корабля). И, наконец, позже всего, знак письменности. Погребальная архаика всегда производит для нас «эффект лупы». Материализация или монументализация следа всегда так или иначе означает создание группы, создание места, продление.

Создание места: знак признания, вершина перспективы или центр вращения, публичный памятник (в честь ли святого, доблестного гражданина,

или просто усопшего) всё еще выполняет в нашем городском пространстве центростремительную функцию ориентации. Будем же видеть в нем, несмотря на культурные переменные (например, японским памятникам неведом фетишизм материала), вероятный инвариант нашего удела. Так, могила как знак обездвиживает блуждающую (и поэтому опасную) душу — функция кенотафов (пустых могил) состояла в том, чтобы остановить бегство неуловимых и досаждающих людям теней. И тем самым маркировка территории (курган, яма или бугор) способствовала территориализации индивидов; тем самым она помогала им не затеряться в бесконечности, в безграничности пустырей. Знак «здесь покойся» — камень, надгробная тумба или стела — создает понятие «здесь», и этот способ отмечать знаками почву, разграничивать неопределенное (дурную бесконечность мертвых, которые уже не образуют знака) был нашим первым бунтом против энтропии — криком надежды и жизненной силы. Место мертвого — гробница или некрополь — способствует сжатию разбросанного, которое сжимается вокруг него, будучи собранным. Это уже религиозное место с негэнтропической<sup>27</sup> функцией.

Продлевать: воздвигнутый камень, статуя, видимая точка свидетельствует о времени, обездвиженном в пространстве, т. е. о двойном начале координат. Об эфемерном, которое уловлено фиксированным; о потоке, укрощенном твердостью... Такова стратегия выживания. И это выставление автохтонности напоказ сжимает поток поколений, локализация становится основой для принадлежности; принадлежность (потомков) и жилье (предков) помогают друг другу. Когда между мертвыми и жи-

выми больше нет «общего мироздания», приходится биться об заклад, что оно есть между самими живыми. Мемориальный памятник отрицает смерть, которую он, впрочем, еще и утверждает (этот парадокс единосущен ему). Этот памятник материализует отсутствие, чтобы сделать его присутствующим. Возведение памятника побуждает того, кто будет жить, познавать того, кого уже нет, и познавать самого себя в этом отсутствии (*monimentum* как обучение гражданской доблести *до письменных документов*).

Образовывать группу: сооружение из минералов — стела, бюст, саркофаг — направленное против биологической деградации, является также, прежде всего, средством сопринадлежности. Мемориальная постройка формирует узы сопринадлежности — через «диалог поколений». Памятник обладает способностью создавать союз. Подобно тому как не бывает частных языков (идиолект не является диалектом), не существует и частных памятников (разве что в виде метафоры). Сценичность архаических и даже доисторических похорон (жертвоприношения, украшения, позы) не является ни спонтанной, ни импровизированной. Это факт культуры, исходящий из группы и подчиненный отрегулированной системе включения и исключения, присущей всякому человеческому установлению. Доказательство этого положения *a contrario*<sup>28</sup> состоит в том, что определенная *организованная материя* (здание) не может длиться (следовательно, выполнять свою миссию), если ее саму не будет поддерживать некая *материализованная организация* (каковая может здесь принимать эстафету от другой, как мы это видим с государством-нацией, принимающим эстафету от Католической церкви в деле поддержания культовых

мест). Без поддерживающего коллектива символы разрушаются сами (цистерцианские аббатства в материальном отношении не пережили заката Ордена цистерцианцев).

Эти возвраты в прошлое напоминают нам о существенном: нет символической трансцендентности без сопринадлежности, нет сопринадлежности между людьми без «нависающего» символа (плеоназм содержится в этимологии греческого *symbollein*, означающего «держат разрозненное вместе»). Нет символических объектов самих по себе, но они всегда для кого-нибудь, для больше, чем одного. Стало быть, «символическим» может быть назван всякий объект, который служит соединительной чертой между: 1) одним и другим индивидом (или несколькими другими); и 2) двумя реальностями — одной видимой, а другой — невидимой (прошлой или будущей). Этот объект — и таков случай с гробницей или погребальным сооружением — в данном случае становится медиатором смысла и собрания, первого через второе и в одном и том же движении.

Чтобы перейти от археологии к медиологии, или от неолитического следа к современным запоминающим устройствам, скажем, что за то, что сплотило или спланирует то или иное сообщество, ответственным остается само сообщество. Давайте посмотрим на наше современное законодательство. Архив представляет публичный интерес, а *достояние* — интерес общий. Если французский термин «достояние» [*patrimoine*] является весьма поздним (он датируется годами Революции), а органы опеки — *еще более поздними* (Дирекция по национальному достоянию и архитектуре при министерстве культуры), то идея того, что материальные носители вечности принад-



лежат коллективу, а не индивидам, которые их готовят, присутствовала уже в семейных *ларах*, в государственном *палладиуме* или в церковных *регалиях* (объекты культа, коллективная собственность), которые никто лично не может присваивать). Следовательно, мы лучше понимаем юридическое обязательство «законной передачи на хранение» [*dépôt légal*] (во Франции даже частные телевизионные каналы обязаны предоставлять копию своих передач в INA, государственное учреждение). Обеспечивая сохранность фондов, служащих субстратом для воображаемой непрерывности того или иного народа, миссии по достоянию являются неотчуждаемыми и — в либеральном обществе, дающем среди прочего обязательства перед бумажниками клиентов — остаются записанными в число последних «королевских прерогатив» государственных властей. Так, ведомства, к компетенции которых относится законная передача на хранение, являются «национальными» (BNF для книг, CNC для фильмов, INA для аудиовизуальных материалов). Архив — сбор пожертвований, хранение, защита материалов и относящаяся к ним коммуникация — остается государственным делом.

Продольный срез в сегодняшнем «кризисе передачи» следовало бы поставить в соотношение с «расколдованностью мира», с нашим отнятием у смерти ее полномочий и с уменьшением значения нашей личной принадлежности (семейной, партийной, церковной, национальной и т. д.). Из этой перекройки возникает беспрецедентное переустройство наших погребальных обычаев. Кризис смысла, кризис связи сопринадлежности, кризис смерти (другое название

«конца жизни»). На постиндустриальном Западе всё меньше места и времени для смерти в нашей жизни, для мертвых в наших городах и для памятников мертвым на наших курганах. Политическое исчезновение войны в жизни обществ идет рука об руку с исчезновением погребального искусства. «Войне с нулевым уровнем мертвых» соответствует городская агломерация с «нулевым уровнем статуй». Если «все жертвы», то героев больше нет. Кремация демократизирует мертвых. Остается «обработка останков». Наша техническая культура умирания во имя гигиенических соображений здравоохранения (чтобы не было загрязнения) и демографических соображений переполненности (отсутствие места) поощряет *трупосожжение*, побеждающее ингумацию, в том числе и в христианском мире, где, в принципе, остается вера в Воскресение мертвых. Стало быть, мы последовательным образом присутствуем при *дематериализации* трупа (немедленное убирание того, что подвержено биологической деградации, без его выставления), при *деритуализации* события (исчезновение знаков траура, подготовительных церемоний, ночных бдений и сопровождающей литургии) и при *приватизации* церемонии похорон (свертывание ритуальных событий). Наши кладбища становятся менее посещаемыми, купленные места на них брошены на произвол судьбы, эпитафии становятся все короче, погребальный декорум — все банальнее: все свидетельствует о *diminutio capitis*<sup>29</sup> для усопших, логическое уменьшение, когда «статуи не столько возводятся, сколько развенчиваются» (Мишель Вовель). Медиология современной смерти могла бы учесть потерю потустороннего мира (смерть уже не процесс перехода, но лишь мгновение), утра-

ЛОЖНЫЕ ДРУЗЬЯ МЕДИОЛОГОВ

Это весьма известные «ключевые слова», которые закрывают врата понимания. Они поддерживают условный рефлекс, занимающий место рефлексии (и головы). «Кто не знает, — говорил Эразм Роттердамский, — что перед тем, как учиться, необходимо разучиваться, и что разучиться сложнее, чем научиться?»

Разучиваться — долгий и дорогостоящий труд. Наш труд начинается со словаря. С самого начала необходимо тщательно отличать:

*Медиум* (понятие, имеющее отношение к устройству доставки, что, однако, неочевидно) от *медиа* (сокращение от англо-латинского *массмедиа*, для «основных средств информации»). См. таблицу на с. 29–30.

*Медиум* от *средства* (в смысле «средство выражения» или «цель и средства»). Медиум — это больше чем *вектор* или *канал*. Язык, например, является матрицей смысла (когда греки перевели иудейские памятники на свой язык, они преобразовали само их содержание). Или же типография как медиум не распространяла какую-то предсуществующую национальную идею, но оформила ее появление.

*Коммуникацию* (кто что говорит, какими средствами и с какими последствиями?) от *передачи* (что происходит с тем, что вовлечено в оборот, как, с помощью чего и с какими изменениями?) См. таблицу на с. 29–30.

*Культуру* (в этнологическом смысле) от *культуры* (в смысле: Министерство культуры). Наши нравы и обычаи не исключают словесности и изящных искусств, но не сводятся к ним.

*Технику* (совокупность приобретенного как противоположность врожденному) от *механики* (сложный изготовленный объект). Технические устройства не являются ни телесными системами, ни механизмами. Так, письменность — не материальный объект, но, будучи формальной машиной, это, конечно, техника.

ту надписей «здесь покоится» (колумбарий способствует улетучиванию того, что материализовывала могила) и обесценение умирания (отныне за него несет ответственность Министерство здравоохранения, и поэтому должное почитание мертвых превращается в простой юридический вопрос). Исчезновение могилы-ориентира в пространстве дезориентирует живых в их истории. К этому добавляются прочие факторы уменьшения чувства принадлежности, каковыми являются наши средства передвижения, что деритуализируют пространство; сюда же относятся наши аудиовизуальные средства, инвертирующие стародавний авторитет письменных «мы» (нематериальных и незримых реальностей, какими были Человечество, Родина, Партия и т. д.) по отношению к зримым и осязаемым «Я», тогда как подъем многочисленных эго свидетельствует об измельчании родословных. Чем меньше чувства общности, основанного на надгробных надписях, тем больше бахвальства.

Эта наспех набросанная картина, где скромные технические модификации соревнуются друг с другом, превращаясь в более или менее ценные или обесценивающие *измы* (индивидуализм, ювенизм<sup>30</sup>, номадизм, витализм, гедонизм и т. д.), занимает свое место и наделяется смыслом в определенной *медиа-сфере*; это родовой термин, обозначающий техносотциальную, наделенную собственным пространством и временем среду передачи и переноса. *Видеосфера*, ставшая преемницей *графосферы*, является в этом отношении хрупкой, боящейся смерти и утверждающей ненадежность: она, как не столь давно отмечал Ролан Барт, стремится заместить каменное воспоминание бумажной фотокарточкой, укореняющую и са-

крализующую тяжесть детерриторализирующей и демифологизирующей легкостью. Этот семиолог — не без пессимизма — усматривал в торжестве фотографии отказ нашей культуры от памятников. Это слегка и сверх ожидания напоминает смерть смерти, которой, по существу, подпитывается всякая живая культура, через цикл метаболизма и подобно тому, как гумус подпитывается разлагающимися трупами. Если бы значащей смерти суждено было возродиться завтра в новой славе, то она наверняка сопровождалась бы намеренным возвращением к минералам, возвратом от пепла к камню, от урны к стеле, или от погребальной ниши к каменной плите, так как верно, что материальная основа меняется вместе с ценностями. Существует некая мораль материалов, и в наших практиках памяти ее больше, чем где бы то ни было.



## ГЛАВА II — «THE MEDIUM IS THE MESSAGE»<sup>1</sup>

### МЕТОД СТАРТУЕТ

#### РЕНТГЕНОСКОПИЯ КЛИШЕ

Нормально устроенный индивид, получивший кое-какое образование, усмотрит в знаменитой формулировке Маклюэна нелепость, колеблющуюся между «нечто приблизительное» и «больше чем неправильное». Тем более что автор этой формулы забыл определить, что такое медиум, что такое сообщение и что такое спутывающая их между собой связка.

И почему только признают его правоту? Ведь заголовок главы Маклюэна не просто приводит к путанице (разве в нем не смешивается под слишком удобной вывеской «медиума» канал, код и носитель информации?), но и подходит к границам иррационального. « $2 + 3 = 5$ » останется верным, будучи записанным и на пальмовом листе, и на бумаге «библьдрук», и по-английски, и по-турецки, и в устном, и в письменном виде. При чем здесь медиум? Медиум и сообщение находятся в симбиозе только в магически-религиозном мире. Кораническая скрижаль, молитвенник, талисман представляют собой сакральный объект, где материальный носитель настолько проникается свойствами того, что на нем написано, что сам становится вредоносным или спасительным (талисман нельзя разрушать, а лист бумаги с именем Божиим нельзя ни выбрасывать, ни использовать заново, потому что он изменил свою природу). Благочестивый

иудей касается Торы не руками, но *Йадом*, указателем для чтения, палкой, заканчивающейся металлической ручкой. В исламизированной Западной Африке знахари племени Сонинке даже рекомендовали больным пить растворенные в воде чернила, послужившие для записи на дощечке послания Аллаха. Выпивая жидкость, мы внедряем в себя божественное слово. Секуляризация Логоса произошла вопреки этим суевериям, когда познание стало независимым от своих изначальных вместилищ, а знание — переносимым с одного языка на другой, например, с латинского оригинала на французский язык. Слово *коммуникация* родилось в XIV в., во Франции, под пером переводчика Аристотеля, физика и философа Николя Орема (советник короля Карла V), чтобы прославить, наконец, обретенную независимость сообщения по отношению к медиуму, позволявшую информации циркулировать на дистанции и свободно (*translatio studii* — перевод учения). Если бы Маклюэн был прав, доктора Сорбонны до сих пор писали бы диссертации на латыни, и офранцузивание знания было бы постыдным, и даже невозможным. Одно дело (тривиальное) — напомнить, что не бывает сообщений без медиума (без звуковых волн ваша речь не была бы слышна), и другое дело, софизм, заключить отсюда, что медиум и сообщение — одно и то же.

Во всем важно уточнить точку отсчета. Не собираемся же мы возводить на песке какую-то чепуху.

Итак, вернемся к нашему маршруту. Первое наблюдение: за упрощенчество приходится платить. Если есть промах, то смешиваются два разных явления. Каждый может об этом вспомнить. Десять превосходных авторов до нашего канадского пророка-



поэта выдвигали (а не провозглашали) идеи такого рода, но более нюансированные и тонкие, лучше проясненные — не забираясь так далеко, как Маклюэн. Их высказывания сами по себе сообщениями не стали. Здесь же сокращенная форма рекламного слогана с аллитерациями и скандированием — согласно старому методу мнемоники: отбивать такт в стихе — проторила себе путь посреди общей суматохи. Эту фразу легко воспроизвести. И на всех языках... Чеканная формулировка обрела силу планетарного рефрена, девиза или пословицы в том, что могло бы или должно было уйти в песок. Парадокс самоподтверждающегося парадокса... «Да-да, главное — медиум, вот и доказательство».

Второе наблюдение: Маклюэн говорил о сообщении. Однако наш контрпример  $2 + 3 = 5$  в полном смысле сообщением не является. Этот последний необходимо отличать от научного высказывания. Такое высказывание безлично, у него нет адреса на конверте. Для него достаточно приравнивания разума к вещи (*intellectus et rei*). Оно не стремится зацепиться за какого-нибудь адресата. Невозможно указать его отправителя. А вот сообщение, напротив того, *сопряжено со звательным надежом*, имплицитно или эксплицитно (вы, язычники Империи; пролетарии всех стран, венские невротики, европейские избиратели и т. д.). Оно, скорее, нечто *предписывает*, нежели описывает (вы должны повиноваться Богу, спланироваться вокруг Партии, прислушиваться к вашему бессознательному, голосовать за хороших кандидатов и т. д.); его ценность, по сути, *прагматическая* (важно делать, а не знать, и если важно знать то-то или то-то, то именно для того, чтобы хорошо или лучше сделать). Зона сооб-

щений — это, скорее, зона *certum* (область субъективных верований и достоверностей); зона же высказываний — зона *verum* (доказуемых или фальсифицируемых истин). Следовательно, то, что может расцениваться как сообщение (идеологическое, религиозное или моральное), — и сопроизведенное медиумом — не может считаться на тех же основаниях, или же каким-либо более сложным или окольным путем — за абстрактное и вневременное высказывание.

Третье замечание: хотя верно, что Маклюэн, мыслитель проницательный и интуитивный, но совсем не строгий, употребляет термин «медиум» вкривь и вкось, но упрощенную мысль все-таки нельзя назвать идиотической. Она может вывести нас на действительно сложный путь. Раз имеются ложные хорошие идеи (и их даже большинство), то почему иногда не может быть дурных справедливых идей? В таком случае, припев *the medium is the message* относится к их числу.

Скажем без обиняков: *медиум* с определенным артиклем не существует *per se*<sup>2</sup>, как нечто единственное в своем роде и легко распознаваемое. Это слово-капкан. По существу, оно обозначает множество реальностей разной природы. Они не противоречат друг другу, зачастую друг на друга накладываются, но ни в коем случае не могут сливаться. Медиум может обозначать: 1) *общую процедуру символизации* (членораздельную речь, графический знак, аналогический образ); 2) *социальный код коммуникации* (язык, используемый говорящим или пишущим); 3) *физический носитель* для записи и хранения (камень, папирус, магнитный носитель, микрофильмы, CD-ROM), а также 4) *аппарат распространения* с

соответствующим режимом циркуляции (рукопись, типография, цифровое устройство).

Возьмем самый близкий пример. У вас перед глазами это «Введение в медиологию». Назовем его ради условности сообщением. Где же будет медиум? Их несколько, и они разных видов. Пронумеруем наложенные друг на друга промежуточные слои, благодаря которым такой нематериальный объект, как индивид, прозываемый «автором из заглавия», смог стать подвижным, продаваемым и доступным предметом, который вы держите в руках. Различные разновидности «медиумов», включенные в эту банальную утварь и позволившие ему путешествовать между моим и вашим мозгом (а потом — от вашего в другие) вам не видны (в силу привычки) по той простой причине, что они у вас перед носом, а «самое темное место — всегда под лампой». То, что позволило мне перебросить некое логическое содержание через эфир, для нас (для вас и для меня) настолько знакомо и безразлично, что мы забываем о том, что нашим предкам потребовались столетия, чтобы изобрести инструменты, сделавшие это чудо возможным.

1) Для начала заметьте, что вам придется не расшифровывать какую-то мозаику из фигуративных символов (те более или менее абстрактные графические мотивы, которые называются пиктограммами и мифограммами), расположенных в виде звездочки или друг под другом на какой угодно поверхности, но читать алфавитные знаки строку за строкой. Я и действительно предпочел «текстовый режим» «режиму образов», языковой канал визуальному. А вот пять тысяч лет назад (т. е. вчера утром в масштабе

*sapiens sapiens*) у меня не было бы выбора, а три тысячи лет назад мне бы в лучшем случае пришлось воспользоваться фонетической письменностью (записывая слоги, как в шумерском или аккадском), и даже консонантным письмом (как в арамейском, который был языком Христа; правда, на нем никогда ничего не писали, разве что на песке рукой), но не записывая гласных (что затрудняет чтение). Вокалический, сиро-финикийский, алфавит, откуда происходит наш (через греческий, а потом и латынь), представляет собой позднее достижение, даже если все мы, грамотные, превосходно им владеем. Итак, первый медиум есть *письмо*. И не без последствий. Если бы я пользовался мультфильмом, ребусами или диаграммами (режим изображений), я бы, конечно, не сообщил тех же «идей» и не достиг того же смыслового эффекта: больше суггестивных эмоций, но меньше различий и логических структур. И прежде всего, с первичным устным текстом (передача из уст к ушам) мы бы даже не говорили ни о «медиологии», ни о введении в какую бы то ни было «логию».

2) Этот текст я написал по-французски, потому что мы с вами — франкофоны. Мы-то об этом не думаем, но какой-нибудь бразилец или японец сразу же заметят этот странный для них медиум. Наш родной язык является для нас прозрачным и естественным, потому что мы в нем рождены, но он не существовал бы без иной реальности, в которой нет ничего естественного, натурального (и прозрачного), и эта реальность — нация (натуральный и нация — от корня *naciscor*, рождаться). Естественность языка естественна для нас, но не сама по себе: это результат политического и даже военного процесса (язык — это диалект, однажды ставший каноническим). Этот

код отсылает к исторически сложившейся социальной группе. Французский, например, представляет собой коллективное благо, «защищаемое» одноименным коллективом, и наши власти выносят решения, в частности, об орфографии (реформы которой становятся государственными делами), о включении неологизмов в язык, о словаре (через Французскую академию), о преподавании и распространении за границей «французского языка, официального языка Республики», ст. 2 Конституции. А вот тысячу лет назад я бы, скорее, пользовался латынью. Итак, второй медиум — *естественный язык*. Однако мы не говорим ни в точности то же самое, ни одним и тем же способом, когда высказываемся по-французски, по-английски или по-китайски. У каждого языка свой гений. Он показывает мир сквозь особую призму. Так, *категории*, которые Аристотель кладет в основание мысли, калькируют данные греческой грамматики до такой степени, что можно сказать, что он только и делал, что «объяснял известную метафизику греческого языка»<sup>3</sup>, и теологические диспуты о двойной природе Христа (человека или Бога, подобного или же единосущного Слову), которые обагрят кровью восточное христианство на протяжении нескольких столетий, велись из-за смысловозначительного дифтонга (*omoios/omoioussios*) и представляются не-греку совершенно непонятными. Зато когда Декарт опубликовал «Рассуждение о методе» на французском (а не на латыни, в отличие от «Начал» или от «Правил для руководства ума»), то выбор этого медиума продемонстрировал намеренную дистанцированность от традиции схоластической темноты, и это противостояние по отношению к «популярной» прозрачности обладает ценностью манифеста.

3) Этот написанный по-французски текст я нацарапал на скорую руку, кое-что почеркал, переписал — и вы его читаете — и все это на *бумаге*. Этот ненадежный носитель основополагающих сведений попал к нам из Китая через арабов в XIII в. Если бы медиология возникла до 1348 г., — года, когда заработала первая фабрика по производству бумаги во Франции, в городе Труа, — то вы держали бы в руках пергамент (кожа барана или теленка, вымоченная в извести, выскобленная, лощеная, высушенная и отполированная пемзой). Раньше вы держали бы свиток папируса, а еще раньше — глиняную табличку. Листы бумаги, которые вы переворачиваете, были сложены трижды (что дает *ин-октаво*), объединены в тетради и переплетены. Таково гениальное изобретение под названием *кодекс*, которое восходит ко II в. до н. э. и сохранилось с тех пор почти в неизменности. Окончательная победа *кодекса* над *свитком* сопутствует победе христианства над язычеством. Библия и Священное Писание нашли в этом наследнике римской восковой записной книжки подходящего проводника: компактный (можно использовать с двух сторон), удобный в обращении (пригоден для публичной декламации, можно положить перед собой и читать нараспев, сохраняя обе руки свободными), удобен для примечаний к тексту. Материальная форма страницы способствовала организации текста, неведомой прежним «авторам» (пунктуация, пагинация, деление на главы, а потом на абзацы, оглавление, именной указатель). Единственное выделение строки — каждая идея с красной строки — уже само по себе интеллектуальный мотор. Этот паратекст организует смысл, это «содержащее» управляет определенным содержанием.

4) Эта книга, наконец, не существовала бы, если бы ее не заказал у меня *издатель*, который выбрал заглавие, типографию, фотографию на обложке, место в коллекции «Первый цикл», предназначенной для студентов. Как бы там ни было, эта книга черпает значительную часть своего смысла из этого режима презентации. Издательство PUF<sup>4</sup> — коммерческое предприятие, выросшее в орбите такого национального института, как Университет. Без этой сразу и экономической, и социальной опосредованности данный текст сегодня не лежал бы на прилавках. Книга как продаваемый и воспроизводимый товар принадлежит издателю — которому я доверил ее эксплуатацию по договору, обязуясь написать ее в определенный срок. Я же являюсь собственником только текста (ведь язык принадлежит всем, а алфавит не принадлежит никому). Ценность текста, блага нематериального, не зависит от носителя, но потребовалось размножить носители, чтобы произвести понятие этой ценности, подобно тому как потребовались типографии, чтобы породить понятие автора (авторское право возникло из права на механическое воспроизведение оригинального текста, который в эпоху рукописей существовал лишь в единственном экземпляре, или в редкостных экземплярах, объединяя в едином целом «произведение духа» и материальный объект). Существуют вещи, написанные почти три тысячи лет назад, но авторы<sup>5</sup> существуют лишь четыреста лет.

Итак, то, что представлялось нам сверхпростым, оказывается сложным — под этим «объектом, наделенным духом» (Гуссерль) кроется трудно поддающаяся разбору коалиция «медиумов». Интеллектуальная память человечества провозглашает себя

как неимоверное накопление написанного. Книга, на наш взгляд, элементарная форма этой памяти, не является ни отправной, ни финальной точкой. Это лишь один из этапов, потому что весьма вероятно, что впоследствии книга превратится в нематериальную электронную форму. Прямоугольный и объемистый предмет, на первый взгляд, кажется чем-то тривиальным и само собой разумеющимся. В действительности же это головокружительный, попавший в затруднительное положение, магический, противоречивый объект, «полный метафизических тонкостей» (как говорил Маркс о товаре). Одни из его свойств упорядочиваются согласно *материальному полюсу* (бумага, типография, форма), а другие — согласно *полюсу социальному* (язык, нация, издатель). С одной стороны, мы имеем организованную материю; с другой — материализованные организации. Мы обнаружим этот двойственный характер во всех средствах передачи (см. ниже главу «Два тела медиума»).

Когда землянин смотрит на небо, его первый импульс — поверить в то, что Солнце вращается вокруг Земли; все наводит на мысль об этом. Когда читатель разглядывает библиотечную полку, его первый импульс — поверить, что авторы сами породили вот эти книги, коим они предсуществовали. Так делает и сам автор, разумеется, заботящийся о своем «авторитете» (однокоренные слова). Ему приятно полагать, что его «произведение» просто-напросто вышло из его духа. Разве он не записал свои идеи словами, не упорядочил слова по страницам, а страницы — по тетрадам? Он с удовольствием воображает свой труд как нисходящую операцию: от возвышенного к се-



рийному, от настоящего к второстепенному, и от произведения, задуманного автором в одиночестве, к объекту, изготовленному неважно как. Все мы бессознательно действуем сверху вниз — от духа вверху к материи внизу (я *излагаю* идею письменно, я *выкладываю* ее и т. д.). Мы нисколько не подозреваем, что дух может *подниматься* (снизу); что книга (объект) изобрела «автора» (субъект) — что нас сделало то, что сделали мы. Как и то, что система записи, отступая во времени, могла как-то породить вторую природу, какой является наша культура.

Логическая машина, которую представляет собой запись, изменила человеческое существо; не только его «быть» и его «иметь», его компетенцию и грезы. Она революционизировала его *пространство* через первую форму телеприсутствия — позволив ознакомиться или способствував ознакомлению с сообщениями, произведенными людьми, отдаленными на тысячи километров. Она революционизировала его *время* — которое перешло от циклической формы, свойственной устным цивилизациям, к линейной прогрессии. И произошло это потому, что стало возможным назначить фиксированную точку отсчета в длительности, провести черту, начиная с которой мы могли бы нумеровать года, правителей и эры, словом — устанавливать хронологию. Переход от устных культур к письменным рассматривался *in vivo*<sup>6</sup> в современную эпоху, а именно — в Африке, например, антропологом Джеком Гуди. И *in vitro*<sup>7</sup>, ретроспективно, такими историками античного мира, как Пьер Видаль-Наке, Марсель Детьен, Вальтер Онг. Эти исследования по взаимовлиянию и взаимообусловленности фактически установили то, чем мы обязаны линейной записи речи: *абстракт-*

ность (именно потому, что запись отделяет сообщение от обстоятельств его высказывания, от ситуации, переживаемой высказывающимся; запись «деконтекстуализирует» дискурс); идею *универсального* (будь то религия или научная истина, буддизм или геометрия), тогда как устное с необходимостью является локальным, контекстуальным и этноцентрическим; логическое *умозаключение*, классификацию и дедукцию (принцип непротиворечивости, например, не выводится, пока мы не располагаем поверхностями для записи, позволяющими сопоставлять и противопоставлять термы и операции); *историю* (начинающуюся с установления списков, династий и генеалогий); *географию* (предполагающую начертание маршрутов, контурные линии и карты); *критический дух* (как способность вернуться к визуализируемому и активизируемому предыдущему знанию). Не забывая, *last but not the least*<sup>8</sup>, *демократии*: равенство перед законом предполагает, что последний может быть прочитан всеми, что его учтет каждый на агоре, — и в Спарте, милитаризованной олигархии, где голосование фактически осуществлялось при помощи единодушных приветственных возгласов, а не бюллетеней, мы обнаруживаем в сто раз меньше гравированных стел (девять надписей за шесть столетий), чем в Афинах (где количество надписей уменьшается в периоды олигархической реставрации, например, в 480–457 гг. до н. э.). Широко известны такие последствия, связанные с письменностью, которые в этом беглом очерке можно лишь упомянуть.

Более замаскированной остается *зависимость символов от носителей*. Графическая символизация оказалась медиа-зависимым приключением, когда коды, медленно «процеживаемые» сквозь тысяче-

тия, были «селекционированы» случайными ресурсами естественной среды (причем влажность не являлась благоприятным фактором). Историки искусства знают, что невозможно создать историю форм, которая не была бы историей материалов; и это не только в живописи и скульптуре (где это само собой разумеется), но и в архитектуре с «вечными формами»: особо обработанный камень характеризует сферический свод романского собора, а добавление цемента позволило создать готическую стрельчатую арку (первое покорение вертикальности). Плавка железа и производство стекла возносят градостроительство ввысь (небоскребы и башни), а синтетические материалы сегодня по-новому моделируют обитаемые пространства (не говоря уже о городском оборудовании)<sup>9</sup>. Историки письменных текстов оказались первыми, кто узнал, что история знаков начинается с истории материалов. Материя фактически обусловила начертание знаков через посредство инструмента (для черчения, насечения, гравирования и т. д.). После *кости* или *бронзы*, для обработки которых необходим *стил*ет, и *камня*, который поддается *долоту* (отсюда «лапидарный»<sup>10</sup>, или сжатый<sup>11</sup> стиль), сырая *глина*, единственное богатство месопотамских империй, позволяет работать только с *калам*ом, тростником с треугольным острием — и отсюда происходит прямоугольная клинопись. Когда *папирус* с берегов Нила вытесняет таблички из обожженной глины (материал изобильный и дешевый, но ломкий и весьма громоздкий), *клинопись* уходит, а приходит кисточка из волокнистого тростника, которая — посредством красных и черных чернил (углерод или киноварь) — упрощает и ускоряет начертание. Отсюда рождение египетского демотического

письма (VII в. до н. э.) и вокалических алфавитов в восточном Средиземноморье. Пергамент, или «пергамская кожа», изобретенный жителями города Пергам во II в. (чтобы компенсировать нехватку папируса или блокаду в его отношении), позволяет работать с *гусиным пером* и ввести *кодекс* (папирус свертывается в трубочку, но с трудом складывается). Перо видоизменяет *пластику* знаков (начиная с XI в.), и отсюда возникают начертания более скорописные, не столь жесткие, с отдельно стоящими буквами, что облегчает диктовку и чтение (после унциала и полуунциала — каролингский минускул). Зато в России использование бересты надолго затормозило эволюцию кириллицы, оказавшейся запертой в пределах весьма холодных и угловатых начертаний. Что же касается податливой, но крепкой бумаги, то ее применение стало освобождением во всех отношениях. Все становится возможным — формы, форматы и шрифты. Разве что введение в XIX в. *древесины* вместо *тряпки* драматически укорачивает жизнь такого носителя сообщений, как кислотная бумага. Древесная масса приумножает объем производства, но открывает эпоху информации (стремительно устаревающей), создавая опасность для памяти. Не бывает невинных носителей, за каждый материал приходится платить. Еще лучше это заметно в случае с носителями бинарной информации. С одной стороны, они дают наилучшее отношение отсутствия громоздкости к записи, но с другой — надежду на срок жизни всего лишь в 50 лет для магнитной ленты (чуть больше — для цифровых CD). Гарантированное размножение (без всяких кирпичей и пергамента) и столь же гарантированное устаревание...

В общей сложности, стереотипная формулировка,

которую вначале мы сочли совсем нелегкой, не могла бы привести к столь плохому старту.

Сократ: «Так вот, я слышал, что близ египетского Навкратиса родился один из древних тамошних богов, которому посвящена птица, называемая ибисом. А самому божеству имя было Тевт. Он первый изобрел число, счет, геометрию, астрономию, вдобавок игру в шашки и в кости, а также и письма. Царем над всем Египтом был тогда Тамус, правивший в великом городе верхней области, который греки называют египетскими Фивами, а его бога — Амоном. Придя к царю, Тевт показал свои искусства и сказал, что их надо передать остальным египтянам. Царь спросил, какую пользу приносит каждое из них [...] Когда же дошел черед до писмен, Тевт сказал: «Эта наука, царь, сделает египтян более мудрыми и памятьливыми, так как найдено средство для памяти и мудрости». Царь же сказал: «Искуснейший Тевт, один способен порождать предметы искусства, а другой — судить, какая в них доля вреда или выгоды для тех, кто будет ими пользоваться. Вот и сейчас ты, отец писмен, из любви к ним придал им прямо противоположное значение. В души научившихся им они вселят забывчивость, так как будет лишена упражнения память: припоминать станут извне, доверяясь письму, по посторонним знакам, а не изнутри сами собою. Стало быть, ты нашел средство не для памяти, а для припоминания. Ты даешь ученикам мнимую, а не истинную мудрость. Они у тебя будут многое знать понаслышке, без обучения, и будут казаться многознающими, оставаясь в большинстве невеждами, людьми трудными для общения; они станут мнимомудрыми вместо мудрых».

(Платон, *Федр*, 274d–277a<sup>12</sup>)

## МЕДИАСФЕРЫ, ПЕРВЫЙ ПОДХОД

Мед медиолога — палеография, но улей его не в ней. Длительная тенденция носителей написанного (отражающая тенденцию технических объектов вообще) — развитие в сторону компактного, манипулируемого и легкого (дискета). Зато поле для манипуляции начертаниями постоянно росло, как и поле манипуляции над текстами по отношению к носителю. По мере уменьшения носителя текст становится все подвижнее и автономнее. Сегодня он летает, как некогда — слово. *Scripta volent et manent*<sup>13</sup>. Таково технологическое, а стало быть, символическое достижение (технология и символика обуславливают друг друга, в том числе и в первую очередь — в числовой «нематериальности»). Это-то регулярное соответствие и интересует медиолога. Оно наводит на мысль, что логика сообщений (= символическое) может отыскиваться в логике медиума (= техника). Относительно зависимости духовного от материального история письменности делает лишь туманный вывод. Из него можно образовать нечто вроде путеводной нити через длительность, проясняя преемственность наших технологий воображения и познания и позволяя построить одновременно и прагматическую, и рациональную историю культур. Коллективная ментальность уравнивается и стабилизируется вокруг господствующей технологии памяти, очага социально определяющих компетенций и реорганизующего центра подвластных ему медиа (и коллективов). Господствующим же является основной метод запоминания и циркуляции следов (письменность, электроника, цифровые технологии). Этому процессу-гегемону соответствует извест-

ная среда передачи сообщений (и, как мы увидим, перевозки людей), макросреда, которую мы назовем «медиаферой». Последняя определяет известный тип регулирующих верований, конкретную темпоральность (или отношения, свойственные астрономическому времени), и определенным образом спланирует сообщества (больше, чем простые рамки территориальной группировки). Их совокупность характеризует *коллективную персональность*, или *единство стиля* эпохи — или же то общее, что имеется в ее инструментах, формах и идеях. Тем самым нашу ментальность можно помыслить как «ментальную часть» инструментов (душа — говорил Спиноза — есть идея тела, каковое, правда, для него было не вещью, но потенцией бытия). И мы назвали бы Культурой *взаимодействие кодов при забвении векторов*. Периодизация через медиаферу не может осуществляться по касательной по отношению ко всем человеческим обществам, так как все страны и даже континенты не проживают ни в одну и ту же эпоху, ни одним и тем же способом великие этапы технической эволюции (что сегодня мы видим на примере сопротивления ислама «нашествию образов», возглавляемому электроникой).

Будем иметь в виду, что медиафера датируется не сегодняшним днем, так как «медиа» существовали всегда (с тех пор, как имеется информация для циркуляции). Не так давно мы, *cum grano salis*<sup>14</sup>, воздавая должное устаревшей (теолого-схоластической) традиции трех эпох, пытались обнаружить три хронологических объединителя, три экосистемы западного духа, которые следуют друг за другом — и наслаиваются друг на друга<sup>15</sup>. Таблица на страницах 90–91 охватывает период, начавшийся с конца пер-

вобытной *мнемосферы* (период неписаных искусств памяти) и продолжавшийся до единообразно числовой кодировки звуков, образов и текстов. *Логосферой* условились называть технокультурную среду, порожденную изобретением письменности, но устное слово в ней оставалось основным средством коммуникации и передачи (ведь большая часть населения была неграмотной). Великие люди, в том числе и писатели, являлись ораторами, риторика — основной наукой, а ораторское искусство — первым из всех. Это был период назиданий, торжественных речей, проповедей и нравоучений, но также эпопей, театра и поэзии (придворной и галантной). Письменный дискурс калькировал разговорный. Писать в те годы означало «диктовать» (писцы в Риме были рабами), а письменность считалась преимущественно хранилищем слова Божьего (Священное Писание) или освященного (деяния или изречения предков), или же устройством для передачи накопленного (глоссы и комментарии). Таково слитное восприятие эллинского *логоса*: сразу и *рпемта*, жизненное дыхание, и *dynamis*, творческая способность. Слово возрождает. Религии, (неправильно) называемые религиями Книги, вышли из этой логосферы, где вспомогательные устройства для памяти используются для записи устного Откровения, универсального и тотального (Библию, Евангелие и Коран можно читать как книги, сообщающие всё обо всем). Чтение текста есть декламация о жизни (коллективная, во весь голос или нараспев, на манер псалма). Индия брахманов и африканская деревня с ее коранической школой дают до сих пор живой пример «логосферы».

Мы назвали *графосферой* период, открываемый книгопечатанием, когда *книги* постепенно заменя-



ют *Книгу* (или принимают от нее эстафету), а книжной передаче подвергаются не только знания, но и мифы. Эта медиасфера видит триумф искусств и институтов, основанных на печатном слове — начиная со школы. Зачарованность будущим сопровождает господство отсроченного. «Социалистический» мир, с его культом книги и педагогики, можно назвать последней цивилизационной виньеткой графосферы. Будучи благоприятной для политического энтузиазма и секулярного мессианства, эта система передачи ускоряет исторический ритм (смену революций, мод, вкусов, поколений) и сжимает географическое пространство благодаря пару, а впоследствии — электричеству. Равновесие в этой среде было насильственно нарушено вторжением аудиовизуальности, о котором возвестил разрыв в «индексной» системе, связанный с изобретением фотографии (1839).

Наконец, *видеосферой* мы называли господствующую среду образа-звука, период в истории духа, начинающийся с открытия электрона и, быть может, уже подорванный битом информации. Строчку вновь заменяет Плоть, ставящая Слово в тупик. На подъеме находятся культуры потока. Архивы забиты до отказа. Покорение вездесущности завершено, мгновенность находит кульминацию в *live*<sup>16</sup>. В Государстве мы присутствуем при распаде/рекомпозиции институтов, основанных на отсрочивании буквенных технологий (государство-нация, партии, системы образования). Луиза Мерзо с полным правом недавно задалась вопросом о том, не послужит ли этот период преамбулой к еще более всеохватной и более стабильной сфере, произошедшей от цифровых технологий, которую она называет *гиперсферой*<sup>17</sup>.

Кое-какие уточнения помогут расшифровке та-

блицы, позаимствованной из «Курса общей медиологии» (1985) (с. 51).

1) Медиасфера не является более или менее тоталитарной, нежели какая-либо биосфера в царстве живого. Она может давать приют множеству сравнительно автономных культурных экосистем или микросред (как биосфера — множеству биотопов). Все мы живем в видеосфере, но не все полагаем (видим, помним, ощущаем и хотим) одного и то же. Мы можем быть военными, каменщиками (масонами<sup>18</sup>), соблюдающими обряды христианами, воинствующими коммунистами, латинистами или физиками, что дает каждому его собственный мир; и каждый обитатель этих территорий фильтрует действительность в своем ритме, со своими референциями, своей нервной системой, своими критериями восприятия и оценки. В зависимости от этого будет варьировать воздействие на нас информационной макросферы, но все эти профессиональные или семейные «ниши», более или менее активные, либо утратившие жизненную силу, *volens nolens*<sup>19</sup> погружены в пространство-время, определяемое циркуляцией образа-звука со скоростью света.

2) Подобно тому, как новый носитель не устраняет предыдущего (но может добавлять ему новые возможности), так и новая медиасфера не изгоняет предыдущую. Она реструктурирует ее на собственных условиях, по завершении длительных переговоров о месте и о функции, так что, в конечном счете, все медиасферы вкладываются одна в другую, но не как угодно. Ставя на кон социальное могущество и будучи источником высочайших индивидуальных вознаграждений (символических и денежных), наиболее эффективный медиум динамизирует и перестраивает

ет не столь эффективные. Его эффективность может оцениваться по правилу *минимакса*: медиум должен передавать максимум информации максимальному количеству адресатов за минимальную стоимость и при минимальной громоздкости (касающейся объема, поверхности и длительности). Так, алфавитное письмо дисквалифицирует (и вытесняет) слоговое (а это последнее — идеограмму); *свиток* дисквалифицирует и вытесняет табличку, *кодекс* — свиток, печатная продукция — рукопись, аудиовизуальные материалы — рукописи, а цифровые медиа — аналоговые. И это — не забывая о том, что сфера господствующего медиума сосредоточивает для каждого периода максимум политической *furia*<sup>20</sup>. Власть надзирает над работой скрипториев, типографий, мастерских, где всякий раз с новой силой разворачивается ожесточенная борьба за господство. Возьмем, например, сегодня напряженные отношения между личностями, лобби и экономическими группами в аудиовизуальной индустрии и вокруг нее.

3) Как переходят из одной медиасферы в другую? Посредством «революции» в машинах, затрагивающей, прежде всего, технические аспекты передачи — (ОМ), и заодно — ее социологические аспекты (МО). Разумеется, эта техническая революция требует благоприятной культурной среды. Она не приходит *ex nihilo*<sup>21</sup>. Она входит в некую постепенную непрерывность (*revolution as usual*<sup>22</sup>). В рамках логосферы (чья чрезмерная и, может быть, несколько расплывчатая длительность не должна сбивать с толку), произошли крупные перевороты, например, замена *свитка* *кодексом* (между II и IV вв.), изобретение *минускула* (между VIII и IX вв.) как исток чтения про себя; появление *бумаги* (которая поможет сделать из кни-

ги предмет уже не роскоши, но торговли и удобного потребления); формирование административных клерикатур<sup>23</sup>, накапливающих написанное (архивы, бухгалтерское дело, подлинники юридических документов); подъем университетов; система *récia* (рукописей, изготавливаемых в мастерских) возникла благодаря этому подъему; развитие ксилографии и т. д. Именно на этом медленно оттесняемом вглубь переносимое вертикальная мобильность графосферы смогла осуществить такую политическую, моральную и духовную революцию, как протестантизм и нарождающиеся разновидности национализма (что сопровождалось религиозными войнами). Ручная печать не изменила кода языкового медиума (не были преобразованы ни французский лексикон, ни синтаксис); она не отменила одним росчерком чернил другие способы передачи (в XVI в. продолжали и производить проповеди и писать от руки). Как мы видели, она не изобрела собственный материальный носитель: бумага из тряпки уже существовала, кодекс тоже, а формы типографских инкунабул, как напомнил Роже Шартье, строятся сообразно формам рукописи (42-строчная Библия). И все-таки, если не учитывать институциональной инерции и учитывать латентный период (для типографской печати — два поколения, 1440–1530 гг.), то именно изобретение Гутенберга, со своей датой и своим местом, открывает новую эру и нарушает единство христианства. Какие разрывы возвестит возможное свержение электрона фотоном (свет движется гораздо быстрее, нежели электричество, и может передать больше информации) — говорить пока еще слишком рано (фотонной памяти пока не существует), но изменение носителя, как известно, является и свержением власти.

4) Техническое изменение медиасферы является изменением и в социальном статусе администраторов смысла. Это подрыв посредством обхода, и обнаруживается он не сразу. В середине XV в. корпорация священнослужителей была ошастливлена изобретением печати, приняв ее за просто дополнительный носитель (технический); она не разглядела, что при этом возникали новые отношения (социальные). В 50-е гг. нашего века корпорация издателей и преподавателей посчитала телевидение просто-напросто визуальным громкоговорителем, тогда как политики усматривали в нем всего лишь оптический усилитель речей с трибуны (более эффективный рупор, который добавлялся к уже имевшимся микрофонам). В действительности печатная продукция вызвала подрыв церковной иерархии, обойдя ее стороной, с той же непреложностью, с какой телевидение подорвало старые партийные иерархии (хотя все торопились примкнуть к новой сети). И поскольку первое время сдвиг между причиной и следствием маскировал эффект разрыва, по всему казалось, будто упомянутые корпорации правы (всякий раз старый порядок начинал извлекать прибыль из нового медиума). Однако вчерашний переход от *буквенной* памяти — памяти книг и печатной продукции, составляющих основу графосферы, — к *аналоговым* запоминающим устройствам (фотографии, фонографии, кино, радио, телевидению) из видеосферы смог вызвать социальный переворот. Из-за одного того факта, что аналоговые запоминающие устройства больше не требуют особой квалификации для доступа к архиву и передают кодирование и декодирование машинам (считывающее устройство для кассеты, проекционный аппарат, электропроигры-

ватель, компьютер и т. д.), они наделяют непосредственным культурным значением покупательную способность. Кроме того, они обеспечивают сравнительное преимущество информации над познанием (документа над последовательностью, паратаксиста<sup>24</sup> над синтаксисом и т. д.), а, стало быть, в социальном отношении — средств информации над институтами знания. Это инверсия устоявшихся иерархий (среди производителей символического) и раскачивание как на качелях в экономике корпораций. Упомянутые носители «декоммунитаризируют» сообщества действия, знания и веры (коллективных интеллектуалов, какими были академии, церкви и партии<sup>25</sup>). И при этом в планетарном масштабе увеличивают неравенство между *ноу-хау* и другими знаниями.

Каковы бы ни были возражения, которые можно (и необходимо) сделать с исторической точки зрения, в наших идеально-типических таксономиях — лого-, графо-, видео-, — мы придерживаемся суффикса — *сфера*. Он обозначает охват, а не столкновение лицом к лицу, и в этом отличается от *поля*. Такому двумерному и оптическому понятию противостоит трехмерный, синергический, погружающий характер медиасфер. Мы эволюционируем в них, «как рыба в воде». Отсюда все трудности. «H<sub>2</sub>O не является открытием, сделанным рыбой». Кроме тех случаев, может быть, когда рыба оказывается на песке. Мы начинаем обращать внимание на нашу медиасферу, когда та повреждена (близорукий догадывается, что он носит очки, когда теряет или ломает их). Аналогичное произойдет, если благочестивый читатель Библии задастся вопросом, на каком языке говорил Бог, когда создавал мир с помощью слова, — ибо авторы Ветхого Завета не чувствовали потреб-

ности уточнять эти детали — читатель может начать сомневаться. Медиологическое открытие всегда совершается задним числом, и эта рефлексивность мучительна, и даже приводит в уныние. «Печаль, — говорил Валери, — происходит от всего, чему мы уделяем чрезмерное внимание». Именно когда наша среда (природная или культурная) начинает причинять нам боль, мы догадываемся о существовании этой среды, и чем больше мы ощущаем ее хрупкость, тем хуже себя от этого чувствуем. Так, мы открываем наш язык, когда, будучи за границей, уже не можем на нем говорить — или то, что у нас есть родина, когда находимся в изгнании. Следствие здесь таково, что медиолог (как и эколог) регулярно запаздывает — и его осознание этого проникается ощущением потери. Наилучший пример тут дает опять-таки Платон в знаменитом порицании письменности — в первом опыте по прикладной медиологии. Анализ проводится окольным путем и окрашен чувством ностальгии по уже весьма подорванному господству аристократической устной культуры. Вот какова моральная плата за эпистемологическое познание «задним числом». Подобно удивлению философа («почему существует скорее бытие, нежели ничто?»), страх, вызванный деградацией медиасферы (или биосферы), каковую мы считали естественной, а значит, так или иначе бессмертной, способствует вопрошанию о материальной основе этих сфер, до сих пор считавшейся нами неважной. Экологическому пафосу — может ли род человеческий выжить при сегодняшнем озоновом слое? — вторит эхом страх со стороны медиологии — будет ли еще возможной передача (подлинных) ценностей после замены мудрецов папирусом (Платон), живописи — фотографии

ей (Бодлер), литературы — кинематографом (Жорж Дюамель), подлинной книги — одноразовым «покет-буком», большого экрана — малым и т. д.? Знакомый рефрен: что случится с гуманизмом после изобретения варварских железных дорог, икарийского аэроплана, столь легкомысленного радио, столь вульгарного телевидения, столь опасной виртуальности (*passim*<sup>26</sup>)...? Если призрак потери обернется реакционным наваждением упадка, то дискурс прояснения дойдет до провозглашения Апокалипсиса и до риторик заката (конец того, конец сего). И тогда страх станет не двигателем, но причиной помрачения. Медиологические наблюдения будут более трезвыми, когда пройдет время скорби и компенсации за нее. Медиолог предается относительной ретроспекции, но должен бороться с меланхолией. Ибо ничто не теряется, но все преобразуется. И возобновляется по-иному...



---

Симметричные таблицы со столбцами и рубриками не имеют другой ценности, кроме показа. Они служат выделению идеальных типов и показу логики значащих разрывов, где каждый изолированный элемент обретает смысл через различия, и поэтому каждую сферу нельзя рассматривать в отдельности от других. За эти удобные сопоставления приходится платить: эта система оппозиций является намеренно чрезмерной, пренебрегающей нюансами, оттенками и переходными случаями, какие историческое наблюдение находит неизбежно и намеренно. История движется по строкам (по линиям перехода, а не разделения); метаистория — по столбцам (ради связности, а иногда — автономии). Упрощение для объяснения — стоит ли игра свеч? Нет — говорит исследователь (историк), «потому что это не затрагивает пограничных случаев». Да — говорит педагог (философ), «потому что нам следует знать, откуда мы отправляемся и куда приходим». Старая дилемма...

---

	<i>Логосфера (письмо)</i>	<i>Графосфера (книгопечатание)</i>	<i>Видеосфера (аудиовизуальные приборы)</i>
<i>Стратегическая среда (проекция мощности)</i>	<i>Земля</i>	<i>Море</i>	<i>Пространство, космос</i>
<i>Групповой идеал (и политическое производное)</i>	<i>Один (город, империя, королевство) Абсолютизм</i>	<i>Все (нация, народ, Государство) Национализм и тоталитаризм</i>	<i>Каждый (население, Общество, мир) Индивидуализм и аномия</i>
<i>Фигура времени и вектор</i>	<i>Круг (вечность, повторение). Археоцентричность</i>	<i>Линия (история, прогресс). Футуроцентричность</i>	<i>Точка (сиюминутность, событие). Аутоцентричность: культ настоящего</i>
<i>Канонический возраст</i>	<i>Старец</i>	<i>Взрослый</i>	<i>Молодой</i>
<i>Парадигма тяготения</i>	<i>Миф (мистерии, догмы, эпопеи)</i>	<i>Логос (утопии, системы, программы)</i>	<i>Имаго (аффекты и фантазмы)</i>
<i>Символический канон</i>	<i>Религии (теология)</i>	<i>Системы (идеологии)</i>	<i>Модели (иконология)</i>
<i>Духовный класс (владеющий социальным сакральным)</i>	<i>Церковь (пророки и клирики). Святая святых: Догма</i>	<i>Светская интеллигенция (профессора и доктора). Святая святых: познание</i>	<i>Светские медиа (распространители и производители). Святая святых: информация</i>
<i>Легитимирующая ссылка</i>	<i>Божественное (так надо, это сакрально)</i>	<i>Идеальное (так надо, это правильно)</i>	<i>Работающее (так надо, это работает)</i>
<i>Двигатель неповиновения</i>	<i>Вера (фанатизм)</i>	<i>Закон (догматизм)</i>	<i>Мнение (релятивизм)</i>

	<i>Логосфера (письмо)</i>	<i>Графосфера (книгопечатание)</i>	<i>Видеосфера (аудиовизуальные приборы)</i>
<i>Нормальное средство влияния</i>	<i>Проповедь</i>	<i>Публикация</i>	<i>Появление</i>
<i>Контроль над потоками</i>	<i>Церковный, прямой (над высказывающимися)</i>	<i>Политический, косвенный (над средствами высказывания)</i>	<i>Экономический, прямой (над сообщениями)</i>
<i>Статус индивида</i>	<i>Подданный (чтобы командовать)</i>	<i>Гражданин (чтобы убеждать)</i>	<i>Потребитель (чтобы соблазнять)</i>
<i>Миф идентификации</i>	<i>Святой</i>	<i>Герой</i>	<i>Звезда</i>
<i>Девиз авторитета для личности</i>	<i>Бог сказал мне это (верно как слова из Евангелия)</i>	<i>Я прочел это в книге (верно как печатное слово)</i>	<i>Я видел это по телевизору (верно как прямой образ)</i>
<i>Режим символического</i>	<i>Невидимое (Исток) или неверифицируемое</i>	<i>Читаемое (Основание) или истинное логически</i>	<i>Видимое (Событие) или правдоподобное</i>
<i>Единица социального управления</i>	<i>Символическая единица: Царь (династический принцип)</i>	<i>Теоретическая единица: Вождь (идеологический принцип)</i>	<i>Арифметическая единица: Лидер (статистический принцип, зондирование, котировка, аудитория)</i>
<i>Центр субъективной тяжести</i>	<i>Душа (anima)</i>	<i>Сознание (animus)</i>	<i>Тело (sensorium)</i>

## ТЕХНИКА И/ИЛИ КУЛЬТУРА: КАК РАСПОЗНАТЬ?

Возможно, нас обвинят в недооценке культурного элемента и в пренебрежении элементом политическим, в том, что мы чересчур стремимся реабилитировать технику, недооценка которой и презрение к которой служат неотъемлемыми чертами нашего наследия и больше характерны для римско-католической, чем для протестантской страны. Это презрение, по правде говоря, настолько вошло в наш ментальный геном, что общество, столь чудовищно оснащенное различными техническими устройствами, как наше — к тому же признающее «технонауку» — продолжает располагать технологические сети в самом низу своей иерархии преподавания. То, что называется «технической культурой», пока не нашло себе места в Культуре.

Весомость менталитетов такова, что (давнее) недоверие к технике сопротивляется всем ее успехам, а (греческий) престиж политики — всем связанным с ней обманам. Космическая ракета, гениальные открытия в генетике, антибиотики, киберпространство и компьютеры занимают, в конечном счете, меньше места в наших разговорах, чем Октябрьская революция, убийство Кеннеди и ближайшие выборы. То, что политические дела сегодня превратились в предмет неблагоприятных для них предвзятых суждений, не мешает им занимать публичное пространство и, как прежде, не сходить со сцены, быть ярче научно-технических исследований. Как бы мы ни сознавали, что политические власти едва ли контролируют ход вещей (*volens nolens* они просто распределяют достижения технической эволюции), они продолжают очаровывать нас — несомненно, потому

что эта сфера деятельности мобилизует несравненно более сильные («первостепенные») аффекты и эмоции. В противоположность технике, определяемой по итогам (несмотря на промахи и блуждания), как «человеческое действие, имеющее успех» (Одрикур), политику можно было бы нагло определить как «человеческое действие, терпящее крах». Хотя эмоциональная сфера остается более компромиссной, чем сфера технических действий, бесполезная страсть к власти все-таки, при помощи медиа, помрачает разум публики.

Судьба медиолога такова, что он вынужден пользоваться сложившимся лексиконом, использовать термины традиции в тот самый момент, когда старается сбросить ее ярмо. У основания нашей философской традиции мы находим оппозицию техника/культура, которую надо поостеречься принимать за чистую монету. Разве само понятие медиасферы не дает примера пересечения между техническими факторами и культурными ценностями? Это какая-то технокультура, которую в предельном случае можно назвать «цивилизацией» (объединяя в этом термине его немецкое значение, делающее упор на материальной базе, и значение французское, выделяющее произведения духа). Как бы там ни было, нам следует учесть эту классическую антитезу перед тем, как вновь поставить ее под вопрос. Как отказаться от устоявшихся классификационных рамок, не впадая в культурный нигилизм, который отрицает очевидное, а именно — что пишущая машинка «Ундервуд» — одно дело, а роман Дэшила Хаммета — другое? Рассмотрим проблему у ее истоков, в терминах генезиса, и начиная сначала.

С палеонтологической точки зрения, технический

акт является матричным. Именно из него все исходит, если вслед за Леруа-Гураном мы считаем, что антропогенез представляет собой техногенез. Всё и, прежде всего, освобождение внутреннего с помощью внешнего — от кремня к кремнию, от клепсидры к кварцевым часам — благодаря «уникальному свойству человека: помещать свою память за пределы самого себя, в социальный организм». Но ведь такая память есть уже накопление программ поведения, потенциальных поступков, а стало быть, материализованная символическая информация. Орудие труда в руке является техническим объектом, но манипулирующая им рука — субъект культуры (орудие же труда при отсутствии руки — это музейная абстракция). Эта «оперативная синергия орудия труда и поступка» и есть «технокультура». Великий, если так можно выразиться, «непрерывник» (в противовес традиции логоцентризма, располагающей между животностью и человечностью внезапное и абсолютное разделение), Леруа-Гуран выделяет совместное развитие скелета (прямохождение), коры головного мозга (объем черепа) и кремня (ручное орудие труда). В этом строгом сцеплении, которым современный наблюдатель будет вдохновляться, Леруа-Гуран ни на миг не отрывает технические завоевания от продвижения в сфере символов: способность к изготовлению вещей от дара речи (они взаимно друг друга предполагают) — в противоположность логоцентризму, каковой — через язык — утверждает символ как ценность и самостоятельный мир.

Вплоть до довольно поздней стадии совместной эволюции человека и орудия труда культура и техника образуют нераздельный блок, составляемый всевозможными *дополнениями к багажу*, которые

всеядное двуногое добавило к своему *генетическому достоянию*. Или — если предпочитаете — всё, через что потребовалось пройти протокроманьонцу, чтобы стать *sapiens sapiens numericus*. Приобретенное, которое превзошло врожденное, некогда обозначало себя именем «искусство» («*Искусство — это человек, добавленный к природе*»). Многообещающий чулан. Сюда можно сложить всё — от покорения огня до завоевания вездесущности, от керамики до фотоники, проходя через письменность и пенициллин. Зато речевая компетенция входила в генетический запас, и некоторые предполагают, что *Homo erectus* обладал даром речи миллион лет назад (что было бы с неврологической точки зрения возможно у примата с объемом черепа 700–800 см<sup>3</sup>, что отделяет шимпанзе от австралопитека). *Sapiens sapiens* изобрел письменность лишь шесть или семь тысячелетий назад: стало быть, письменность можно назвать «искусством» или техникой, но не членораздельную речь.

Затем наступает момент, когда ряды расходятся достаточно для того, чтобы латинское «ars» дало рождение двум различным словам. Поначалу это разделение существовало ради удобства. В сторону «техники» мы отбросим ручной и материальный труд, необходимый для нашей физической жизни (изготавливать, охотиться, собирать, потреблять), чтобы подчеркнуть в культуре *конечный продукт*, результат этого труда по *разработке*. Тогда корзина, платье и книга будут называться культурными объектами, а ремесло корзинщика, ткачество и книгопечатание — техникой. Эту стадию еще можно обвинить в определенной терминологической путанице, унаследованной от старых классовых и ценностных разделений между производителями — рабами или

крепостными — и потребителями — людьми свободными или представителями свободных профессий. Но фактом является то, что, затушевывая различие между техникой и культурой, разумеется, в описательном, а не в нормативном смысле слов — мы видим, что культура как нравы и обычаи некоей группы людей (без ценностных суждений) легко вырисовывается из-за субстанциальных различий в рамках приобретений, которые накапливает и передает человечество после неолита в двух совершенно несходных областях. А именно — начиная с промышленной революции, происходит растущее расхождение, из-за разлада в ритмах эволюции, между хорошо укорененными и относительно устойчивыми культурными сферами (язык, кухня, обычаи, религия) и устройствами мобильными и вовлеченными в ускоренное обновление (паровые машины, электричество, электроника и т. д.). Наши технические системы проявляют тенденцию занимать все более обширное пространство (они распространяются по всем направлениям), но срок их существования становится все короче; а вот наши культуры — т. е. совокупности форм, жестов и воспоминаний, предоставляемых каждым обществом в распоряжение его членов, — образуют реальности большой продолжительности (слабо изменяясь во времени), оставаясь в существенных чертах вписанными в одну и ту же территорию (при большом разнообразии в пространстве). Так, в Пекине, Кейптауне и Лиме в 2000 г. мы обнаружим те же эскалаторы, те же катодные трубки, автомобили и телефоны, что и в Париже. Зато парижанин ощутит себя в крайне чуждой обстановке в Пекине из-за *китайских иероглифов* и пользования *палочками для еды*, в Кейптауне — из-за то-



го, что негры поют *gospel*<sup>27</sup> во время церковной службы, *танцуя враскачку*, а в Лиме — из-за того, что *кивок* индейца он примет за согласие, но тот будет означать «нет». Если бы наш путешественник попал в Пекин, Лиму или Кейптаун в 1900 г., он не удивился бы ни одной из банальных и не престижных инноваций, которые стали нам очень хорошо известными (настолько, что мы больше не замечаем их характер искусственности), но его бы озадачили вчера, как озадачивают сегодня, те же иероглифы, та же кухня и та же жестикуляция, которые внушали бы ему то же ощущение странности. Мнемотехника, какой являются наши типы письменности, стабильнее наших машин. Логосиллабическая система (холистическая, а не атомистическая запись слов), которой пользуются китайцы, осталась без изменений на протяжении тридцати пяти веков. Вот где подлинная китайская стена, с которой сталкивается западный мир с его латинским алфавитом! И функция ее состоит как раз в том, чтобы поддержать особую коллективную идентичность (даже если придется застопорить модернизацию). С другой стороны, мы видели уличную демонстрацию корейцев в Сеуле (1999) против проекта нового ввода китайских иероглифов в официальные документы, и чтобы сохранить *хангыль*, их собственную систему письменности, бастион их национальной идентичности в столкновении с китайским и японским миром.

Отсюда мы видим, что, в противоположность тому, что говорят благочестивые клише, культура дробит род человеческий на не налагаемые друг на друга разновидности — этносы, народы и цивилизации, тогда как техника объединяет его, гомогенизируя наши практические знания. Приверженность памя-

ти мест является одним из факторов этноцентризма; принятие же «последней модели» — фактор экуменизма. Сквозь каждую культуру проходит отгораживающий ее код, а не гороскоп. И экономические регионы легче поддаются объединению, чем хронологические эры (сопротивляется время). Пространство, где распространяется «последний крик моды», является *изотропным*; так что любое орудие труда можно подделать где угодно или экспортировать куда угодно (без необходимости для изобретателей что-либо завоевывать или оккупировать). В этом отношении все территории, пройдя известный порог компетенции, будут обладать одними и теми же свойствами. Для инженера или информатика не существует ни святого места, ни священной границы, ни пупа земли — автомобили, компьютеры и электростанции повсюду у себя дома; поскольку их функционирование не привязано ни к конкретной территории, ни к конкретному языку, ни к какой-то религии, они могут пробивать себе путь на все четыре стороны света. А вот пространство нравов, языков и мифов гетерогенно и поляризовано, прикреплено к почве и по природе своей устойчиво; до малейшей подробности оно кристаллизуется подобно религиозному пространству, поскольку обладает подобной ему природой. Со столицей, откуда исходят лучи благодати (Иерусалим, Рим, Мекка), со священными местами (святилища), со своей «удельной землей» (где осуществилось обращение неверных), с адом и лимбом (периферия, где живут неверные)...

Тем самым перед нами предстают два свойства, характерные для технического мира, которые, на первый взгляд, противопоставляют его мирам культур — подобно тому, как глобальное противостоит

локальному, а динамическое (или неустойчивое) — идентичному (или стабилизированному).

1) Техника не имеет границ. Она может излучаться откуда угодно куда угодно, потому что в ее логике — упрощать и объединять по наименьшему общему знаменателю. Она непрерывно все больше, поэтапно, гомогенизирует процедуры и пространства. Таковы вехи старой работы по стандартизации. Всякая техническая деятельность, пройдя известную стадию, требует стандартизации; и история всякой техники (идет ли речь о железных дорогах или о радио- и телевидении) представляет собой историю прогрессивной нормализации. Механические часы в конце Средневековья уже пробивали один и тот же час во всех уголках страны, а после этого было введены стандартное время (по Гринвичу) и стандартные часовые пояса. Для организации пространства деятельность по строительству железных дорог стала первопроходческой по направлению к консенсусу, наступившему в индустриальную эпоху. Электрический телеграф, позволивший расширить понятие транспортировки, разрешив проблему движения по одному-единственному пути, произвел первый международный сигнальный код, каковым является азбука Морзе (технологии объектов и знаков взаимно определяют друг друга). Безопасность, сотрудничество, сертификация, спецификация служат здесь ключевыми словами. Не так давно телевидение разработало стандарты вещания (PAL и SECAM), а цифровое кодирование объединило все каналы на телефонном проводе, сочетав телекоммуникацию, микрокомпьютеры, аудиовизуальные средства, фильмы, CD и фотографию в *унимедиа* («мультимедиа» — выражение неправильное, так как они технически

униформизированы). К примеру, Интернет есть не что иное, как завершение протокола *интерактивной работы*. Тем самым расширяющийся пучок сетей показывает в тенденции стремление к «совершенству», предвосхищая человечество как единое взаимосвязанное целое, глобальную и стандартизованную деревню, с изолятами<sup>28</sup>, согласованными посредством одной и той же системы мер, восхваляющей особенности или издевающейся над ними. В мире существует три тысячи разговорных языков, но лишь три стандарта ширины колеи для железных дорог, два стандарта напряжения для наших электрических устройств и одна-единственная Международная организация гражданской авиации (ICAO), занимающаяся дистанционным управлением всеми воздушными судами на одном и том же техническом коде, на английском языке.

В сходстве линий эволюции технических объектов в культурах, не поддерживающих контактов между собой, выражается объективная универсальность законов природы: конечное основание этой универсальности — в науке. Все топоры, как правило, снабжаются топорищем, корпуса всех судов, как правило, делаются веретенообразными (Ален: «Именно море занимается отделкой кораблей, выбирая подходящие и уничтожая остальные»). В этой области за физическими свойствами древесины, воздуха, воды и т. д. будет последнее слово. «Как будто бы все происходит так, как если бы идеальный прототип рыбы или обтесанного кремня развивался — согласно предусмотренным линиям — от рыбы к земноводному, к млекопитающему или к птице, от недифференцированного кремня в его форме с тонко отделанными лезвиями к медному ножу и к стальной сабле.

Не надо поддаваться иллюзии: в этих линиях просто-напросто выражается один из аспектов жизни, аспект неизбежного и ограниченного выбора, какой среда предлагает живой материи»<sup>29</sup>. Мы видели, что черты культуры блокируют или замедляют наступление технической зрелости в некоторых цивилизациях (например, колесо в доколумбовой Америке), но стоит появиться орудиям труда, как повсюду, в каждой линии (галечное орудие, рубило, скребок, острое, лезвие, ножи) они следуют аналогичному порядку преемственности. Та или иная культура, конечно, может придавать щиту, уздечке, мотыге или пишущей машинке определенный уникальный декоративный стиль, но всему этому неумолимо будут навязываться функциональные формулы, ибо законы материи обязывают. В этом смысле мондиализация сегодняшнего дня началась с первого обтесанного проторубила, потому что конвергенция неотъемлемо присуща той логике, которая стремится к самому выгодному отношению производительности к затратам, и это — от духового ружья до ракеты-носителя.

Разумеется, техническая стандартизация не является нейтральной. Она охватывает силовые экономические и политические отношения, ее аренами являются вроде бы аполитичные международные органы (например, ISO, International Standardization Organization, которая стандартизирует книги, грампластинки, а также аудиовизуальные произведения). Великие политические битвы сегодня — это битвы вокруг норм, и разворачиваются они не на виду у публики и при ее безразличии. Кто навязывает свою норму, тот возводит собственное локальное на уровень универсального. Тем самым господство/

стандартизация мира зашифровывается в бесстрастных, но определяющих печатях (например, стандарт MPEG-2 для движущегося образа, или JPEG для образа фиксированного).

2) Техника есть место, где свершается прогресс. Имеющейся в тенденции повсеместности ее распространения соответствует усовершенствование ее достижений «до упора», при необратимости (невозможности вернуться назад), что не имеет эквивалента в мире культуры. Так, после изобретения артиллерии ни одна армия не вооружается арбалетами; после возникновения железных дорог исчезают кучера и дилижансы; после создания антибиотиков декореты переходят из больниц в салоны. Зато в истории искусств Пикассо может возобновить «негритянское искусство», а меня можно похвалить за то, что я больше люблю Чимабуэ, нежели Дюбюффе. Все эпохи, все школы выступают здесь на равных. История культуры не размечена дорожными знаками. Вызовет наш смех тот, кто будет считать, будто Ролз — более дельный политический философ, нежели Руссо, потому что первый позже родился, или что добрый доктор Швейцер обладал более высокой моралью, чем св. Винсент де Поль<sup>30</sup>, потому что Швейцер получил возможность накопить духовный опыт трех столетий после св. Винсента.

Технический прогресс может быть алеаторным<sup>31</sup>, неодинаково распределенным (по широтам), нерегулярным (внезапные бифуркации или продолжительные остановки), и порою пугающим (Хиросима и Чернобыль), и все-таки *эволюционная динамика* технического мира является реальностью. Принятие этого к сведению не имеет в виду никакой «эволюционистской» предвзятости (когда всякая стадия *послед-*

дующего развития *выше* предыдущей), ни, впрочем, антиэволюционизма (та же мифология, но перевернутая), для которой предыдущее *выше ipso facto* — и тогда «движение к прогрессу» трактуется здесь как «движение к катастрофе», экологической, духовной или обоим сразу. Рост наших машинных мощностей *поддается измерению* в терминах КПД, объема, долговечности, скорости и т. д. Другое дело — качественная *оценка* этих количественных приобретений. Мы вполне можем — для самих себя — предпочитать ходьбу пешком полетам на «Конкорде», если у нас другое представление о времени, природе и свободе, нежели у спешащих бизнесменов. Но это уже *другой* вопрос, этический (зачем он нужен, этот прогресс?), который нельзя путать с первым, физическим (как движутся дела, каковы продвижения?). Наилучшей реакцией на позитивизм (пренебрежение смыслом во имя фактов) нам не кажется экзорцизм (пренебрежение фактами во имя смысла).

В итоге мы видим две сферы, два способа существования объекта, износ которого здесь и там имеет разные значения. Так, клепсидра, керосиновая лампа или ручная кофемолка возвращают меня в прошлое и возбуждают у меня любознательность: они рассказывают мне о вчерашнем мире и о жизни моих предков. Миф о Прометее, сонет Рембо «Гласные» или яблоки Сезанна вызывают мой экзистенциальный интерес: они рассказывают мне мою собственную жизнь и помогают мне ориентироваться в мире смысла. В культурном отношении мы остаемся современниками Платона (или можем стать подобными Платону, выучив его язык); в техническом отношении ничто не сможет нас к Платону приблизить. С одной стороны, время обратимо, оно объе-

диняет; с другой, оно разделяет. Для современного инженера узнать принцип действия *паровой машины* — не ахти что (всего лишь подтверждение таких физических принципов, как термодинамика необратимых процессов), но посещение Музея искусств и ремесел не является *a must*<sup>32</sup> для информатика; живописец всегда может узнать нечто новое из старинного *произведения*, а художник, который поклянется, что ноги его не будет в Лувре, может вызвать наше законное беспокойство. Человек убегает от хронологии своими произведениями, он вновь погружается в нее своими машинами.

Подведем итоги. *Техническая система* выражает внутренние совместимости по оснащению общества для каждой эпохи — без учета границ; *система культуры* обеспечивает в рамках некоего заданного общества существующую сплоченность между его прошлым и настоящим. Эту оппозицию можно прояснить в краткой таблице, служащей дидактическим целям, не забывая о том, что речь не идет о категориях, которые необходимо вписывать в неизбывный и пустой конфликт между регистрами. Доказательство этому — в том, что всякое техническое устройство наделяется особым символическим измерением в зависимости от культуры, где оно имеет место. Логика вещей (плюралистическая), к счастью, затухает вещи логики (здесь — упрощенческой), однако последняя поможет нам лучше понять первую. Сравнительная шпаргалка служит здесь для помощи и не заменяет разум, необходимый для конкретных ситуаций.



**«THE MEDIUM IS THE MESSAGE»**

	<i>«Техника»</i>	<i>«Культура»</i>
<i>Занимается</i>	<i>Вещами (системами предметов)</i>	<i>Людьми (системами поведения)</i>
<i>В историческом времени</i>	<i>Большая изменчивость «непрерывно движется!»</i>	<i>Слабая изменчивость «всегда одно и то же!»</i>
<i>В географическом отношении</i>	<i>Большое единообразие («всюду одно!»)</i>	<i>Большое многообразие («как непривычно!»)</i>
<i>Движется</i>	<i>К инновациям (динамичным)</i>	<i>К повторению (статичному)</i>
<i>Функциональный идеал</i>	<i>Совместимость или стандарт (модель, деталь, обмен...)</i>	<i>Несовместимость или упорство (идиосинкразии, автохтонность)</i>
<i>Практический идеал</i>	<i>Глобализация «разрушить старые барьеры» линейно направленное время</i>	<i>Демаркация «наша культурная исключительность» интериоризованное время</i>
<i>Политическая окраска</i>	<i>Прогрессизм (Энциклопедия, Просвещение, космополитизм) склоняется влево</i>	<i>Консерватизм (национализм, традиционализм, этницизм) склоняется вправо</i>
<i>Ассоциируется с ценностями</i>	<i>рационалистическими открытость, прозрачность, скорость, коммуникация, циркуляция...</i>	<i>романтическими секрет, напряженность, несказанное, оригинальность...</i>

*Примечание:* приблизительно такой была эта решетка в XIX–XX вв. Если «изменились сами способы изменения» (Бруно Латур), то может быть, что в XXI в. правое и левое поменяются местами. И тогда мы перейдем из мира, где ускорение инноваций, предполагаемых факторов спокойствия и гармонизации, было хорошо само по себе (и «прогрессивно»), в мир, где способствовать сосуществованию несоизмеримого и сочетать различия будет считаться наилучшим (и «прогрессивным»).

Первое приходящее на ум возражение при встрече с подобной таблицей состоит в том, что, с одной стороны, мы не можем отождествлять технику и универсальное, а с другой — культуру и локальное. Сегодня больше, чем когда-либо, является очевидным, что идеи путешествуют повсюду, как и формы, и вкусы. Никто не бывает прикован к своему куску земли, подобно растению, или замкнут в своей родословной, и всеобщая подвижность уникальным образом повысила шансы на синкретизм и межкультурное оплодотворение. Римский католицизм сегодня является больше африканским и латиноамериканским, чем европейским; на Западе существуют буддийские монастыри (их все больше и больше), а жителей Запада становится все больше в индуистских ашрамах. Бордоский лук произрастает в Калифорнии, а тай-цзи<sup>33</sup> можно встретить в любом сквере. Вся музыка мира смешивается в наших коробках для дисков. Миграционные потоки и телекоммуникация не только видоизменяют состав ветвей культуры (перенос преобразует, среда накладывает отпечаток), но и позволяют проводить разного рода «размножение черенками», гибридизацию и восстановления.

Фактически мы увидим, что в этом отношении действительно существует новая данность. Однако даже если культур-индустрия изготавливает и напрямую продает содержание сознания или воспроизводимые сильные ощущения, которыми можно поделиться с любым уголком земного шара, пренебрегая местными особенностями, то «культурная мондиализация» ни в коем случае не может — вопреки видимости — сводиться к этому движению по униформизации через рост обмена (см. гл. 6). Сколь бы абстрактным ни было категориальное различие между двумя поряд-

ками, оно окажется полезным для оценки сегодняшнего и особенно завтрашнего напряжения.

## ДОКАЗАТЕЛЬСТВО С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВА

Медиолог ощущает совершенно особую привязанность к произведениям искусства на том основании, что они наделяют праздник культуры техническим опосредованием. По природе своей, искусство является изготовлением поделок (bricolage). Оно тяготеет к объекту и любит самоделки (башмаки Ван Гога, кувшинчики Шардена). Спонтанно гилеморфное, искусство основывает сверхчувственное на чувственном (Гегель), овнешняет внутреннее (эмоцию, чувство создателя) или интериоризирует внешнее (душу пейзажа, меланхолию кофейника), и поэтому оно удобно для того, чтобы ощущать произвольность идеалистических противопоставлений (душа/тело, субъект/объект, форма/материя и т. д.). Это область, где разделение медиум/сообщение или техническое/символическое в высшей степени недостоверно (гравюра на меди — технический медиум, а вот гравюра Дюрера — эстетическое сообщение). Здесь соединительная черта, как прежде, остается головоломкой и головной болью для представителя пластических искусств, особи по преимуществу технической, презиравшейся на протяжении столетий языковыми искусствами.

Сегодня мы можем считать непреложным то, что если и не бывает искусства без ремесла, то художественная деятельность несводима к механической операции (и особенно — добавляем мы иногда — к индустриальной технике, разрушающей ауру). Существуют произведения искусства (для виолончели-

ста, как и для рисовальщика), когда инструмент забывается, преодолевается, как бы незаметно исчезает благодаря вдохновенному непредвидимому жесту, пришедшему из глубин характера или темперамента. Тогда можно сказать, что от фактуры до стиля далеко. И еще — что техника корыстна, что она нацелена на полезное, тогда как искусство бескорыстно и его целесообразность не связана с практической целью. Или же — что техника стереотипна и анонимна (мануфактура, завод), тогда как искусство оригинально и сингулярно и т. д.. Эти избитые оппозиции образовывали правила на всем протяжении эпохи академизма, но в эпоху техномузыки и техноискусства (столь же подозрительных для моралистов от искусства, как технонаука — для пуристов от науки) они, в конце концов, потерпели крах. Причина здесь в том, что современное искусство есть как раз то, которое признает свою техничность, точнее говоря, выставляет ее напоказ (даже в кинематографе — уж, казалось бы, какое реалистическое искусство! — машинные эффекты теперь афишируются без всяких комплексов, поверх эффекта реальности).

Отношения между духом и руками длительное время затемнялись, вытеснялись или подавлялись, особенно философией искусства, как более или менее обещещающее рабство. Можно сказать, что эстетика как жанр родилась из самого этого отклонения [*dénégation*]. Медиолог — друг художников и противник эстетиков (в особенности — кантианцев). В действительности в пластических искусствах, как и в поэзии (там, где слово, как говорил Гюго, — «это плоть идеи»), все, что касается материалов, форматов, цвета, носителей, рамок, промежутков, мест и т. д., находится не ниже идеи, но выше нее. «Ин-

тендантство» предшествует форме, потому что *сообщение неотделимо от медиума*. Оно составляет единое целое с произведением — тогда как в языке код отделим от высказанного, а буквальный смысл высказанного — от процесса высказывания. В искусстве же, где высказанное вставлено в рамки, имеет место противоположное, например, смысл стихотворения — в его ритме и ассонансах, а смысл картины — в ее цвете и пропорциях. Таково — в широком смысле — различие между образом и текстом. Смысл текста неотделим от бумаги и используемых букв; он не снижается от воспроизведения; но качество образа изменяется вместе с его носителем и «утрачивается» в каждом поколении: «Джоконда» как оригинал на холсте есть другой образ, нежели «Джоконда» на почтовой открытке, тогда как «Анна Каренина» карманного формата остается «Анной Карениной». Ничего удивительного в том, что поэты и представители пластических искусств — в режиме интуиции — были и остаются пионерами медиологической чувствительности (которая разрушает иерархии и делает продольный разрез сквозь поля); а предшественником медиологического метода в области рефлексии был философ истории, державшийся вплотную к эволюционной материальности искусства, Вальтер Беньямин.

Надо ли напоминать, что искусство было внесено грехами в наши крестильные купели под весьма скромным именем *технэ* (переведенном на латынь как «*ars*»)? Для современника Фидия выражение «техно-арт» было бы плеоназмом. Никакой трансгрессии, никакой разнузданности. Разумеется, особой чести не было, но не было и бесчестия: статус не бесславный, но средний. Художник — человек руч-

ного труда, это ремесленник, который обрабатывает материал орудиями труда, скажем — ремесленник высшего класса (он может подписывать или, скорее, штамповать свою продукцию, подобно гончару или керамисту). Платон помещает живописцев и ваятелей на шестой уровень в «Государстве», вместе с поэтами, но перед ремесленниками, тогда как рабочие и ремесленники находятся на седьмом. Аристотель помещает художников и скульпторов на тот же уровень, что и врачей и архитекторов. Это такие же профессионалы, как и другие (хотя, само собой разумеется, как скажет Плутарх: «Ни один свободный человек не согласится стать ваятелем»). Диететика, верховая езда, медицина, декорирование сцены относятся к *технэ* — ремеслам, предполагающим особый талант и передающимся посредством специализированного ученичества. Это означает, что наше определение искусства, *прекрасный выраженный факт*, не имеет соответствия в архаической и классической Греции (из девяти муз ни одна не относится к тому, что мы называем изящными искусствами). Разговоры о «греческом искусстве» подразумевают наивную экстраполяцию, обратную проекцию современной категории (хотя она предполагает, что религиозная, политическая и эстетическая функция отделены друг от друга) на цивилизацию, где она не была мыслимой<sup>34</sup>. То же замечание *a fortiori*<sup>35</sup> годится и для доисторического, скифского, византийского, средневекового и прочих «искусств». «Ymagiers»<sup>36</sup> XII в. имели тот же статус, что и шляпники, красильщики и стекольщики. Формы, которые мы называем «художественными», потому что отделяем их от их изначальных функций, вписывались как субподряды в религиозные или культурные практи-

ки (икона представляет собой носитель благочестия, будучи интерфейсом между верующим и божественным), в практики гражданские (скульптура), денежные (нумизматика) и домашние (керамика). Нет ничего менее медиологического и более выдуманного с исторической точки зрения, нежели идея вечного Искусства, почивающего в глубинах человека, лежащего в основе всех культур и возникающего то тут, то там, время от времени их осеняющего и самотождественного (если не смешивать искусство с религиозным идеалом и эстетическим восторгом). Поэтому же и уже более правдоподобную идею параболической траектории — отправную точку которой образуют разрисованные пещеры палеолита, кульминацию или зрелость — эпоха модерна, а старость или закат — наше постмодернистское «что угодно» — необходимо поставить под сомнение.

Возникновение понятия искусства тесно связано с медиологической конфигурацией передачи, осуществляемой одновременно и неразрывно с множеством *репрезентаций* и совокупностью *институтов*. В этой системе слова и места принимают эстафету друг от друга. Искусство не производится без производства *орудий кодификации* (т. е. независимого критического знания, учебников, трактатов, истории, биографий художников) и *орудий капитализации* (т. е. автономных мест хранения, коллекций и музеев). Музей, будучи фабрикой видимости, относится к Искусству так же, как Библиотека, фабрика чтения, — к книжной культуре: это больше чем кладовая следов, это алхимическое место, где видение сталкивается с творением, как чтение — с письмом. Передаваемое знание встраивается в конструкцию на «тека» (пинако-, глипто-, кине-

ма-, а теперь и видеотека), что сегодня проявляется в возведении мультфильма на уровень искусства, а телевидения — на уровень культуры (теоретические исследования по аудиовизуальным средствам, как средствам консультации и хранения, обрели полный расцвет после создания соответствующих институтов). Это случайное и редкостное сочетание факторов начало вырисовываться с эллинистической и римской эпохи, а затем — с возникновением христианства — прервалось<sup>37</sup>. Этот процесс возобновился на Западе (центральная Италия), чтобы конденсироваться в Кватроченто (одновременное появление личной подписи, пейзажа, автопортрета, биографий художников, коллекций, академий искусства и т. д.). В XIV веке этот процесс нашел эмблематическое предвосхищение во встрече художника Джотто, прославляемого и ценимого его современниками, с поэтом Петраркой, коллекционером книг и картин, и критиком Ченнино Ченнини, автором первого технического трактата о живописи. Именно тогда начинается кропотливое освобождение ручного труда — посредством превращения ремесленника в человека свободной профессии (что включало в себя презрение к ручному труду); и искусство, и, прежде всего, художник, сменили стихию ради облагораживания. Живопись становится «cosa mentale»<sup>38</sup> — переходя от статуса «механического» искусства к статусу искусства «свободного» (подобного речевым искусствам); а художник переходит из *корпорации* искусств ручного труда в корпорацию «свободных» искусств, чтобы, подобно Микеланджело, обрести престиж Академии (1562, Флоренция, *Accademia del Disegno*<sup>39</sup>; 1648, Париж, Королевская академия живописи и скульптуры<sup>40</sup>).



Эстетика, которая рождается как дисциплина в конце XVIII в., довершает это движение сублимации за счет методического стирания всего, что связывает творчество с изготовлением изделий — и это доведено до карикатуры у Канта в «Критике способности суждения», интеллектуализм которой исключает всякий намек как на форму, так и на материалы объектов вкусовых суждений. Романтические религии Прекрасного (призвание, откровение, проклятая и асоциальная гениальность) продолжали погребать материальный элемент искусства под его духовным элементом. Подобно тому как книга — как объект — была немислимым в теории литературы, так и объект искусства в его материальности был немислимым в классических эстетиках (правда, эстетика Гегеля заслуживает особого места). Однако всякий, кто открывает тайник опосредований, не может не увидеть, что, избегая объектного и материального измерения, Искусство, в конечном счете, определяется именно таковым измерением, разумеется, скрывая истину от самого себя. Каким окольным путем это происходит? Мы говорим, что произведение искусства ценно своей оригинальностью, для которой характерны два критерия: уникальность и подлинность. Его собственное качество зависит от того, что не является количеством — подобным количеству банально индустриального серийного продукта. Именно его уникальность определяет его рыночную стоимость. Это равнозначно утверждению о том, что количество является конечным критерием качественного, а также «качество произведения искусства не зависит от качества произведения искусства» [sic!] (Мишель Мело). Ведь произведения искусства покупаются редко, или, скорее, я их ред-

ко покупаю (станковая живопись, предназначенная для личного применения). Таким образом, в эпоху «технического воспроизведения» (начиная с середины XVIII в.) наблюдается искусственное разрежение множественного, направленное на искусственное разрежение потенциальных покупателей (ограниченный тираж для эстампов в 1860, ограничение оригиналов скульптуры до семи, декорированная лента для перевязки пакетов, а теперь к предметам искусства относятся и «винтажные» вина и одежда, а также подписанный снимок в фотографии). Цензовые рыночные критерии определяют редкость предмета априори<sup>41</sup>. Социальное производство художника, как уникального существа, неподвластного общему уделу, оказывается неотделимым от технических модальностей производства объекта искусства, как уникальной вещи, которая неподвластна полезности — эти модальности соответствуют правилам социальной рыночной селекции (= среда образует медиум, который формирует высказывающегося, или художника, каковой сам составляет часть среды, которая и т. д.). Предмет искусства можно квалифицировать как объект, отрицающий собственную истину. Он не является тем, чем он является (бескорыстным, самоцелью, благодатным), и он является тем, чем он не является (рыночной гомогенностью, объектом сделок и средством оценивания). А когда Марсель Дюшан со своим писсуаром захотел бросить вызов академизму уникальности, он, разумеется, взял серийный предмет, но не забыл наделить его символической уникальностью, персонализируя отсылку подписью Р. Мутт (причина, по которой Филадельфийский салон не исключил его, но попросту отказал ему). Закон среды следовало соблюдать. Тут, не-

сомненно, была хитрость: продемонстрировать, что ценность объекта искусства заключается не в самом объекте, но в подписи, придающей ему то, что Беньямин называл его «выставочной ценностью» (когда эстетический аргумент — всего лишь ширма). Другие, например Мишель Мело, усматривали в знаменитом жесте 1913 г.<sup>42</sup> профилактическую вакцинацию мира искусства от грядущей эпидемии серийных объектов.

Дети Марсея Дюшана — обильное потомство, если его вообще можно назвать потомством (Дюшан оказался проницательным) — продолжали открывать свои карты. «Современное искусство» работает над самой материальностью произведения, над холстом (Фонтана<sup>43</sup>), над объемом (Стелла<sup>44</sup>), над рамой (симуляция поверхности картины). Оно выставляет внутренности наружу. Оно больше не стыдится своих инструментов опосредования и выставляет их на показ. Искусство кичится своими аксессуарами — этакий небоскреб, который выставляет панорамный и прозрачный лифт на фасаде вместо того, чтобы запирать его в особую клетку. Машина ведет за собой руку, и даже откровенно заменяет ее. Поначалу технические опосредования: новые материалы; искусство сжимает, растягивает, смешивает, разнообразит, инсталлирует их, иронизирует над ними. Затем опосредования институциональные: центр современного искусства (CAC), FRAC<sup>45</sup>, публичная команда, журнал, критика, галерея, хранитель, куратор — все эти передаточные звенья, образующие «среду», или «ландшафт» искусства, становятся не просто инструментами вздувания стоимости, но ресурсами создания произведений. Искусство выпячивает опосредования, провоцирует их, издевается над ними, од-

нако пользуется ими без комплексов. Что касается современного творчества, то «периферия» искусства превращается в его центр тяжести. Музейное сопровождение, медиатическое или рыночное, превращается в самую партитуру произведения. Музей ничего не выставляет. Он уже ничего и не освящает: он способствует существованию (гигантские форматы, инсталляции, среда, изготовленная для него и, в конечном счете, им самим). Вот он, триумф оболочки над буквой. Чем сильнее кризис искусства, тем больше процветают музеи. В предельном случае сам музей становится произведением искусства (Жери в Бильбао), мы посещаем именно его, а не то, что он вмещает. Музей и *есть* искусство<sup>46</sup>. Он поглощает заводы, больницы, доки, вокзалы, склады (CAPC в Бордо, музей Королевы Софии в Мадриде), но также фаготы Мюз<sup>47</sup>, живых лошадей Кунеллиса<sup>48</sup>, дерьмо в коробке Мандзони<sup>49</sup>, спираль «Джетти» Смитсона<sup>50</sup> — все, что могло убежать из музея, чтобы стать частью жизни. Но увы, этот институт поглощает даже самих глотателей. *Off*<sup>51</sup> становится *in* во второй степени, а *ex situ*<sup>52</sup> — общим местом. Мы можем читать историю современного искусства после Дюшана как *трагикомическую гонку преследования между сообщением и его медиумом*. Произведение изготавливает себе ноги и руки, чтобы выйти из рамок (в прямом и переносном смысле), чтобы отрицать себя в качестве произведения (в безделье *концептуальности*, *телесности* или «*arte povera*»<sup>53</sup>, выходить на улицу, растворяться в потоках (*fluxus*) — словом, избегать запертости в коробку эстетики, в «удушливую культуру». Художник отрицает себя в роли художника, даже совершая наивысшее кощунство, самоутверждаясь уже не как пародист или незаконный похити-

тель, но как откровенный плагиатор — как говорят, «аппropriационист» (Шерри Ливайн<sup>54</sup> копирует Шиле, Стёртевант<sup>55</sup> — Джаспера Джонса<sup>56</sup>). Напрасно старается: на повороте художника настигают опосредования. *Challenge and response*<sup>57</sup>. «Сырое» искусство, в конечном счете, котируется, каталогизируется, выставляется, кладется под стекло, изымается из оборота. Между профанацией (тривиальное) и сакрализацией (витрина), распространением (жизнь) и концентрацией (коллекционирование), радикальностью и «промоушеном» действует ряд движений туда и обратно, когда последнее слово остается за Медиумом, превращающим любую антикультуру в культуру, а любой плевок — в благословенную воду. Музей, этот победитель по очкам... *The show must go on*<sup>58</sup>.

Современное искусство, или *подрыв, подрываемый самими своими медиа*. Там, где ворчуны усматривают капитуляцию, а конформисты — *success-story*<sup>59</sup>, т. е. соскальзывание в карьерных планах от логики бунта к логике приспособленчества, от морали риска (художник-самоубийца в духе г-жи де Сталь) к управлению производством (художник-бизнесмен в духе Христо<sup>60</sup>) — медиолог, скорее, увидит банальный эффект среды. Может быть, средства видимости, как материальные, так и институциональные, становятся тем, на что следует смотреть? Эта непрерывная провокация заставляет задуматься, обнаруживая через крайности (пластические изобретения дают рентгеновские снимки *Zeitgeist'a*<sup>61</sup>) перелицовку фона и формы нашей эпохи. Тем самым, что и требовалось доказать, мы защищены от двух иллюзий идеалистической самодостаточности: от предположения, будто наши отношения с окружающей средой могут работать только во внешнем измерении

## ГЛАВА II

(как если бы среда была лишь окружающей средой); и от предположения, будто наши отношения с медиумом могут сводиться к простой манипуляции (как если бы медиум был каким угодно средством).

## ГЛАВА III — «ВОТ ЭТО УБЬЕТ ТО»

### ОБЪЕКТ: ОТНОШЕНИЯ, А НЕ ОБЪЕКТЫ

#### МЕЖДУ ВОТ ЭТИМ И ТЕМ: РАСТВОР ЦИРКУЛЯ (ОТ ВЕЛОСИПЕДА К БОЖЕНЬКЕ)

Медиолога интересует не *сфера объектов*, но *сфера отношений*. Этот пункт является основополагающим. Взятые сами по себе, медиа — в широком или узком смысле — не интересуют его в том, что касается качеств: и точно так же, как мы не напишем историю символов, проследив за историческими перипетиями какого-либо символа (будь то триколор или Свобода-Равенство-Братство), мы не выполним и работу медиолога, восстановив исторический путь письменности, книги или телевидения. Эти исследования вглубь необходимы, но пока еще находятся за пределами нашей темы. Однако мы уже выходим за рамки предварительного, когда выделяем символические ценности, соотносимые с тем или иным «реципиентом» (будь то кодекс, храм Слова, образ Дома, достижение или фиксированность) или носителем (житель Месопотамии, пишущий на глине, повторяет божественный жест из Книги Бытия). И станем настоящими медиологами, сопоставляющими внутреннее и внешнее, когда позитивно соотнесем некое «это», «материальное» и некое «то», «духовное». Вот почему глава II из книги пятой «Собора Парижской Богоматери» имеет эмблематическую ценность для наших суждений. Ее тезис («Книга убьет зда-

ние», поддержанный вторым тезисом «Типография убьет священство») тысячу раз опровергался тезисами более изощренными, более осведомленными, более строгими, лучше документированными, чем у Виктора Гюго. Кроме того, всем нам известно, что «это» не убило «того», что книгопечатание не уничтожило архитектуру, которая вновь расцвела у нас на глазах как никогда, и что пресса не убила Церковь, которая с помпой празднует Юбилей. И все-таки архидьякон Фролло, в уста которого писатель вкладывает эти раздумья (в 1476 г., в Париже), несомненно, заслуживает несменяемой статуи в нашем Пантеоне (между Платоном и Вальтером Беньямином). Грезы Гюго, будучи солидно подкрепленными, остаются *методически гениальными*, намного опережая формулировки и перевороты на крыле (и, вопреки видимости, события, происшедшие после Гюго, нисколько не поколебали его центральную идею). Мы предполагаем, что медиологические исследования способствовали обратному воздействию (орудий труда на обрабатываемый материал), которое оказалось менее примитивным, чем биунивокальное отношение, воображаемое беспокойным готическим клириком, размышляющим над будущим соборов со свеженапечатанной инкунабулой в руках. Как бы ни клеветали на «Вот это убьет то», оно, тем не менее, остается парадигмой картины с двойным входом, где *это* на оси абсцисс обозначает машину или медиум, а *то* на оси ординат — некую культурную черту или институт. *Это*, как правило, располагается внизу шкалы ценностей, а *то* — наверху. *Это* служит опосредованием для *того*, которое, однако же, предстает перед взглядом как не имеющее отношений с *тем* — потому что они не относятся к одно-



му и тому же миру (дистанция как от папства до бумажной фабрики) [parauté et papétérie]. Едва ли они слышали друг о друге. Да и где им пересечься? На встрече инженера с профессором? На встрече Училища искусств и ремесел со Школой высших исследований? Интерфейс так и не дан, его следует каждый раз *строить* с помощью наблюдения, вопреки условностям и правдоподобию. Соперник Клода Фролло напрасно будет вещать в Академии. Он решил игнорировать протокольный порядок и табличные планы. Как и учтивость разделений и схему факультетов... Ненадежность он превратил в систему, подобно каждому, кто, встретившись с ошеломляющим или успокаивающим суждением, тотчас же задается вопросом, какие отношения существуют между тем, что сказано, тем, как это сказано, и что зависит от сказанного. Если еще одно произведение и еще один институт афишируют свой непосредственный и очевидный характер, то тем лучше они навязывают себя нам, обманывая нас. И тогда вкрадывается подозрение (Вальтер Беньямин: «В мире кино реальность предстает очищенной от аппаратов лишь с помощью величайшего технического обмана...»). Чем более принуждающими являются опосредования, тем надменнее непосредственность. Итак, показать опосредования, «техническую» сторону там, где ее не видно, или уже не видно, со стороны «культуры», будет первым моментом пути, иногда озадачивающим или скандальным.

«Я не верю в вещи, — говорил Брак, — я верю только в их отношения». Именно такова здесь главная мысль: установить соотношения между нашими «высшими социальными функциями» (наукой, религией, искусством, идеологией, политикой) и наши-

Наши читательницы простят нам, если мы на минуту отвлечемся, чтобы попытаться разгадать смысл загадочных слов архидьякона: «Вот это убьет то. Книга убьет здание».

На наш взгляд, эта мысль была двойственной. Раньше всего это была мысль священника. Это был страх духовного лица перед новой силой — книгопечатанием. Это был ужас и изумление служителя алтаря перед излучающим свет печатным станком Гуттенберга. Церковная кафедра и манускрипт, изустное слово и слово рукописное били тревогу в смятении перед словом печатным — так переполошился бы воробей при виде ангела Легиона, разворачивающего перед ним свои шесть миллионов крыльев. То был вопль пророка, который уже слышит, как шумит и бурлит освобождающееся человечество, который уже проводит то время, когда разум пошатнет веру, свободная мысль свергнет с пьедестала религию, когда мир стряхнет иго Рима. То было предвидение философа, который зрит, как человеческая мысль, ставшая летучей при помощи печати, уносится, подобно пару, из-под стеклянного колпака теократии. То был страх воина, следящего за медным тараном и возвещающего: «Башня рухнет». Это означало, что новая сила сменит старую силу: иными словами, — печатный станок убьет Церковь.

Но за этой первой, несомненно более простой мыслью скрывалась, как необходимое ее следствие, другая мысль, более новая, менее очевидная, легче опровержимая и тоже философская. Мысль не только священнослужителя, но ученого и художника. В ней выражалось предчувствие того, что человеческое мышление, изменив форму, изменит со временем и средства ее выражения: что господствующая идея каждого поколения будет начертана уже иным способом, на ином материале; что столь долговечная и прочная каменная книга уступит место еще более долговечной и прочной книге — бумажной. В этом заключался второй смысл неопределенного

выражения архидьякона. Это означало, что одно искусство будет вытеснено другим; иными словами, — книгопечатание убьет зодчество.

(Виктор Гюго, «Вот это убьет то», *Собор Парижской Богоматери*, 1831<sup>1)</sup>)

ми способами запоминания, представления и смещения. Исследовать точки пересечения между «благородным» и «тривиальным» — что зачастую означает: согласовать макрофеномен с микрофеноменом, даже если придется опрокинуть шкалу (малые причины, большие следствия). У носа Клеопатры много изгибов. Поэтому мы можем переходить с одного берега на другой — от эстампа в XV в. к возникновению основанных на наблюдении естественных наук (ботаники, минералогии и т. д.). От печатной кассы в типографских мастерских в XVI в. (где пунсоновые граверы вытесняют лигатуры между буквами, чтобы нормализовать и ускорить набор) к процедурам и духу анализа как к новой норме разума. От форзаца в печатном тексте к рождению автора, как субъекта единственной атрибуции уникального произведения. От типографского изобретения знака «тире» в XVIII в., позволившего перейти к прямой речи без иерархизации собеседников и к расцвету романного жанра. От электрического телеграфа в XIX в. к возникновению газетной рубрики «происшествия», или же от появления беспроводного телеграфа к большому репортажу как самостоятельному литературному жанру. От наблюдающего спутника, передающего образ шарика, изолированного в Солнечной системе, Земли, к распространению экологического движения (или перехода от эзотерической науки к вульгаризированной идеологии).

Чтобы выйти за рамки точечной иллюстрации, скажем обобщенное, что речь идет об оценке воздействия новой техники на человеческие общества. Это воздействие не является простым и односторонним действием. Всякий раз оно дает повод для некоей сделки (это *договаривается* с тем). Значит, мы предпочитаем говорить о (сложных) *взаимодействиях*. Вот почему поле наших исследований имеет два входа: через символические последствия техники (*bottom-up*<sup>2</sup>) либо через технические условия символического (*top-down*<sup>3</sup>). Это означает, что мы прослеживаем эффекты, связанные с новыми процедурами — с письменностью, с книгопечатанием, с телевидением, а теперь и с цифровыми технологиями. Многие антропологи работали здесь, продвигаясь «снизу вверх». Т. е. они разыскивают социально-техническую обусловленность некоего культурного или духовного явления. Мы же будем двигаться «сверху вниз».

Когда Бальзак — в начале «Утраченных иллюзий» — прослеживает путь, ведущий от древесной массы к демократии мнения (когда бумагу делали из тряпки, не было ни школьных учебников, ни журналов с большим тиражом), или же когда историк Лефевр де Нуэтт связывает замену шейного хомута на спинным хомутом у тягловой лошади с устранением крепостничества в средневековой Европе (меньше потребностей в рабочей силе крепостных крестьян в полях, начиная с XI в.), то они действуют *bottom-up*. Медиологи проиллюстрировали и систематизировали подобное явление, выбрав объектом «велосипед между культурой и техникой» (Катрин Берто-Лавенир). Если пристально рассмотреть этот забавный, без конца обновляемый объект, то в нем откроется

не только «сложность простого» (Моника Сикар) — почему велосипед был изобретен после, а не до железной дороги? Кроме того, он оказался причастным к подъему феминизма, кинетического искусства, туризма. Велосипед индивидуализировал демократические завоевания. Как сказал Пьер Сансо, он способствовал рождению нового «географического патриотизма» (велогонка Тур де Франс). Каким же образом столь скромная машина, эта маленькая королева, смогла послужить проявителем новых социальных черт и политическим ускорителем?<sup>4</sup>

Возьмем другой аналогичный случай: рассмотрим «свойства бумаги». Бумага ускользает от взгляда. Она повсюду. «Как Бог в дни Творения или автор в романе Флобера»... Эта сразу и диффузная, и невидимая материя — «сама материя памятников, на которых зиждутся язык и нация» (Пьер-Марк де Бьязи). В век кремния может показаться, что ее эпоха завершилась. Но бумага воскресает еще более прекрасной. Это не только вспомогательное средство, но и «основной интерфейс между могуществом, быстроедействием и почти бесконечной памятью информатических машин и человеческой хрупкостью, медлительностью и забывчивостью (Марк Гийом). Бумага-память, бумага-вера, бумага-власть, бумага-искусство: как столь «безразличный» материал может выполнять столь определяющие функции культурно-политического опосредования<sup>5</sup>?

Теперь рискнем проиллюстрировать обратный путь *top-down*, с Богом-Отцом (исследования среды и медиа не должны препятствовать нам думать о крайностях, согласно совету Макиавелли). Весьма, и даже чрезмерно схематично перескажем здесь более глубокие размышления (выйдут в одном из

ближайших номеров *Cahiers de sémiologie*). В экономике духовного наш единственный и личный Бог представляет собой «находку», и никто не может минимизировать ни ее встречаемость, ни ее благородство. Находка оказалась запоздалой. Создатель неба и Земли является всего лишь некоей отправной точкой, и мы не можем усматривать в нем наименьший общий знаменатель религиозных верований человечества. Вечное — очень молодая тема, ей едва ли больше трех тысяч лет. Всевышний продолжает царить на вершине символических верований, и подступы к нему зарезервированы за теологом, метафизиком, историком религий. Медиолог может добавить свое слово к этим значительным приобретениям, отнюдь не ставя под сомнение их значимость. И как же? Обратившись к логистике монотеизма, к тому внезапному отрыву, каким было «рождение Бога».

«Еврейскому чуду» (ведь говорят о греческом чуде) мы изумляемся, когда верим в сверхъестественное. Мы поражаемся ему, когда пользуемся лишь разумом, старясь понять это чудо. Конечно, мы можем отказаться подходить к нему с позиций разума и подумать, что Бесконечное, которое превосходит разумение, Бог, раскрывается посредством божественного вмешательства в ход истории, в конечную ее точку — такова тавтология верующего. Но еще следовало бы объяснить, почему сверхъестественное являет себя именно в эту эпоху (VIII в. до н. э.), в годы изобретения письменности, а не, скажем, в начале неолита; и почему в этой зоне (месопотамский бассейн и пустыни Ближнего Востока), а не на берегах Янцзы или Большого Африканского рифта<sup>6</sup>. Разумеется, поскольку Абсолют по опре-

делению соотносится лишь с самим собой, необходимо задаться вопросом о сопутствующих вариациях Откровения, внешних для него самого, о чем-то одиозно профаническом. Тем более что речь идет о Боге Моисея, не имеющем образа и, по существу, внешнем по отношению к чувственному миру — стало быть, о противоположности по отношению к языческому идолу. Но ведь таково пари рационалистического удивления: ничто не должно и не может избегать описания, даже Неопишемое. Медиолог добавляет: «Ничто не является ни непосредственным, ни данным. Все есть *ставшее*». Иисус не был Христом ни по природе, ни непосредственно. Сын Божий, он *стал* таковым. Через какие опосредования? Христианское движение I–II вв. не было религией. Оно *ею стало* (слово «christianismos» было изобретено Игнатием Антиохийским). Бог не упал с неба на Синай *motu proprio, ex nihilo*<sup>7</sup>, просто так. Боги, неуклюжие пластические фигуры, высеченные в скальном грунте, образы, приросшие к земле в форме статуй, алтарей или акрополей, противящиеся остановке в одном устойчивом месте и стремящиеся уйти, *стали* единственной Личностью, доступной отовсюду, универсальным «одним-повсеместно», другом высланного и неожиданной находкой для кочевника. Благодаря каким опосредованиям?

Благодаря невероятной встрече (вот где «чудо») мнемотехнической процедуры, консонантного письма и способа перемещения, великого пастушеского странствования в пустынной среде. Союз клинописи и верблюдообразных — резкий занос в сторону, неожиданный шаг в сторону — породил эту высшую абстракцию, Вечное.

Однако же письменность связана с земледелием,

а, стало быть, с переходом к оседлости. Она появляется в первых империях, использовавших силу воды и располагавшихся в плодородных долинах (Евфрат, Тигр, Нил), благоприятных для ирригации. Ее используют для выделения сторон света (разделить территорию на участки) и для календарных целей (ориентироваться во времени). Это процесс регистрации товаров, ставший необходимым при сборе дани, регистрации паводков, исчислении запасов зерна, перечислении добычи — а также при астрономическом прогнозировании и генеалогических рассказах. Графическая символизация, соответствующая потребности приведения в порядок и ранжирования (чрезмерного количества вещей), становится частью техник уплотнения. Ее носители поначалу были тяжелыми и объемистыми: это кирпичи и глиняные таблички. Появление носителя растительного происхождения позволяет уменьшить громоздкость этих резервуаров следов. Союз папируса и алфавита способствует растущей миниатюризации мира с помощью *аббревиации*. Единственный личный Бог — о котором мы заметим, что он всегда был чужд устным цивилизациям, — вписывается в эту динамику облегчения чувственного. Будем видеть здесь оптимальное пересечение между двумя противоположными движениями смысла, одно из которых — символическое и символизирующее, а другое — материальное. Повсюду действующая тенденция к миниатюризации и к облечению, касающаяся объекта как знака. Отсюда извлекли выгоду и духовная инженерия, и изобретение денег (когда мы переходим от *pecus*, скота, к металлу, затем к монетам<sup>8</sup>, к бумажным деньгам, к игре с письменностью и т. д.), что в период большой длительности демонстриру-



ет экономия религиозного жертвоприношения (человек заменен живым животным, это последнее — своей статуей, статуя — изображением, уменьшенная модель — знаком и т. д.) или тотемное вкушение (плоть и кровь Христовы, уменьшенные до ломтика бездрожжевого хлеба и глотка вина). Графический Бог, дематериализованный в алфавитных знаках, представляет собой великолепную аббревиатуру Пантеона, подвижную и движущую абстракцию, способную занять землю посредством утраты объема: будучи трижды ничем (сводясь к папирусному свитку в деревянном ларце, к Ковчегу Завета, переносимому на спине осла и верблюда), этот Бог смог стать всем — доведя до кульминации правило «большого через меньшее».

Превосходно, и, прежде всего — удобно. Графическая гиперредукция разрешает задачу квадратуры круга, состоящую в том, чтобы избежать идолопоклонства, не впадая в небрежение (факт не прочтения, не собирания, не связывания, противостоящий религии<sup>9</sup>). Или же покинуть места своей памяти, не теряя самой памяти... Письменность сжимает, чтобы накапливать, и конденсирует, чтобы сохранять. Когда мы хотим сохранить некое тело, из него нужно выжать воду. Осушение чувственного (значащая абстракция) сводит его к умопостигаемому — которое может вставляться, сохраняться и перемещаться. Бог Авраама относится к сублимированному божественному, упакованному в закрытые рулоны и хранящемуся в ларце. Компактная теотека (аналогичная библиотеке или кинотеке), медиатизированная заветом, или *diathêkè*, (от греч. *thêkè*, вместилище или ларец). Это не просто ради удобного багажного отделения, но и для обретения уверенности в самоиден-

тичности. Ибо портативный Бог может перемещаться, не позволяя верующим сбиваться с пути; или мигрировать, но не теряться. Древность представляла собой мир, где каждый, кого изгоняли из Града, терял опекавших его богов, расставаясь с собственной идентичностью и безопасностью. Дело в том, что эти боги, будучи гражданами нации или империи, происходили из почвы. Они запечатлевали свыше некую принадлежность и освящали свою территорию. Расставаться со своими богами-ларами, могилами и урнами означало разрывать связи филиации и защиты. Вместе с изобретением переносного ковчега еврейский народ нашел средство носить свою память повсюду, куда бы он ни шел — Завет не следовало нарушать. Евреи могли отправиться в изгнание, оставаясь сплоченными (объединительная функция Единого Бога), потому что они уносят с собой свою «территорию», материализованную в «мертвом» тексте, который, однако, чтение ритуально оживляет на собраниях и в проповедях. Слияние культа и чтения, осуществляемое посредством записи откровенного Слова, позволяет преодолеть роковое проклятие Исхода и изгнания (от которого умирает Эдип), объединяя две вещи, до сих пор бывшие несовместимыми: подвижность и ориентацию в пространстве. Вынужденная децентрация уже не является бедствием, когда Центр — некий Текст. В пространстве можно плавать с его хранителем, не теряясь во времени. Или, скорее, организующая референция переносится из пространства во время, когда за нее отвечает уже не география, но история. Теперь сакральностью наделяется не место происхождения, а История. Таков значительный прогресс, который предполагает, что мы можем расположить по всей длине папи-

руса то, что до сих пор было привязано к земле в вертикальном измерении, и линеаризовать разбросанную густоту. Запись чернилами (encrage), гарантия негарантируемого, избавляет от укорененности (apcraze), заменяя периметр жесткой суши податливым свитком со знаками.

И это не всё. Письменность, это высушивающее гомеопатическое средство, готовящее триумф сухости над сухостью, преобразует момент бесчестья в источник благодати, а оторванность — в находки. Ведь именно на Синае была явлена евреям хартия монотеизма. То, что прежде было пустыней, стигматом наказания после изгнания из Эдема, становится благодаря письменности пространством призвания. Еврейский народ вновь обретает своего Бога при каждом изгнании в пустыню — этого Бога, который всегда предпочитает пастуха Авеля его брату Каину, земледельцу. Ведь Моисей, Давид и сам Спаситель имеют пастушеское обличье. Но еврейский народ теряет этого Бога всякий раз, как останавливается в каком-либо городе, чтобы «прилепиться» к нему: ведь в городе находится культовая утварь идолопоклонников, с *неподвижным* алтарем и статуей. Даже если и существует некая диалектическая константа между кочевниками и оседлыми жителями, то человек Божий, человек обетования и союза, является пустынножителем, и христианские атлеты пустыни, как восточные, так и западные, начиная с IV в., непрерывно уходят в пустыню, — что впоследствии будут делать, позаимствовав этот обычай, цистерцианцы и картезианцы. Кто «водворяется» в миру, утрачивает свою харизму. Отсюда мораль бродячей жизни, противопоставленной укоренению, которая драматизирует паломничество, великую Пустыню, *восхожде-*

ние в Пустыню<sup>10</sup>, Крестовые походы. *Homo viator*<sup>11</sup>... «Бог есть путь жизни» — бесконечный. Он не находится в конце пути, он — сам поход. «Господь — мой горизонт, он никогда не бывает моей добычей», — сказал один монах-доминиканец. А Гюйсманс озаглавил повествование о своем религиозном обращении «В пути». Циркуляция способствует спиритуализации, а духовность — децентрализации. И «пальма пустыни» над тремя гвоздями креста и верблюдами увековечивает изначальное отправление в путь, которое делает полное посредством пустого — большее с помощью меньшего. Что разделяет — само и компенсирует. «Авраам непрерывно менял сандалии» — и каждый переезд есть возвращение к истокам при восстановлении сил. Кто сводит монотеизм к «возвышенной находке человеческого духа», тот обращает мало внимания на тело — на воистину первый медиум, медиум крещения — и на ноги, даже на ступни. Бедный дух следует за ними как может, он вынужден приспособливаться. С грехом пополам он придумывает себе веру, «адаптивную реакцию на среду». Обезвоженное и «выдвижное» сакральное стало реакцией, найденной полукочевым племенем караванщиков-грабителей, растивших мелкий рогатый скот, чтобы приспособиться к враждебной среде — согласно закону наименьшего усилия, который главенствует в технических изобретениях, — материализованному здесь в минимально громоздких алфавитных знаках; вот где подлинный знак избранности. Максим Родинсон высказал удачную идею «соблюдать культ Аллаха посредством ног Магомета»<sup>12</sup>. С тем большим основанием это можно сделать с первым по званию, Яхве. Однако то же самое не получилось бы с каменным или деревянным языческим

идолом, которого идолопоклонники построили своими руками, а Авраам поправил собственными ногами. Таково отличие абсолютистских пустынь от наших фетишистских городов Запада. «Человек начинается благодаря его ногам», — сказал и установил палеонтолог<sup>13</sup>. И Бог тоже — в добавление к этому мог бы сказать медиолог, — потому что противоестественный союз знаков и песка не позволяет сдвинуться с места (весьма скромная генеалогия Бога несколько не мешает его метафизическому величию). Правда, пустынный образ жизни потерпит крах, но ведь из пустыни вышла иерусалимская половина нашей культуры — к счастью, афинская половина позволяет рационально вернуться к мифам, вышедшим из Иерусалима<sup>14</sup>. Слезливый идеализм приносит реальное в жертву идее, когда — вместе с Ламартином — хочет убедить нас, что «человек — это падший бог, который помнит о небесах». Мы останемся ближе к историческим данным, если выскажем противоположное: Бог — это кочевник, вознесшийся на Небо, который помнит о своих песках.

Если бросить Абсолют в кратер опосредований, то он не будет обречен на расплавление. Если можно так выразиться, верующий может обнаружить его у выхода целым и невредимым. Впрочем, взаимодействие может повториться по направлению вниз, в типологии различных лиц, которые обрел этот единственный Бог в нашей цивилизации, в зависимости от обществ, которые раз за разом создавали своего основного медиатора. Всемогущий Бог (Бог Воинств, Царь царей, Всевышний) представляет собой хорошую «адаптивную реакцию» на значительный дефицит могущества: чем мы слабее (будучи изгоняемым и преследуемым меньшинством), тем больше у нас

потребность заключить союз с сильным. Бог справедливости и утешения, несомненно, отсылает к обретшим безопасность общинам верующих, которым обеспечен прожиточный минимум и у которых уже нет потребности мщения или реванша. Что же касается Бога интимности и нежности, каким можно назвать сегодня нашего Бога на Западе, то это, конечно же, роскошь хорошо защищенных оседлых обитателей.

*Top-down*: встретившись с «культурной» возвышенностью библейского Бога, проявляющей слишком большую тенденцию «парить» в высотах, мы подчеркнем «низко» материальные факторы. *Bottom-up*: взяв такую техническую «штуку», как велосипед (а ведь проявляется слишком большая склонность понижать его до уровня второстепенных принадлежностей), мы направим прожектор на его эстетические и политические амплификации. Обратно направленные размышления — обдуманная тактика для того, чтобы установить справедливое равновесие между стратегическими факторами. И чтобы вылечить дисциплинарный артрит, заставив работать междисциплинарные суставы. Эта гимнастика рекомендуется каждому, кто хочет справиться как с культуралистским (культура руководит одна), так и с техницистским суеверием (противоположное). Именно в этом духе мы попытались (в «Жизни и смерти образа») пройти через *материальную историю* *изготовленных образов* (наскальная гравюра, фреска, живопись, фотография и т. д.) с помощью *религиозной истории* *внутреннего взгляда*. Этот последний конфигурирует культурную среду, которая внутренним способом дозирует и фильтрует предложения, поступающие из внешней технической среды. (На-

помним, что в расцвет видеосферы исламизм представляет собой единственное современное массовое движение, которое обходится без повествований в картинках — что весьма удивило бы Ленина и Муссолини...).

То, что градуирование по оси абсцисс (тривиальное и возвышенное) имеет тенденцию драматизировать в терминах ценностей, может также отложиться по оси ординат в терминах поля, посредством простой оптической развертки. Мы будем различать несколько степеней раствора циркуля, сообразно разрыву, разделяющему области реальности, которые вторжение медиа на разные территории стремится соотносить. Чем более открытым будет угол, тем больше риск (неверифицируемое), но и тем ощутимее результат (и сильнее удовольствие от познания).

Первая дуга наблюдения касается *внутрисистемной интеракции*. Это относится к «сжатым», или специализированным исследованиям. Какое воздействие вчера, в письменной культуре, оказал типографский способ производства на организацию, атрибуцию и индексирование текстов? Какое воздействие оказывает сегодня e-mail на эпистолярное искусство? Какое воздействие в мире изготавливаемых образов оказывает возникновение фотогравюры на литографию, фотопортрета — на портрет художественный, а в самом разделе фотографии компьютерный портрет — на традицию серебрения? Верно ли, что фотокопия убивает книгу (гуманитарных наук)? Можно ли сказать, что цифровые технологии убивают грампластинки, которые уже видоизменили исполнительский стиль (Глен Гульд<sup>15</sup>)? Исследования этого первого рода (которые требуют большой

тонкости) многочисленны и уже хорошо известны, Укажем на весьма примечательную работу Доминика Пайни, директора Французской кинотеки, где исследованы поразительные воздействия обратной связи видеомагнитофона на любовь к кино и историю кино<sup>16</sup>.

Мы можем продолжить раздвигать ножки циркуля, чтобы рассмотреть *межсистемную интеракцию* (между различными, но соседними мирами). Это упражнение, если можно так выразиться, ввел в моду Вальтер Бенъямин в «Произведении искусства в эпоху его технической воспроизводимости» (в эпоху, когда фотография обладала весьма незначительным эстетическим статусом): «Исследователи изощрялись в пустых тонкостях, пытаясь определить, искусство ли фотография или нет, не задавшись предварительно вопросом, не перевернуло ли само изобретение фотографии основополагающий характер искусства»<sup>17</sup>. И тогда одна ножка циркуля будет указывать на химическую «случайность», на ремесленное изобретение, тогда как другая — на вневременную «сущность», на Прекрасное. Если перейти на другую территорию, то телевидение относится к другой технической системе, нежели велосипед, но катодная трубка имеет весьма примечательные (хорошие и дурные) совпадения с велосипедным спортом. Прямая трансляция видеоизменила этику, стимулировала применение допинга и перевернула протекание Тур де Франс, велосипедной гонки, задуманной и организованной в начале XX в., в разгар графосферы, чтобы послужить допингом для продажи газет (прессе, сообщающей о событиях с запозданием, нужны не столько подвиги, сколько повествования). Можно отметить модификации, внесенные



видеосферой в другие, и весьма почтенные правила игры (будь то регби или коррида), в момент, когда императив видимости преобразует иерархию видов спорта (поставив на вершину теннис и футбол). При разрыве подобного же типа мы присутствуем, рассматривая юридические воздействия Интернета на авторское право, возникшее в эпоху книгопечатания. Или в случае с историками национального достояния, которые рассматривают, что именно железные дороги изменили в начале XX в. в концепции и отборе «исторических памятников». Вчера сюда можно было добавить и автомобиль, а сегодня можно гражданскую авиацию (без каковой идея наследия человечества оставалась бы идеей, не будучи ни политикой, ни экономикой).

И затем — существует *внутрисистемная интеракция*, при максимальном переходе из одной системы в другую. С этой отвагой, к которой чрезвычайно стремятся медиологи, сопряжен (дорогой автору этих строк) тезис о взаимозависимости социалистических утопий с древними ремеслами Книги, благодаря аристократии печатного станка, которую образовывал «рабочий авангард» — состоявший, главным образом, из архивистов (Бабёф), типографских корректоров (Прудон, Пабло Иглесиас<sup>18</sup>), цеховых мастеров и издателей (как Пьер Леру, изобретатель слова «социализм», а также пианотипа), журналистов (Жорес, Ленин) и библиотекарей (Люсьен Эрр<sup>19</sup>, Мао Цзэдун). Сопряжена с этим тезисом и идея о том, что в XX в. существует взаимосвязь между проекцией образов и национальными проектами (Жан-Мишель Фродон, «Национальная проекция»). И идея о том, что популярные способы фигурации (живопись, фотография, кино, телевидение) постепенно обесцени-

ли воинский героизм на Западе (Элен Пюизё, «Фигуры войны»). Да и как — в предельном случае — не связать исчезновение «великих повествований» (мифов и идеологий) с миниатюризацией залов кинопроекции (мультиплекс)?

Эти разнообразные разрывы или соединения «в шип» не исключают друг друга. Некоторые исследования находят удовольствие в том, чтобы нанизывать их друг на друга — так, историография может стать эссеистической и, в конечном итоге, поэтической. Мечтательная медиология не путает себя с локальными и позитивными исследованиями; она подпитывается ими.

Возьмем сегодняшнюю цифровую революцию. Продолжающееся обобщение цифровой обработки образов и звуков, сочетающееся с новой техникой сжатия сигнала, у нас на глазах видоизменяет экономию аудиовизуального (производство, распространение и перенос). Оцифровка сети земного вещания, подготавливая первую фазу цифровых букетов, передаваемых через спутники, расширит предложение образов, увеличит конкуренцию, демассифицирует передачу, десинхронизирует центральные часы: произойдет переход от всеобщего и однонаправленного телевидения потока к тематическому телевидению с запасом, интерактивному и способному оказывать различные услуги (а уже не просто показывать программы). Уровень 1: За пределами аудиовизуального мы можем предвидеть (или бояться) растущей вавилонизации социального пространства (из-за расколов коммунитарного типа) с разделением социальных рамок памяти (время имеет различные скорости). Уровень 2: И вероятно, при использовании сетей это будет утверждением нового инди-

видуализма (мондиализированного эго). Уровень 3: Эти три столпа интеракции не противоречат друг другу<sup>20</sup>.

Отметим еще — в случае с правом — как физические свойства того или иного медиума видоизменяют типы нашего социального и ментального поведения. Так, цифровое кодирование, в отличие от прежнего письменного кодирования, по существу, статичного (фиксированного на устойчивой поверхности), может использовать как динамические (электрические), так и статические носители (например, цифровое видео, записанное на дискету и преобразованное в поток данных на моем экране). Стало быть, оцифровка юридических текстов — это приумножение возможностей их афиширования и консультирования с помощью компьютера, но это еще и уменьшение авторитета права. Дематериализация носителя, стираемого и вновь вписываемого, ускорит «телепроцедуры» (юридические акты, совершённые дистанционно), но из-за «киберкода» исчезнет величественность (исчезнет вместе с обильным размножением текстов и норм, которому уже способствовал бумажный носитель). Бог Ветхого Завета избрал каменные скрижали, чтобы вписать туда свои Заповеди. А Кодекс Хаммурапи в Вавилоне был высечен на диорите. Эти фиксированные и вечные носители делают договор нестираемым. Когда перестали существовать теократии, писаное право (на пергаменте и бумаге) оставалось физически изолированным от собственных истоков и обстоятельств своего высказывания. Итак, оно существовало само по себе, независимо от того, кто его произнес, кто принял решение по его поводу или проголосовал за него. Кодекс был чем-то постоянным, но не событием. Обездви-

женность, объективность, автономия суть факторы трансцендентности (от авторитета зависят многие из попыток скрыть обнародование [édiction] как событие посредством эдикта как состояния). На интерактивном электронном носителе текст становится податливым и гибким, обеспечивающим немедленный доступ, исправляемым построчно. Мы перешли от Закона (с большой буквы) к «законодательным данным».

Стоит нам рассмотреть эти разрывы в поведении (с малым фокусным расстоянием) или эволюционные разрывы (с большим фокусным расстоянием), как пружину исследований будут образовывать хорошо проведенные сравнения (как происходит в случае с науками наблюдения). Речь может идти о том, чтобы осознанно, бесстрашно и тщательно ввести сравнительный метод в «науки о культуре» после того, как Дарвин — да позволят нам сказать это — в свое время ввел его в науки о поведении. Чтобы обрисовать сопутствующие вариации этого метода, медиолог должен пройти сквозь различные среды и эпохи (как натуралист, плававший по Тихому океану, сопоставлял флору и фауну, варьиовавшую в зависимости от широт<sup>21</sup>). «В искусстве — писал Мальро, — ощущать означает сравнивать». В медиологии тоже (определенный эстетический вкус не повредит). Отсюда сравнительная таблица, которая делает проблему понятнее. Курсивом выделены эмпирические преломления известных идеальностей, институтов, чувств, предрасположений, каковые предполагаются постоянными, но зависят от машин, сетей и носителей. Как технические вариации среды влияют на культурные или антропологические инварианты? Милан Кундера ста-

вит типично медиологический вопрос в «Бессмертии», где воображает публичную встречу Наполеона и Гёте в Эрфурте 2 октября 1808 г. в сравнении с поведением в аналогичных случаях Миттерана, Жискар д'Эстена и Картера. «Этот образ пробуждает во мне такой вопрос: сменился ли характер бессмертия в эпоху фотоаппаратов? Без колебаний отвечаю: нет. Ведь фотографический объектив перед тем, как быть изобретенным, уже присутствовал в виде собственной не материализованной сущности. Когда на людей еще не были направлены никакие реальные объективы, люди уже вели себя так, как будто их фотографируют. Вокруг Гёте никогда не сбегались толпы фотографов, но пробегали тени фотографий, спроецированных на него из глубины будущего»<sup>22</sup>. В высшей степени уместен вопрос: актуализирует ли технический метод какую-то предсуществующую виртуальность в человеческом бытии (как упование на то, чтобы стать незабываемым и посмертно жить в глазах и мыслях других), или же он видоизменяет не только технические условия, но и саму природу? Кундера выдвигает гипотезу, что нет, мы — что да. Или, точнее говоря, цель может быть в том, чтобы воспользоваться изменчивыми «инновациями»: в данном случае моментальная фотография заменяет позирование перед художником — и воспользоваться инновациями надо как микроскопом, чтобы рассмотреть изнутри природу этого упования на вечность, предполагаемого всегда неизменным. «Естественное» определяется именно через видоизменение «приемов». И история техник (здесь — техники репрезентации) актуализирует *in vivo* в масштабе 1:1 воображаемые вариации, о которых феноменолог вопрошает собственный дух. Ана-

	<i>Памятник-след</i>	<i>Памятник-сообщение</i>	<i>Памятник-форма</i>
<i>Регистр</i>	<i>Память (традиция и наследие)</i>	<i>История (миф и проект)</i>	<i>Пространство (градостроительство и перспектива)</i>
<i>Имеет ценность...</i>	<i>...культуры (воспрепятствовать обездоленности)</i>	<i>...культы (утвердить определенную сакральность)</i>	<i>...экспозиции (представить произведение)</i>
<i>«Место памяти» понимается как...</i>	<i>место идентичности (этнологической и генеалогической)</i>	<i>место верности (религиозной или гражданской)</i>	<i>место власти (политической, экономической или медийной)</i>
<i>Первая функция</i>	<i>свидетельствовать (это было)</i>	<i>передавать (это должно остаться)</i>	<i>вести коммуникацию (в данный момент)</i>
<i>Рамки предпочтения</i>	<i>областничество (жирондистское) память диалектов</i>	<i>нация (якобинская или монархическая) осевая память</i>	<i>сверхнациональность (глобальная деревня) космополитическая память</i>
<i>Направление времени</i>	<i>ретроактивное настоящее → будущее</i>	<i>перспективное прошлое → будущее</i>	<i>современное настоящее → будущее</i>
<i>Рассматривается...</i>	<i>в прошедшем несовершенном времени изъявительного наклонения (когда-то было)</i>	<i>в желательном или повелительном наклонении (вспомни-ка!)</i>	<i>в настоящем времени изъявительного наклонения (вот как я!)</i>
<i>Рекомендованное приращение</i>	<i>визит (уделять внимание)</i>	<i>церемония (сообщаться с мыслями)</i>	<i>мгновенный взгляд (не задерживаясь)</i>

Пример: в центре Парижа Мост искусств будет памятником-следом, пирамида в Лувре — памятником-формой, а арка Карузель<sup>23</sup> — памятником-сообщением.

	<i>Памятник-след</i>	<i>Памятник-сообщение</i>	<i>Памятник-форма</i>
<i>Кульминация в эмблеме...</i>	<i>...эпохи (Отельдю Нор = авангардное кино)</i>	<i>...постоянства (Триумфальная арка = Нация)</i>	<i>...исключительности (Эйфелева башня = Париж)</i>
<i>Среда-носитель</i>	<i>гражданское общество</i>	<i>официальность</i>	<i>предприниматели</i>
<i>Объект должен быть</i>	<i>составляющим (физиономию)</i>	<i>демонстрирующим (мораль)</i>	<i>превосходным (показывать ноу-хау)</i>
<i>Функционирует...</i>	<i>для знания (надо познавать)</i>	<i>для веры (надо иметь веру)</i>	<i>для видения (надо рассматривать)</i>
<i>Историческая парадигма...</i>	<i>модерн (романтизм)</i>	<i>Рим (колонна Траяна)</i>	<i>Египет (пирамида)</i>
<i>Как добратся</i>	<i>на автомобиле (туристском)</i>	<i>организованно (сформировав делегацию)</i>	<i>прогуливаясь (одиоко)</i>
<i>Статус знака (изначальный)</i>	<i>«индексный», присутствие (часть самой вещи)</i>	<i>«исконический», репрезентация (фигура или аллегория)</i>	<i>«символический», произвольность (архитектурный код)</i>
<i>Что ему необходимо</i>	<i>производить истинное (должная информация)</i>	<i>производить смысл (справедливый тон)</i>	<i>производить впечатление (жест и шик)</i>
<i>Главный ответственный</i>	<i>чиновник (классифицирующий или вписывающий)</i>	<i>политик (отдающий распоряжения)</i>	<i>архитектор (побеждающий на конкурсе)</i>
<i>Характеристика признания</i>	<i>«волнующе»</i>	<i>«воспитывает»</i>	<i>«впечатляюще»</i>
<i>Подвергается риску впасть в</i>	<i>банальность</i>	<i>пафос</i>	<i>чрезмерность</i>

	<i>Памятник-след</i>	<i>Памятник-сообщение</i>	<i>Памятник-форма</i>
<i>Режим собственности</i>	<i>публичная/частная = privata edificia [частные здания]</i>	<i>публичная = publica edificia [публичные здания]</i>	<i>частная/публичная = publica opera [публичные произведения]</i>
<i>Репликация или подделка</i>	<i>разрешена (шаблон)</i>	<i>терпима (поддержка ритуала)</i>	<i>незаконна (авторское право)</i>
<i>Подлежит суждению</i>	<i>исторической экспертизы (подлинно ли?)</i>	<i>этического приличия (необходимо ли?)</i>	<i>эстетического вкуса (приятно ли, удовлетворительно ли?)</i>
<i>Двойное ли применение здания?</i>	<i>да (символическое/утилитарное)</i>	<i>нет (только символическое)</i>	<i>да (утилитарное/символическое)</i>
<i>«Исторический» характер</i>	<i>случайный (для использования задним числом)</i>	<i>запланированный (начиная с высказывания и по проекту)</i>	<i>как получится (неопределенная длительность)</i>
<i>Отличительный признак</i>	<i>вышедшее из моды (здание как документ)</i>	<i>эпиграфика (здание как текст)</i>	<i>подпись (здание как произведение)</i>
<i>Если бы все походило на него, город был бы как</i>	<i>бабушкин амбар или банк данных</i>	<i>классная комната или место культа</i>	<i>декорация или суперфабрика</i>
<i>Принадлежность творца</i>	<i>между ремесленником и этнографом</i>	<i>между священником и профессором</i>	<i>между инженером и скульптором</i>
<i>Туристическое посещение</i>	<i>настоятельно необходимое (экскурсия с гидом)</i>	<i>неблагочестивое (или неудачное)</i>	<i>желательное (достопримечательность)</i>



логично тому, как ученики Гуссерля, чтобы обрести интуицию той или иной сущности, подвергают тот или иной эмпирический объект череде воображаемых модификаций (чтобы вывести из них инвариант, превращающий этот объект в то, чем он является), мы можем подвергнуть разные типы культурного поведения испытанию последовательностью технических сред. В таком случае инструментальные модуляции некоей «природной черты», способствующей моделизации, могут играть в наших анализах роль, отводимую феноменологией «эйдетическим вариациям» для горизонтов сознания.

В связи с этим посмотрим, как варьируют наши памятники, раз уж мы начали с вводящей в тему мнемотехники (гл. I). Импульсы, побуждающие воздвигать памятники — «инстинкт», зовущий нас «увековечивать памятные вещи» сооружениями из бронзы, чугуна, свинца или камня — «эти публичные знаки, предназначенные для того, чтобы передавать потомству память о какой-либо выдающейся личности или о каком-либо прославленном деянии» (Словарь Французской Академии, 1814) — не оставил медиасферы незатронутыми. Что же видеосфера с ее легкими и манипулируемыми носителями памяти, хотя и более неопределенными и нестойкими, чем стройматериалы и скульптурные материалы, изменила в наших практиках постройки памятников (возведение и классификация)? Начало ответа было положено в «Беседах о наследии» (*Entretiens du patrimoine*), посвященных «Злоупотреблению памятниками» (*Abus monumental*) и изданных Министерством культуры<sup>24</sup>. Краткий итог можно подвести так: видеосфера произвела в идеологии памятников изменение в способах переноса, озаменованное упадком сферы

значений и раздуванием объемов (нарушения масштаба). Имеется в виду отказ от значения камня как сигнальной системы сообщения ради значения формы и рождение новой категории памятников, квази-фотографического свидетельства о прошлом, памятника-следа, залога подлинности. Подмена памятника документом одновременно и принимается, и продолжается инфляцией наследия (общества увековечивания памяти). Отсюда проистекает новое распределение арсеналов памяти, в масштабе как наций, так и человечества (ЮНЕСКО), чему мы можем воздать должное лишь через сравнение, посредством особой типологии (см. таблицу). Ведь справедливо, что установление идентичности состоит в задействовании различий.

Теперь нам стало понятнее, что самих по себе дисциплин как объектов не существует, но обширное разнообразие феноменов можно изучать в разных дисциплинах. Конечно, не все феномены. Медиолога интересуют не столько качества, сколько диспозитивы, способные видоизменять восприятие, познание и передвижение, т. е. наши практики обхождения с пространством и временем. Все, что служит переносу, кодированию или складированию информации, но не всякая система тел, преобразующая одну работу в другую (это имеет чисто механический характер). Аллегорически скажем: пишущая, но не швейная машинка.

Возникает соблазн, перефразируя изречение Леви-Стросса об этнологии, сказать, что медиология есть «не столько конкретный источник познания, сколько оригинальный способ познания».

## ВОПРОС ДЕТЕРМИНИЗМА: МЕДИУМ И СРЕДА

Любой, кто выдвинет гипотезу о каком бы то ни было (если не постоянном, то рекуррентном) отношении между «вот этим» и «тем» (минимальное определение объективного закона), навлечет на себя обвинение в (примитивном) детерминизме и (упрощенческом) редукционизме. Поскольку социологи начала XX в. желали, чтобы «общества перестали казаться какой-то до бесконечности податливой и пластичной материей», они подверглись многочисленным нападкам и насмешкам за то, что «их мировидение подразумевало своеобразный фатализм, и что социологический детерминизм непримирим со свободой воли» (Durkheim, *De la méthode dans les sciences*). Из-за того, что медиолог утверждает, что культурная жизнь общества не зависит ни от воли, ни от воображения его членов, он выглядит как тупой Санчо Панса на взгляд Дон-Кихота Духа: мы якобы всего лишь игрушки наших машин, заложники неумолимого технологического *фатума*, зависящие от воли применяемых нами носителей. Сколь бы напрасным ни было ломать копыя об эту ветряную мельницу (дурные дебаты выглядят как хорошая полемика), поставим точки над «и». Пространство циркуляций, которыми мы занимаемся, обладает не *механистическим* (причина, следствие), но *системным* режимом (цикл: причина/следствие/причина). Нарисуем геральдику кибернетического цикла: в Сахаре нет дождей, потому что нет растительности, а растительности нет, потому что нет дождей. Системные причинно-следственные связи являются негативными. «А не производит В, но без А нет и В» (Даниэль Бунью). Стремя не «производит» фе-

одализма, но без стремени нет рыцарства. Причинно-следственная связь между техникой и культурой не является ни автоматической, ни односторонней. Мы не можем быть уверенными относительно типов культуры, которые разовьются или не разовьются благодаря линейному письму в той или иной устной культуре. Зато мы уверены, что культура, не ведающая этого процесса меморизации, не будет включать в себя той или иной разновидности поведения: в ней не будет силлогизмов, списков событий, синтаксических правил и т. д. (а следовательно, логики, истории, грамматики и т. д.). Христианство способствует исчезновению *свитка* (или *волюмена*), не годящегося для чтения литургии и маловместительного, а превосходство *кодекса* способствует победе христианства над языческими культами. Оба феномена помогают проявлению друг друга. Без книгопечатания нет Реформации. Без Реформации — широко-масштабного книгопечатания.

Пьер Леви превосходно показал, что этот вопрос — не столь щекотливый, каким его хотели считать: «В когнитивной экологии нет ни причин, ни механических следствий, но существуют лишь случаи и деятели. Технические инновации *делают возможным или обуславливают* возникновение той или иной формы культуры (современной науки нет без книгопечатания, персональных компьютеров — без микропроцессоров), но инновации не *определяют* формы с необходимостью. Это отчасти напоминает происходящее в сфере биологии: вид не выводится из среды. Очевидно, рыб не было бы без воды, но море не обязательно должно было населяться позвоночными, оно могло содержать в себе только водоросли или моллюсков»<sup>25</sup>. Технический фактор будет

тогда так называемым необходимым, но недостаточным условием. Это лишь половина эффективности, среда обуславливает иное, так что мы можем сказать об инновациях то, что один автор сказал о траве: «она пробивается сквозь среду». Геометрия не рождается спонтанно из поверхности начертания, а небесная механика — из простого взаимоналожения списков и графиков.

Пример с книгопечатанием банален (и послужил поводом для классической работы Элизабет Эйзенштейн). Китайский мир открыл принцип книгопечатания (как и секрет изготовления бумаги) за пять столетий до Европы. Но китайская идеография насчитывает тысячи знаков (а не двадцать шесть); китайской экономике неведом винтовой пресс (использовавшийся виноградарями, который Гутенберг модифицирует в ручной печатный пресс), неизвестна и значительная металлургия; но, прежде всего, деспотический режим, склонный к монополии государства, которое не доверяет коммерции и ограничивается воспроизведением нескольких классиков (религиозных или династических), не имеет потребности в таком размножающем устройстве для мысли. Тем самым книгопечатание видоизменило средневековую европейскую ментальность, а не китайскую культуру. Подобно тому, как изменчивость вируса представляет собой функцию от ареала его распространения (тот самый, что вызывает СПИД у человека, оказывается безобидным для шимпанзе), так и изменчивость какого-либо культурного эффекта объясняется степенью влечения к нему или степенью сопротивления среды (у которой тоже есть своя иммунная защита). Техника дает возможность, среда фильтрует, а человек располагает, так что одно и то же

предложение относительно оборудования производит в одном месте эффект эпидемии, а в другом остается без последствий. Китайский ареал XI в. не сумел ни «оплодотворить» подвижные начертания, ни «дать им взойти»; они произведут переворот в XIV в. и на другом конце земного шара, правда, с переходом от древесины к свинцу. Ксилографии (печатания фигур и текстов с помощью рельефно гравированных дощечек) в Китае хватало на то, чтобы удовлетворять скромный спрос на печатную продукцию, потому что она не требовала масштабных инвестиций и совершенно естественно сохраняла каллиграфию. В том же порядке идей эллинисты отметили, что микенская среда XII в. до н. э. не способствовала «выращиванию» фонетической и линейной системы записи мысли. Она подчинила изобретение окружению царя, касте писцов, целям бюрократического контроля. Несколько столетий спустя афинская среда позаимствовала линейное письмо и трансформировала процесс архивирования секретов в дворцовом окружении в средство обнародования законов и продвижения гражданского равенства на агоре. Историки зачастую бывают склонными преуменьшать физическое принуждение, преувеличивая размеры поля для маневра в обществах и в том, что к ним относится, но суждение историка времени, англичанина Дэвида Лэндеса, звучит справедливо: «Не часы вызвали интерес к измерению времени; интерес к измерению времени привел к изобретению часов»<sup>26</sup>. Спрос исходил из монастырской среды, которая, будучи стимулируемой бенедиктинской и цистерцианской реформами, нуждалась в чисто дисциплинарном инструменте, позволяющем каждый день пунктуально и регулярно проводить канонические службы. Теологи

намеренно противопоставляли *достаточную благодать*, дающую возможность делать добро, *благодати действенной*, позволяющей добро осуществлять. Часы с гирями, ветряная мельница, микропроцессор относятся к первой.

Более актуальный пример: глобальная Паутина. Американская и, особенно, калифорнийская среда, проникнутая идеалами и традициями *self-reliance*<sup>27</sup> (Эмерсон) и *grass-roots*<sup>28</sup>, как нельзя лучше подходила для расцвета *self-media*. Децентрализованная страна, привыкшая к *Civil disobedience*<sup>29</sup>, страна, где индивид живет как единственный ответственный за самого себя, лучше, чем страна с государственнической и якобинской традицией (не говоря уже о тоталитарных обществах), подготовлена к тому, чтобы обходить принуждения пирамидального отчуждения, изобретать и воспринимать сеть «все-все» (Интернет), противопоставляя ее отличающейся авторитаризмом модели *broadcast*<sup>30</sup> («один-все»). Ниша вызывает «инновацию» — из-за экономической, сновидческой и моральной потребности — а инновация, в свою очередь, укрепит и расширит свои особые складки (цикл обратной связи).

Возникновение «седьмого искусства» свидетельствует об аналогичном взаимодействии. Изобретение братьев Люмьер (прокручивание анимированных изображений на целлулоидном носителе) не «создает» кино. Что создаст искусство из ярмарочного увеселения и превратит простое любопытство в полноправную культуру (кинолюбительство), так это добавление нового *механизма*, сопрягающего вращательное движение (рукоятка) с движением поступательным (прокрутка пленки), а также добавление стародавнего *упования* на поучительные зрелища.

Путь, ведущий от кинематографа (1895) к кинотеке (1936), проходил через киноклуб (1920). Это означает создание социально-христианского прозелитизма (первые журналы, посвященные кино, были католическими, как и первые кинокритики — католиками), а впоследствии — светского прогрессизма Народно-го фронта (с объединением двух ветвей). Идеология, предшествовавшая изобретению, тотчас же использовала его, нашла ему место и «возвысила» на уровень культуры<sup>31</sup>.

Миф о видимой коммуникации скрывает незримый фактор ментальностей. Наши экраны отгораживаются от среды, как Маклюэн от Тэна — который, разумеется, составил себе о ней чересчур физическое и натуралистичное представление<sup>32</sup>. Социальное время, как известно, обуславливает время технологическое, а наша социальная среда — выбор медиа и их использование. Каждая среда берет то из изобретений, которое окажется для нее уместным и наименьшим образом дестабилизирует ее. Нет ничего автоматического. Помимо того, что индивид всегда может обрести для себя отдельную нишу в некоей медиасфере (и даже сделать выбор в пользу прекращения коммуникации), смысл новейшей техники никогда не дан при ее возникновении, как не дана ее гарантированная эффективность. Она не побеждает посредством своих первоначально задуманных связей. Так, микропроцессор был изобретен, чтобы управлять ракетами и вести военные действия, а не для «дружественных» персональных компьютеров и не для калифорнийских «peace and love»<sup>33</sup>. Компания «Минитель» не была задумана (суровой Генеральной дирекцией по телекоммуникациям) для любовных посланий, а Эдисон весьма разочаровался



бы, увидев, что его фонограф, предназначенный для того, чтобы обессмертить высокую культуру (оперу, драматический театр и великих людей), стал распространять легкую музыку. Бесчисленны примеры, показывающие, как «логика употребления» (Жак Перрио) возоблудала над способом употребления, задуманным программистами<sup>34</sup>. Не будем воображать столкновения «один на один» (Техника *против* Общества), которое предполагало бы полную автономию технического развития, ибо мы наблюдаем лишь алеаторное и происходящее на ощупь взаимное приспособление<sup>35</sup>. Впрочем, новаторское предложение не рождается *ex nihilo*<sup>36</sup>. Оно само является продуктом некоей социальной среды и попадает к нам, будучи обремененным воображаемым и мифами<sup>37</sup>. Это возвратная прививка, никогда заранее не обеспечиваемая культурной средой, которая принимает решения о возможной или невозможной судьбе изобретения. А когда среда является чрезмерно разнородной, она может дойти до полной замкнутости по отношению к внешнему миру (Япония сёгуната Токугава<sup>38</sup>, запретившая пользование огнестрельным оружием и его производство в начале XVIII в.).

Отказ, возобновление, новое равновесие, обезвреживание, изготовление поделок: люди защищаются от «технической агрессии» упорнее, чем о них думают те, кто с грехом пополам загнипнотизированы индустриальной мощью. Техническую прозу они превращают в поэзию. Ибо они в ментальном отношении не одиноки перед своим экраном, пультом управления, клавиатурой; они общаются и контактируют с невиданным оборудованием через коллективную, реактивную и селективную среду, и не непосредственно, не наивно (как полагал Маклюэн, для которого

медиа напрямую моделируют индивидуальное *чувствовалище* по его образу и подобию, так как визуальный и последовательный характер книгопечатания калькирует визуальную и последовательную культуру и т. д.). Затем происходит так, что персонал стареет, становясь несравненно более старым, чем материалы, с которыми он работает — и устаревает все более, согласно закону Мура, как бы перенесенному на всю техносферу (ведь «густота» транзисторов, интегрированных в процессы, удваивается каждые полтора года, согласно впоследствии подтвержденному прогнозу одного инженера «Интела»<sup>39</sup>). В этой «дисхронии» и состоит наш шанс. Нашему мозгу сто тысяч лет, нашим глазам — десять тысяч, да и нашим жестам не меньше. Говорить, что медиум пробивается сквозь свою среду, означает, что новое имеет последствия в стародавнем, через него и сквозь него. Мы приучались к кино через фотографию, к фотографии через живопись, а к телевидению — как к радио с пикселями в виде паразитных помех. Последняя волна образов и знаков захлестывает предпоследнюю, они налагаются друг на друга, попадая к нам в виде «свитка». Отсюда их «правильное» применение, в рамках потенциалов приборов и ожиданий планировщиков. Отсюда упрямая вязкость уловок, переворачивание или юмористический обходной путь при пользовании аппаратами, а иногда — приятные сюрпризы, возникающие из «несуразной штуковины», которая превратит недовольного или ворчливого пользователя в невольного новатора.

Нельзя ли определенно утверждать, что крах техноутопистов и уныние технократов происходят от *переоценки медиума при недооценке среды*? Тут нет ничего удивительного, потому что закон среды гла-

сит, что среды у нас нет (ведь среда есть как раз то, к чему мы слепы до тех пор, пока работа по объективации не трансформирует среду в некое внешнее и видимое «поле»). Виктор Гюго ожидал от весьма ошеломляющей железной дороги Париж—Берлин, что она сделает невозможной войну между галлами и пруссаками; Пруссия же победила в войне 1870 г., воспользовавшись этой линией для концентрации войск. Как общее правило, применение бывает архаичнее, нежели материал и способ его применения. Если медиум является динамичным, то среда неумолимо ретроградна. Это палимпсест с тяжелыми линиями импульсов и повествований, испугов и надежд, откладываемых в нас всеми техническими эпохами; это букет разрозненных ритмов и приспособлений. Я — брошюра из папируса, пергамента, бумаги и экранов. Я без стыда насаживаю свою катодную трубку на стопу бумаги, и свою податливую школьную тетрадь на каменные Скрижали Закона. Я — псалмы и рок, ползущий и летающий, пиктограмма и гипертекст. Всякий современник представляет собой хронологическую неразбериху, хаотическое нагромождение вращающихся медиасфер, ведущих переговоры между собой, а в нем самом эти медиасферы без протокола, в зависимости от того, который час наступил, занимают место, предоставляя ему компанию и выполняя неотложные надобности. Компания «Эрбас» превратила Францию в шестиугольник [le Hexagone]<sup>40</sup>, каждую из сторон которого можно пролететь за полтора часа; автодороги стирают границы между странами Европы; но изготовленной из минерала табличке с названием моей кафедры — два столетия, а рядом записано время в пути на лошади (до любого крупного города мож-

но добраться за день в конном экипаже). Мы играем в салочки [chat perché]<sup>41</sup>, с нашим оборудованием, одни из нас играют с другими, мы играем с пространствами и временами, не задумываясь об этом. И вдобавок, игрок не находится вне игры. Не только мы эволюционируем в более или менее неблагоприятной семиосфере, но и она эволюционирует в нас. Я не нахожусь к ней анфас, я не за и не против нее, подобно капитану на судне. Моя среда обитания живет во мне. Не будем же говорить: «Я обладаю окружающей средой», но будем говорить: «Я и есть окружающая среда». К счастью, она вкладывает несколько медиасфер в одну (я — и велосипед, и автомобиль, и самолет, я — гусиное перо и телефон, CNN и CD-ROM) — что наращивает мои степени относительной свободы. Но это внешнее пронизывает меня изнутри.

Именно здесь теоретическая экология может служить средством побуждения (а то и парадигмой) — и как раз это нам предлагает Моника Сикар<sup>42</sup>. Хотя у нас и нет одних и тех же устройств для проведения экспериментов, наука о доме (*oikos* по-гречески<sup>43</sup>) приглашает нас не только осмыслить среду как систему (эволюционирующую); видеть в ней «не только вектор переноса, но и глубинную отделку культур, географий, институтов, политик, техник» (Моника Сикар). Экология учит нас также заставлять следы говорить, примиряя поверхность с глубиной, а простоту со сложностью. «Для современной экологии поверхность планеты предстает как ряд сигнальных табло, которые необходимо понять как этап, взятый из эволюционного ряда. Так, всякое растение дает меру условий, в которых оно растет. И наоборот, оно является показателем почвы и климатов (макро- и микро-), индикатором поведения других рас-

тений и животных в тех же местах». Превосходный инструмент! Это надо понимать так: нет никакого толку подробно изучать общий или местный климат, составлять полный каталог сообществ животных и растений, чтобы понять природную систему. Дайте показатели для характерных растений, и они дадут вам остальное. Почти все остальное. Не только прошлое, но и — грандиозное приобретение — будущее живого сообщества. «Мысль о сложности также — с необходимостью — является практикой простоты»<sup>44</sup>. Медиафера представляет собой динамическую систему (сложных) экосистем, реорганизованных господствующим (простым) медиа (или вокруг него), как правило, последним по хронологии.

Когда мы изучаем отношения конгруэнтности или несовместимости между той или иной популяцией ценностей (христианство, экзистенциализм, коммунизм и т. д.) и тем или иным вектором их распространения (аудиовизуальная сфера недружественна к критическому рационализму, который расцветает в книгопечатании, каковое не доверяет харизме и слиянию), обнаруживается, что среда — нечто гораздо большее, нежели инертное пространство, нежели задник сцены или окружающая среда предметов. Дело не в том, чтобы предмет вообще сводился к своей материальности. Психоанализ научил нас, в какой степени объект может поддерживать аффективные инвестиции — вплоть до того, что он переживается «как составная часть субъекта». «Грубо отнимите у кого-нибудь его одежду, дом и все предметы, в нем содержащиеся, — замечает Серж Тиссерон, — и вы, вероятно, вызовете у него неполадки с идентичностью (если он решит намеренно оторваться от этих предметов — другое дело, потому что тогда ему

понадобится время на то, чтобы постепенно убрать свои психические инвестиции). Человеческое существо знает, что его физическое существование неотделимо от природной среды. Ему остается осознать, что его психическое существование неотделимо от среды окружающих вещей, иначе говоря — от его техносистемы»<sup>45</sup>. Если мы это утверждаем, то всеобъемлющая глобальность всякой среды обитания обязывает нас решительно отказаться от оппозиции субъект/объект, личное/безличное, сингулярное/общее. Пока еще мы чересчур являемся заложниками философий субъекта, чтобы суметь примирить *cogito* и сосуществование и признать, что мы не одни на борту (и чтобы делать то, что мы делаем; и чтобы быть тем, что мы суть). От наших инструментов описания ускользает этот фон обыденной имманентности, повседневной снисходительности, в который мы волей-неволей погружаемся. Структурирующая нашу грамматику линейность «подлежащее-сказуемое-дополнение» не предрасполагает к этому. Такова для нас латентность практической среды, которая скрыта, а не выставлена напоказ до такой степени, что для того, чтобы получить возможность спросить о том, исходя из чего мы ставим вопросы, и понять то, что охватывает нас «в исчезающе-всеохватном модусе» (Франсуа Жюльен), в предельном случае нам потребовалось бы мыслить технологию так, как мы привыкли мыслить космологию. Мысль пока немислимая для нашей западной гордыни; может быть, какое-то предощущение (а иногда одновременно и завершение) ее нам дает китайская мудрость в ее неуловимой странности<sup>46</sup>. Может получиться так, что «отставание» от Запада, некогда постигшее Восток в причинно-следственной и аналитической мыс-

ли, дает последнему известное преимущество, позволяя понять зависимость от мест и сред.

Может получиться и так, что лучше было бы никогда не прославлять это как меру всех вещей, как демиурга, создающего произведения и события, хозяина и обладателя природы, когда надо проникнуть в мир тонких связей и уловить (помимо общепризнанных понятий влияния и продления) регуляцию некоего внутреннего посредством некоего квази-атмосферического внешнего, которое оно интериоризирует как бы через осмос. «Империю знаков»<sup>47</sup>, экзотическую для семиолога сферу, его сказочную страну, его источник молодости, медиолог охотно заменил бы другой «далью», более поучительной, поскольку еще более двойственной, с ее косвенными стратегиями и побуждениями, с ее «согласованными между собой изгибами» — Срединной Империей. Скорее Китай, чем Япония...

Интеллектуал не ощущает, что им руководит среда — пока он не выходит за пределы диапазона (не берет фальшивых нот). Это руководство не является внешним, оно не осуществляется из какого-то центра управления — ничего общего с системой вождения и посадки воздушных судов, которая по радио контролирует полет, приземление и стоянку. Мир, где нас признали (принадлежащими к этому миру), не проявляет интереса к тому, чтобы его признали чем-то особенным те, кому он приносит признание. Интеллектуальная среда представляет собой систему бессознательной верности и бессознательного уподобления (как правило, принадлежности не может быть без верности), которая закрепляет за каждым, кто к ней принадлежит, условия, каковые могут способствовать приему ее вероятных сообщений. Это — од-

новременно и известная экономия идей («предпонятия», свойственные тому или иному микрокосму), и общая эргономия, способствующая безопасности и легкости при пользовании социально эффективными словами и устанавливающими доверие тональностями (у соответствующей аудитории). Современный публичный интеллеktуал является дважды *медиазависимым* — в той мере, в какой в его случае медиа образуют среду. Ценности следуют определенным векторам (разительное уменьшение количества газет, выражающих мнения, объясняется сужением поля легитимных мнений в среде). Но в истории производства символов так было всегда — разве что интеллектуальная среда не находилась под принуждением индустриальных средств производства. Чем больше мы углубляемся во время для рассмотрения «основополагающих сообщений нашей культуры» — например, сообщения Иисуса, ставшего Христом, а впоследствии христианства, — тем больше нам необходимо считать «медиа» «ментальной оснасткой» (если физические носители информации даны в зачаточной форме, а в логосфере — бедность технических сетей). Чересчур идеалистический взгляд на жизнь идей может скрыть тот факт, что дискурсивная среда строится «материализованными», но легкими организациями, т. е. прозрачными для индивидов, чей логический дискурс они структурируют. Оперативное свойство имплицитного разделения (сообщество подразумеваемого) делает предписывающей смежную среду, благодаря естественной снисходительности между ее членами — благодаря «это само собой разумеется» для тех, кто всегда знает, что сказать, в какой момент, в каком порядке и в каком месте. Прослеживая генезис христианства на протяжении трех



первых веков, Морис Сашо восстановил каждую из векторных сред, которые сформировали христианское движение изнутри (а не просто повлияли на него) — а именно иудейскую, эллинистическую и римскую<sup>48</sup>. Христианское сообщение не пролетело сквозь первые века подобно пуле сквозь пространство. Оно было разработано и структурировано — медиатизировано — культурными средами, сквозь которые оно прошло и которые прошли сквозь него, — и каждая навязывала евангельскому повествованию собственные предположения, понятия и формулировки в качестве условий признания: синагога как институт для закрепления провозглашения Субботы в Писании; институт *схоле* (по образцу Академии и Ликей) для формирования сект, или христианских ересей философского характера; наконец, римская *civitas*<sup>49</sup> для решающей трансформации в начале III в., после Тертуллиана, *superstitio*<sup>50</sup> в *vera religio romanaque*<sup>51</sup>, которая сделала, в конечном счете, почти синонимами *Respublica* и *Ecclesia*<sup>52</sup>. Христианские сообщения трех первых веков были синхронизированы на этих трех диапазонах частот — без чего приобщение Империи к чужой культуре не имело бы места, но когда это приобщение происходило, то именно среда адаптировала сообщение. Формирование Символа веры несет отпечаток своих внутренних опосредований, при функционировании диспозитивов и благодаря общим ритуалам, в качестве грамматических организаторов — взявших верх над лексикой, синтаксисом и смысловым пространством. Эти сразу и внешние, и внутренние пространства — воспитательная сеть синагог, затем *scholai*<sup>53</sup>, потом воскресных собраний — сыграли роль как матрицы для формирования «керигмы» (откровения), которые в процессе фиксации

веры наложились друг на друга и оказались вложенными в веру. И в конечном итоге, как будто бы для того, чтобы осуществить соответствующую институциональную команду после I в., «истина» догмы будет официально прилаживаться к политической власти. В IV в. «разработка христианского учения будет зарезервирована за епископальной властью, школа формирования в этой высшей философии примет форму *катехумената*, под непосредственным председательством главы общины, *епископа*»<sup>54</sup>.

Отметим, что если перенос трансформирует, то средство переноса может быть само трансформировано тем, что оно переносит. Язык есть транспортное средство, служащее *внутренним* вектором доктрины, религиозной или философской. Но поскольку этот вектор является интериоризованным, он не может быть внешним для сообщения, которое он передает. Морис Сашо сумел, будучи медиологом, показать в упомянутом произведении, как философия, неотъемлемо присущая греческому языку, претерпела изменение благодаря неоиудейскому сообщению «христианской» диаспоры перед тем, как самой отправиться по римским каналам (и претерпеть в них изменение). Таким образом, вектор перевода (греческий перевод Септуагинты) не сказал еще последнего слова. Руководство через медиум языка может само сменить предписания. Так, эллинизация иудейской теологии проходит в III в. под центральным руководством латыни и типично римской философии института. Здесь присутствует «изначальный и основополагающий подрыв».

## ПРЕДШЕСТВЕННИКИ В ПЕРСПЕКТИВЕ

Медиология стремится формализовать и синтезировать уже стародавние наблюдения в форме интуиций и разрозненных заметок у «великих авторов» — начиная, как мы уже видели, с Платона. В действительности предшественников и просветителей медиологии следует искать с гораздо большим основанием в поле литературы и искусства, нежели философии (их довольно мало в трудах теоретиков культуры). Эта странность, впрочем, характерная для большинства регистров, занимаемых гуманитарными науками, ярче всего выражена в нашей сфере. Здесь поэты и писатели *председательствуют* сразу и по праву первородства, и по верности глазомера, и по таланту изложения. «Наша литература — отмечал Барт, комментируя заметки из «Энциклопедии», — очень давно начала открывать объект». И все-таки в любом случае позже, чем наша философия. Это открытие происходит в век Просвещения (а статьи «Энциклопедии» приводят первую рефлексивную иконографию изготовленных вещей). Назвать имена? В XVIII в. — Дидро, инициатор Антрепризы, глашатай ремесел и машин, ведь он отказался от классического разделения искусств на «свободные» и «механические»; но сюда же относятся Монтескье и Малерб. В XIX в., само собой разумеется, Гюго, но также и Шатобриан (любопытным образом вдохновленный парходом и «электризацией» публичного слова в многотиражной газете), Бальзак (этот печатник, страстно почитающий все звенья литературной цепи, от изготовления бумаги до торговли в книжных магазинах; его длинная увертюра к «Утраченным иллюзиям» представляет собой в этом

отношении классика), не забывая о Валлесе (душа, копирующая книги). В XX в. Валери, материст<sup>55</sup> в области «пойетики», судящий о доктринах по их методу («Введение в метод Леонардо да Винчи»), пристально анализирует «растущее техническое выравнивание народов», а также «стремительный и фантастический рост средств коммуникации и передачи». Ведь этот прекрасный прогнозист уже в 1930-е гг. в «Покорении вездесущности» провозглашает грядущее рождение «обществ распределения осязаемой реальности на дому», которые мы впоследствии назовем телевидением. Но сюда относятся и Пруст (чудесный телефонист), Клодель (по многим диагоналям), и, разумеется, Мальро (автор «Психологии кино» и «Воображаемого музея»). Мы приводим лишь некоторые ссылки из многих: нам приходится быть краткими<sup>56</sup>. Эти медиологи (до изобретения самого термина) действуют *по-кавалерийски дерзко*. В этом их сила — отвага и скорость. Лиризм как метод анализа... Они скачут через поля, обнаруживают странное родство, не ведая о том, что это запрещено Школой (они опережают гуманитарные науки). Из-за того, что они не работали командно над должным образом расклассифицированными вещами, подчиняя свои работы мнению *рефери* до публикаций в журналах (англизычных), обложившись необходимой батареей из цитат и предосторожностей в сносках — должны ли мы делать вид, будто они ни о чем не думали, ничего не наблюдали и не обнаружили? Эти недисциплинированные люди соединяют смирение (они схватывают значительное на лету при отсутствии системы смысла) с проницательностью, улавливая «подробности, изменяющие всё». Они мыслят без фундамента и предосторожности. Больше обра-

щенные к современному, чем работники университетов, и к тривиальному, чем идеологи, эти лжепростаки не были ни зашоренными, ни дистанционно направляемыми по рельсам благонамеренности. Сравнение несравнимого было для них естественным делом (Бодлер составил себе славу, сравнивая живопись и фотографию). Проницательность большинства из них происходит оттого, что они пренебрегают существующими режимами несравнимости. Таков Клодель, скрецающий всё и вся, религиозный материалист, чувственно спиритуалистичный, его взгляд всегда прислушивается («Голландия — это дышащее тело»), в высшей степени медиологический сгусток противоречий. Дипломат, и все-таки значительный путешественник — в эпоху, когда мореплавание оставляло необходимое время для грез и раздумий, в путешествиях между Дальним Востоком (Китай и Япония) и Дальним Западом (Бразилия), он спонтанно применяет метод инварианта и вариаций, позволяющий понять *одно через другое*. Среди прочего — алфавит через иероглифы («Философия Книги»). Как и его учитель Малларме, Клодель внимателен к начертаниям знаков, носителям и другим эффектам высказывания («У слов есть душа»), он воздаёт должное средствам письма, будь то чернила, «жидкая чернота, посредством коей изменяется мысль», «транспорт души», или металлическое перо, этот «острый палец духа» («Фигуры и параболы»). Он весело перемешивает регистры, как в эссе, озаглавленном «Телефон» (1936): «И тогда впервые, смешивая свои вызовы и звоны со стуком азбуки Морзе, вмешивается в сотворение человеческих событий новый и страшный инструмент, непосредственное и незаметное действие которого, под-

черкивая роль нервов и уменьшая роль воли, обучения и размышлений, никогда больше не перестанет расти». Или еще лучше, в «Самолете и дипломате», включенном в тот же год в «Механические поэмы», пересечение, которому свойственно смачное здравомыслие: «Самолет, наш профессор географии [...], стал нашим репетитором международного права». И мы не забудем лирическую похвалу мотоциклу, отчетливую и мускулистую, из стихотворения «Мотоцикл» (эта сила, образующая с нами единое целое, представляет собой открытость к бесконечности дороги; самолет избавляет нас от земли, мотоцикл нас вручает ей).

Клодель предпочитал титул комического автора титулу автора космического. У поэтов и драматургов есть особое чутье на дурачество (писатель-медиколог — это шут, или это не писатель-медиколог): шестое освежающее чувство, становящееся ощутимым для технического отклонения от курса в том, что в нем есть шутовского. Со своими эффектами усиления, короткими замыканиями и сюрпризами (в противоположность политической истории, программируемой, повторяющейся и весьма линейной), ход изобретений весьма часто бывает ликующим до бесстыдства, с каким-то сюрреалистическим элементом. Помимо магической филиации, которая согласует эту подозрительную деятельность с греческой *metis*<sup>57</sup> и которая давно наделяла умельца в племени соответствующей долей фарса и уловок, превращая в фокусника с тысячько фокусов; помимо того способа, каким новый двигатель или новая «штука» преобразуют препятствие в средство, опережая даже ход знания (первые самолеты летали до того, как возникла аэродинамика), — в этом присутствует какое-

то сугубое чудачество, которое, как мы видели, зависит от известной непредсказуемости употреблений. Неопределенность истоков: никто не «изобрел» Интернет, упаковка которого полностью ускользнула от «лиц, принимающих решения». Неразрешимость проблемы возвращения... Грубая шутка хронологических спиралей и возвратов поколений, благодаря которым более раннее всплывает из новейшего (CD возродили устарелые записи на 78 оборотов, Корто или Тосканини, которые долгоиграющая пластинка предала забвению). Сатирическое взаимоналожение причинно-следственных цепей (микроволновая печь и снижение числа браков, лучи Герца и крушение коммунизма). Хиросима, Чернобыль, загрязнение прибрежной зоны моря разлившейся нефтью, извращенные эффекты, зависимости, опасности, с которыми невозможно справиться: эпоха «технонаук» имеет материал для подпитки неукротимой технофобии душ. Действительно, галопирующий прогресс в сфере оборудования может серьезно раздражать. Однако это не должно мешать нам жить, мысля две противоположные идеи: трагедия сегодня — это техника (а уже не политика, как утверждал Наполеон), так как она ориентирует наши желания, ускользая от наших способностей к решению. И вторая идея: если здесь и присутствует какая-то фатальность, то ее перипетии достаточно причудливы. Хотя обыгрывание интенций и расстраивание ожиданий стали после греков неотъемлемыми атрибутами божественной злокозненности, эти противоположные идеи прекрасно ладят между собой. Еще одна причина для того, чтобы поставить «ужас перед технологией» под знак смеха: смеха Диониса, играющего в кости.

Поскольку всякое создание является, прежде всего, изготовлением, ничего удивительного, что художники задаются вопросами о фабриках — орудиях и материалах, — опережая теоретиков на один ход. Им платят за то, что они знают, что духовная эмоция зависит от весьма материальных поделок, и что мы не можем размышлять о том, какое сообщение она несет, не поразмыслив сначала о ее медиуме. Повседневное знакомство с живописью, со скульптурой, с репрезентацией, с токарным делом принуждает их применять крайние свойства. В литературе это порода поэтов, ваятелей языка (Малларме в поисках Великого Шедевра обрабатывает пустоты и политики, расположение на странице и формат). Больше, нежели прозаик, поэт пользуется сияющим коротким замыканием образа, ориентированным на бессознательное (личное и коллективное), а, стало быть, меньше подвержен «неисцелимому запаздыванию слов». Отсюда в медиологии высшее здравомыслие лириков, их таланты предвосхищения, способствующего «чувству» внезапно возникающей технологии и ее возможностей. В случае с кино мы видели «искусство ручья»<sup>58</sup>. Во Франции именно поэты (Реверди, Деснос, Кокто, Арагон) первыми поняли, какое у кино будущее, когда ни один серьезный мыслитель не уделял ему внимания. Впоследствии, двадцать лет спустя, это сделали писатели — начиная с Мальро и Бенямина. И наконец, спустя еще двадцать лет, философы — вслед за Мерло-Понти. Совсем недавно мы видели такую же процессию, или последовательность, в отношении информатики, но при явном сокращении отсрочки, посвященной забавам (Рубо<sup>59</sup>, Улипо<sup>60</sup>, Жюффруа<sup>61</sup> и Бютор сразу же высказали свой интерес).



Это не означает — отнюдь нет — что в классической философии черпать нечего. Есть что почерпнуть у Декарта, который призывает «методически изучать все, даже самые незначительные, искусства, но в особенности те, которые объясняют или предполагают порядок» (Правило X из «Правил для руководства ума»)»<sup>62</sup> и который не гнушается окольным путем через объект, чтобы выйти из формального пространства причин; есть что почерпнуть даже у Канта, которому мы обязаны превосходной похвалой записной книжке как инструменту мнемотехники («Антропология с прагматической точки зрения»). Мимоходом отметим, что наиболее значительные вклады в медиологию принадлежат не поддающимся классификации вольным стрелкам мысли, людям, сошедшим в философии с путей, обозначенных веками; таким, как Гоббс, путешественник-еретик, осужденный за атеизм; Паскаль (изобретатель счетной машины и создатель первого общества публичных карет) или Вико (весьма долго никому не известный). Леруа-Гуран не имел академической подготовки. А Бенъямин был маргинальным эссеистом, которого в его эпоху никто не воспринимал всерьез (ни в Университете, ни в NRF<sup>63</sup>). Слишком много он занимался «малыми последствиями» (вроде колокольного звона в имперской Панораме в Берлине, раздававшегося за несколько секунд до ухода изображения; занимался он и крытыми пассажами с дневным освещением, и «штукой» Дагера<sup>64</sup>, и микрофонщиком [perchman] в студии, и т. д.), а значительными причинами — недостаточно<sup>65</sup>.

Возвращаясь к сегодняшнему дню, нам, разумеется, необходимо воздать должное «Торонтской школе» (Гарольд Иннис<sup>66</sup>, Маклюэн и Деррик де Керков<sup>67</sup>),

а также англосаксонским антропологам — Уолтеру Онгу<sup>68</sup>, Джеку Гуди<sup>69</sup> и Нейлу Постмэну<sup>70</sup> — зачастую опережающих своих романоязычных коллег в анализе материальной культуры. Американский журнал *Technology and Culture* (насколько нам известно) не имеет эквивалента в Европе, где, однако, многочисленными были пионеры, работавшие на пересечении специальностей (их слишком мало слушали и признавали). Поприветствуем во Франции основателей журнала *Culture technique* (1979–1995), такие имена-ориентиры, как Симондона, Бертрана Жилия, Жослена де Нобле, Ива Стурдзе, Тьерри Годена, Жака Перрио и других. В 1981 г. был опубликован «Манифест о развитии технической культуры» с предисловием Андре Леруа-Гурана. Увы! Он как будто бы не наложил ни малейшего отпечатка на интеллектуальную среду Франции.

В сфере современной франкоязычной философии мы выражаем совершенно особенную признательность трудам Мишеля Серра (а именно — четырехтомному «Гермесу»), Жака Деррида («О грамматологии», «Письмо и различие») и, разумеется, Франсуа Дагонье, все произведения которого могут считаться медиологическими по духу. Границы этого введения не позволяют нам уточнять, чем мы обязаны этим великим предкам<sup>71</sup>.

Мы прибываем слишком поздно? Но ведь «Сова Минервы вылетает на закате». Люди производили и обменивали блага на протяжении тысячелетий, не имея потребности в политической экономии. Стоимость труда существовала в фактах до Рикардо. Но абстрактные понятия среднего общественного труда, потребительной стоимости, меновой стоимости

для того, чтобы раскрыться на бумаге, требуют множества конкретных работ и расширительного представления о товаре — без чего теоретическое внесение ясности было бы невозможным. Аналогично этому абстрактная категория *медиума* предполагает как размножение медиа, так и рост их мощности. Она не могла возникнуть в своей *простоте*, пока ее реальное развитие не достигло достаточной *сложности*. Лишь на пороге XX в., вместе со сгущением медиа и потрясающим разнообразием векторов их развития, стало возможным прояснить логические зачатки передачи. Простейшие (находящиеся у истоков какого-либо реального процесса) категории: камень с высеченным на нем рисунком, интальо на кости северного оленя заметны менее всего, а, стало быть, позже всего были обнаружены. Социология не избежала правила запаздывания, которое в свое время очень хорошо учел Дюркгейм<sup>72</sup>.

«Анатомия человека — ключ к анатомии обезьяны», — заметил Маркс, и уточнил как хороший дарвинист: «Намки более высокого у низших видов животных могут быть поняты только в том случае, если само это более высокое уже известно»<sup>73</sup>. Односторонняя телевизионная *broadcast*<sup>74</sup> на частотах Герца ретроспективно обнаруживает собственные свойства в интерактивной сети компьютера, а домашний кинотеатр открыл перед нами то сингулярное, что присутствовало в «братстве» большого экрана. Таково «ретроградное движение истинного» (Бергсон): свойства последующего медиума открывают свойства предыдущего (свергаемого последующим). Индивидуализирующий компьютер (среди других, благоприятствующих автономии «приборчиков» и наряду с ними: автоответчик, мобильный телефон, плеер),

заставляет нас остерегаться того массовидного, что наличествовало в односторонней бомбардировке со стороны передающего аппарата».

Историк наук Александр Койре как-то заметил, что «после того, как мы пережили два или три глубоких кризиса нашего способа мысли [...], мы стали более способны, чем наши предшественники, понимать кризисы и проблемы былых времен». Недавние мутации рамок нашего разума фактически сделали нас более чувствительными к прерывностям, к изменениям сред и интеллектуальных технологий, каких не было во времена Конта и Дюркгейма, — в том числе и к изменениям, случившимся в отдаленном прошлом, измерить важность которых мы пока не смогли. Аналогично этому сегодняшние потрясения открывают нам глаза на вчерашние и позавчерашние логистические изменения, разумеется, не столь зрелищные и более медлительные, но столь же определяющие, как и наши сегодня. Они могут лишь ускользать от внимания наших предшественников, или же представлять перед ними только время от времени. Кое для чего запаздывание благотворно: вместе с дезориентацией или дестабилизацией, которую оно вызывает, сегодняшняя смена фазы (1960–2000) позволяет превратить вчерашние ответы в вопросы и поставить проблематику на место очевидности.

Как всякому известно, предшественники — это те, кто приходит за последователями. Возможно, мы тоже недостаточно хорошо догадывались об этих предшественниках, перед тем как ринуться в эту формализаторскую и синтетическую авантюру. В каком-то смысле они сделали работу, плоды которой мы пожинаем (каковые, несомненно, обещают цветы). Как заплатить долг, не предавая столько — и таких хо-

роших — заимодавцев? Необходимо иметь возможность довести это предприятие до счастливого конца — теоретизировать о реальном, не брутализируя его, свести его к сущности, не иссушая существующего, — дисциплинировать интуиции, не утрачивая недисциплинированность интуитивного. Сочетать порядок и приключение — этот обет легче сформулировать, чем исполнить... Во всяком случае, сохраним любовь к промежуткам, зигзагам и переправам, не забывая о том, чтобы считать враждебность коллегей и академий наградой.



## ГЛАВА IV — ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИМВОЛОВ

### ПУТЬ ОТ МЕДИУМА К МЕДИАЦИИ

#### «МОГУЩЕСТВО СЛОВА»: ПОКА ЕЩЕ ЗАКРЫТЫЙ ЧЕРНЫЙ ЯЩИК

Мы говорили о *технэ* (воздействие человека на вещи), перед тем как начать говорить о *праксисе* (воздействие человека на человека). Порядок изложения направил порядок исследования в обратную сторону. Фактически мы перешли к процессам, материалам и инструментам посредством в высшей степени прагматичного вопрошания о власти слов, звуков и образов. Как заставить двигаться людей, общество, историю? Как заставить их мыслить, чтобы склонить к действию? Цель могла бы заключаться в том, чтобы обнаружить пути и средства *действенности символов*, найти, как работает абстрактное в конкретном. Т. е. найти в истории идей «генеологию навыворот», которая заменяет заботу об истоках заботой о нахождении выхода. Не «Откуда произошла эта мысль?», но «Что она фактически произвела?». Не «Откуда берется эта информация и что она обозначает?», но «Что эта новая информация преобразовала на ментальной территории такого-то коллектива и его диспозитивов власти?». Ибо для медиолога речь идет не о дешифровке мира знаков, но о том, чтобы понять становление знаков миром, становление пророческого слова Церковью, становление Манифеста Партией, становление напечатанных тезисов Реформации

ей, становление Просвещения Революцией — равно как и становление радиопередачи Орсона Уэллса в 1939 г. национальной паникой<sup>1</sup>, или же становление даром денег или риса из телерепортажа о гуманитарной помощи. Почему же репрезентация мира (звуковая, визуальная или обе) становится в известных обстоятельствах воздействием на мир?

Прагматическая забота, касающаяся здесь истории идей, может распространяться и на регистр истории форм. Как растрогать публику, заставить плакать Марго, потрясти сердца образами или звуками? Художественный эффект здесь необходимо поместить внутрь обобщенного символического эффекта. Кроме того, эти эффекты — политические или пластические, визуальные или музыкальные — будут варьировать вместе со способом производства или распространения. Политическое «дело» (о коррупции, о морали или о клятвопреступлении) будет иметь совершенно разные отголоски в зависимости от того, будет ли оно передаваться из уст в уста или через спутниковую связь. В устном виде слухи не выйдут за пределы города или региона; будучи напечатанными, они могут обрести национальный масштаб; передаваясь же аудиовизуальным способом, через спутник, они достигнут планетарных пропорций. Аналогично этому, каждый новый способ передачи музыки видоизменяет саму музыку. Бах XVIII в., которого слушали в лейпцигской церкви Св. Фомы на воскресных богослужениях, отличается от того Баха, полное собрание произведений которого мы слушаем на CD, только в домашней обстановке. «Всякий раз, когда начинался новый этап (развитие домашнего музицирования, секуляризация произведений, сама идея разработки пространства и времени, свой-



ственных прослушиванию музыки), происходило обращение к предшествовавшим произведениям, видоизменялся способ их понимания и создавался новый Бах, сохранявший черты предыдущих, тогда как это новое обращение к Баху, в свою очередь, видоизменяло способ прослушивания и музыкальный вкус»<sup>2</sup>. Носители вкусовых суждений переопределяют произведения классического репертуара и способы интерпретации.

Отсюда возникает смена перспективы, которая в литературных произведениях может выражаться переносом акцента, скорее, на способ высказывания, чем на само высказанное. Или она выражается через повышение внимания к тому, что его не заслуживало или заслуживало мало: скорее к наречию, чем к глаголу; к «упаковке», к «разрезу», к отправлению. *Modus operandi*<sup>3</sup> будет выглядеть более показательным, чем *opus*<sup>4</sup>, но второе фактически оказывает воздействие лишь через первый. При таком освещении длинное и короткое, например, являются не стилистическими модальностями (не субстанциональными: более или менее), но побеждающими на длинной дистанции возможностями выбора (большее через меньшее). В литературной баллистике сокращение оптимизирует отправление. Риторика краткости позволяет увеличивать «дальнобойность» сообщений. Так, Руссо в «Эмиле» (1762) отмечает по поводу красноречия древних, что «оно оказывало наибольшее воздействие, когда оратор говорил меньше других». Занятия эффективностью символов обязывают принимать «наименьшее» всерьез. «Сухой стиль, — говорил Валери, — проходит сквозь время подобно невредимой мумии». «Сжатое», как и «расцвеченное» или «живое», относится к уровню *стра-*

*тегии*, и мы видим процессы *поисков власти* в некоторых стратагемах выражения или представления (эллипсис<sup>5</sup>, анаколуф<sup>6</sup>, энигма), нацеленных на преодоление инерции среды и окружающего ее шума, дабы найти «наиболее подходящее средство потрясти общества» (Франсуа Дагонье). Электризовать сообщение означает отточить его для того, чтобы сделать аэродинамическим, увеличить его проникающую способность, способность вхождения в (оказывающую физическое сопротивление) атмосферу. Соображения формы (или стиля) зачастую указывают на статичные последствия, оторванные от их объяснительной динамики. Напомним, что «метательный снаряд» — то или иное сообщение — как бы высекается собственной траекторией, а «дух форм» проявляется экономией сил. Инвенцию, диспозицию, элокуцию — различные разделы риторики — следует отнести настолько же к искусствам памяти (как мнемотехническим методам для оратора и его публики), насколько и к боевым искусствам (сжатый стиль для столкновения, стремительный — для нападения и т. д.), в которых блистали интеллектуалы Просвещения, и в особенности Вольтер.

Есть пронизательное клише: «Бросить бутылку в море». Но ведь свойства бутылки (замкнутый сосуд, изолирующий материал, узкое горлышко) не являются безразличными. Если угодно, они эстетичны (стеклодувное производство — ремесло, граничащее с искусством); но выбор бутылки происходит для того, чтобы обеспечить шансы на выживание, а не для того, чтобы «изготовить красивое» (даже если наиболее элегантно оказывается самым функциональным). Форма-бутылка, а не бутыл от 3 до 4,5 л, контейнер или конфетница: выдвижение кандида-

та, в первую очередь, прагматично. Пузырек означает на этом свете опьянение. *Small is beautiful*<sup>7</sup> выводится из *small is efficient*<sup>8</sup>. Это минималистское *меньше* представляет собой результат эстетического напряжения, логического усилия, а также эстетической потребности. Кто хочет далеко путешествовать, сокращает свое произведение. набросок более уместен, чем чертеж, засушенный лист — чем фотография, граф — чем снятие показаний прибора. Это непрестанный и всегда возобновляемый *труд* по высушиванию (бревиарий, конспект, манифест, резюме или краткий курс), по сжатию, чтобы лучше оставить след. Лаконичность как аскеза и эффективность...

Яркий пример расширительного уменьшения дает нам первоначальное христианство. Возможно, читатель удивится, увидев, с какой настойчивостью мы возвращаемся к нашему архетипу. У нас два основания для этого. Прежде всего, христианство образует на Западе наиболее выдающийся и характерный опыт передачи символов: на этих основаниях оно представляет собой настоятельно необходимый для нас *предмет* изучения, первый по роли культурной матрицы. Затем, будучи основанным на универсалистской эсхатологии, христианство является миссионерской религией *par excellence* (оно обращено ко всем людям), цель которой — распространение веры. Апостольское действие — его исток, пастырское служение — цель, а катехизис — повседневность. Эта единосущная христианству *circa animarum*<sup>9</sup> заставила его изыскивать все векторы, позволяющие «добывать души для Бога», и экспериментировать с таковыми векторами. Как оператор религиозного обращения, Церковь в этом отношении является меди-

ологическим деятелем, всегда действующим под напряжением.

Методы евангелизации свидетельствуют о стремительно действующем духе графического и литературного сжатия. В противном случае — как можно было на рынке конкурирующих между собой спасений превратить изначальный доктринальный гандикап, а именно — отсутствие Физики, Логики и какой бы то ни было систематизации, в «сравнительное преимущество» (по отношению к соперничавшим школам: неоплатонизму, эпикурейству, стоицизму, которые даже в лучшем случае презирали христианское упрощенчество). Гений христианства (вплоть до Оригена, в начале III в.) состоял в том, чтобы обратить сухость в диететику, логос с изъяном — в пафос осуществления. Пастырское служение облегчает логическое содержание сообщения, чтобы расширить зоны восприятия до подвластных или периферических социальных слоев. Крест, помазание, монограммы, JHS (Jesus Hominum Salvator<sup>10</sup>), рыба, агнец: целая эмблематика (рекламист сказал бы: эта визуальность), будучи своего рода оптическим эсперанто, обеспечивает максимальную динамику в транслингвистическом и транснациональном посылаании сообщения и его распространении в виде Вульгаты (для безграмотного *vulgum*<sup>11</sup>). Другое «больше через меньше»: легкость Нового Завета (по сравнению с Ветхим) в обращении и запоминании — с его притчами, его короткими, звучными и «бродячими» фразами. Редукционистская динамика, которая найдет подходящее для себя средство переноса в кодексе, начиная с III в., а также дополнительное пространство, уплотнение, которое активизирует содержание с помощью оболочки. Еще одна черта «пропаган-

дистского» гения (*De propaganda fide*<sup>12</sup>) — пресущствление. Догмат о реальном присутствии позволяет миниатюризировать все тело Господа в маленьком кусочке хлеба. Святое Причастие (самое великое в самомалейшем, самое основополагающее в самом знакомом) — это евхаристическое «сжатие» (в мирском смысле<sup>13</sup> этого слова). Аналогичным образом, к православному богословию иконы можно подходить под углом «транспортной» рациональности. Икона восточных литургий, развеществляющая без дереализации, одухотворяющая тела, облегчающая плоть, чтобы впустить свет Духа, обнаруживает необыкновенные *пневматические* качества. Ведь Святой Дух (*pneuma*) действует как своего рода сжатый воздух, чтобы доставить грешникам, запертым в своих телах, Благоую Весть. «Теология красоты» (Евдокимов<sup>14</sup>) облегчает лечение похуданием посредством сокращения спасительной вести. В «Искусстве эмблем» (1662) иезуит Клод Менестрье<sup>15</sup> для того, чтобы облегчить протекание Контрреформации, систематизировал орнаментальные и различительные знаки: герб, девиз, монограмму, гербовый щит, печать, виньетку, т. е. «помету» вообще (наиболее выразительная — самая конденсированная), и притом с неприкрытой заботой о прозелитизме. В задачах по евангелизации «побеждает эллиптика», согласно медиологическому принципу экономии (акроним INRI<sup>16</sup>) на картушах и таблицах.

В этой существовавшей до телеграфа азбуке Морзе, которая стремится устранить «литературное» в самих рамках литературы (вершина литературного искусства), помимо формальной выразительной структуры, присутствует моральная героика с римскими отзвуками, ассоциирующаяся, в особенности,

с римлянами испанского происхождения (Сенека, Лукан, Марциал), пример которых неотступно преследует самого красноречивого борца за остроту языка и остроумие, испанца Бальтасара Грасиана. Автор книги *Agudeza y arte de ingenio* [«Остроумие и искусство находчивости»] (1648) был также автором книги *El Heroe* [«Герой»] (1637). Он склоняется к синекдохе («половина больше целого, так как предьявленная половина, вместе с другой в запасе, стоит больше объявленного целого»), чтобы подчинить вульгарное. «Если использовать этот ловкий метод, то многочисленное покажется бесконечным, а бесконечное — еще более бесконечным». Господин не раскрывается полностью, он вспыхивает в зарницах тайны. «Сила, стремительность и изящество духа суть уменьшенные солнца мира сего: они подобны искрам, чтобы не сказать — лучам божества: все герои причастны излишествам Духа. Сентенциозные речи Александра взрывали сообщаемые им высокие факты; Цезарь был скор в мысли, как и на расправу... Спорный вопрос — что из двух возобладало в Августине — то ли возвышенное величие рассуждений, то ли острота мысли»<sup>17</sup>.

Лаконичность, густота штриховки, изобретательная краткость, искрометность показывают — на взгляд стратега-иезуита — превосходство королевской и католической крови, а также наилучшие средства ее поддержки. Эти приемы — хитрости власти. Историческая генеалогия краткости могла бы привести нас к суровому латинскому *приведению в порядок*. Империя сухости и жесткости диктовала свой синтетический закон расплывчатому распутству диаспор. *Компендиум, вадемекум, повестка дня [agenda]*, все это — наследие Рима (римляне

были американцами античности: прежде всего эффективность...). Раймон Арон вменял современному индустриальному обществу в вину «процесс технизации», т. е. «преобразование человеческого поведения под воздействием одного-единственного закона эффективности». Не «технизировала» ли слово уже греко-латинская риторика (с ее поисками максимальной эффективности)?

Таково весьма таинственное явление: «как делать вещи посредством слов» (Austin, *Doing Things with Words*), и оно тем туманнее, что скрывается среди бела дня, в спокойном и тихом свете. Философ языка<sup>18</sup> назвал его «перформативным высказыванием», а иудео-христианская традиция — Книгой Бытия. «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет». Бог — единственный источник высказываний, каковые считаются перформативными в совершенстве (он никогда не говорит без того, чтобы чего-нибудь не делать, каждая из его речей есть действие, и он делает все, что говорит). Космос был его «речевым актом». В глубине души, спонтанно, мы еще рассуждаем подобно слишком легковверным верующим (в силы символического Всевышнего), когда вспоминаем подобно совершенно естественным вещам, происходящим сами по себе, «речи, которые потрясли мир», «идеи, изменившие эпоху», «книги, сделавшие Революцию». Или еще: «удар» идеи (а ведь она не мяч), «излучение доктрины» (она не лампа), «отзвуки» произведения (не музыкального). Таковы метафоры, которые затемняют тайну перформативов, банализируя ее. Мы имеем в виду, например, тот факт, что слово Христово смогло — спустя три столетия после его произнесения — преобразить лик Римской империи

и породить христианство. Или еще факт, что Лютер, немецкий монах-августинец, вывесив пятнадцать тезисов на латыни на двери церкви, кончил тем, что предал Европу огню и мечу. Как же *печатный плакат* превратился в религиозную войну и протестантство? Как несколько переплетенных листков, озаглавленных «Манифест коммунистической партии» и опубликованных в 1848 г. в Лондоне, — с количеством читателей между 200 и 300 — сумели пятьдесят лет спустя превратиться в «мировую коммунистическую систему» (с миллиардом приверженцев)?

Таковы феномены продолжительной передачи с мощной амплитудой, хотя они совершенно непохожи друг на друга. «Материальное могущество слов» (как говорил Эдгар По в одной из своих «Необычайных историй», озаглавленной как раз «Могущество слова») привело ко множеству других последствий, проявившихся в меньшем масштабе<sup>19</sup>. Приведем для примера (и не распространяясь об этом) слова «объявляю заседание открытым», которые произносит председательствующий — и все, что относится к тому, что можно было бы назвать *эффектом скипетра* (инсигнии власти, передаваемые у Гомера оратору в момент речи), где находят место сакраментальные формулы («отпускаю вам грехи», или же «объявляю вас соединенными узами брака»). Существует нечто, что один позитивист назвал *эффектом плацебо*, действующим при чудесном исцелении от приложения к образу или от наложения рук, при *talking-cure*<sup>20</sup> у психоаналитиков, или когда *шаман* своими заклинаниями облегчает роды у роженицы. Существует нечто, что один социолог назвал *эффектом Британского музея* по аналогии с теорией классовой борьбы, придуманной в читальном зале Британ-



ского музея одним экономистом и философом, которой было вскоре суждено выйти на улицу и начать существовать в головах «пролетариата» параллельно существованию на бумаге. Обоснованные или необоснованные — теории приобретают эффект реальности и способствуют наступлению того, что они возвещают, в той мере, в какой ложная репрезентация самого себя и общества, которую формирует социальный деятель, может действительно изменить его личность, как и само общество. Возможно, психоанализ — что-то вроде волшебной сказки, но он снял некоторые табу, облегчил страдания, изменил сексуальное поведение. Возможно, и марксизм — мифология, но он, независимо от других более неприятных воздействий — на самом деле поднял в Европе уровень справедливости и солидарности. Галиматья и ложь или экспериментально полученные результаты — здесь не имеет значения; отзвуки социальных наук звучат в социальном (наивная или не наивная, американская социология «белых воротничков» обладает некоторой непротиворечивостью и групповым сознанием средних кадров). А тот, кто публикует числовую оценку учебных заведений (афишируя места учеников по успеваемости и списки обладателей наград согласно некоторым разработанным министерством индикаторам), независимо от того, заслуживает ли она доверия, сам видоизменяет эту систему школьного обучения.

В одном случае *эффект-скипетр*, власть слов, на самом деле будет воздействием института (попробуйте сначала организовать выборы президента или мэра, а потом посмотрим). В другом случае *эффект-плацебо* есть всего лишь эффект верования (сначала проникнитесь убеждением, потом верой — и вы

исцелитесь). В последнем случае — *эффект знания* (уверуйте в статистику и следуйте руководству). Список не является исчерпывающим (а классификации Остина, очевидно, не тоньше). При поисках в языке принципа эффективности языка (к чему может привести чрезмерная сосредоточенность на «самоподтверждающихся» высказываниях («поздравляю вас»), на «юссивах» («я вам приказываю») и «прогибитивах» («запрещаю вам»)), кроме того, что иллюкутивная сила, в конечном счете, подправит, хотя и ученым способом, стародавнюю «магию слов»?

Вернемся к истории обществ. Признанный факт, согласно которому с большим или меньшим сроком действия новая репрезентация мира может изменить состояние мира, а не только представление, каковое мы о нем имеем: вот конечный предмет медиологического вопрошания, и его первый *raison d'être*. Почему Иисус «овладел массами» *urbi et orbi*, став тем самым материальной силой, а не Митра или Мани, чьи культы конкурировали с христианством и даже господствовали над ним в I–II вв.? Или же почему политическую и социальную борьбу в XX в. организовал Карл Маркс, а не Огюст Конт или Прудон? И ближе к нам: какой путь потребовалось пройти от первого конгресса сионистов (Базель, 1897 г.) до создания Израиля (Палестина, 1948 г.)? Как мы перейдем от венского драматурга и литературного критика Теодора Герцля к еврейскому государству Бен-Гуриона, или от интеллектуального замысла к очагу формирования нации? Преобразование теории в практику, переход от рубрики «идеи» к главе «большая политика», таинственная «алхимия», которая может выражаться в кибернетических терминах *black box*<sup>21</sup>. На входе в этот ящик: рассуждения, брошюры, сло-

ва; на выходе: церкви, армии, государства. Демонтировать этот черный ящик означает проанализировать факт передачи, т. е. процедуры преобразования одного состояния в другое. От мимолетного, расплывчатого и точечного состояния (слова, ретроспективно приписанные евангелистами Иисусу из Назарета в конце I в.) к состоянию осязаемому, демографическому и культурному, к сообществу, насчитывающему на планете миллиард христиан.

Доктрины не очень-то готовы открыть свои «черные ящики», поскольку, как правило, они отвергают собственные опосредования. Средство распространения всегда отвергается распространителем, который уже не осознаёт его. Поэтому у христиан не следует спрашивать об истории христианства, а у марксистов — об истории марксизма. Наилучшей передачей является отсутствие оной; хороша та дорога, которая не чувствуется под шинами. Одно из свойств всякой доктрины — проецировать себя в тавтологических терминах, мыслить свою судьбу как неизбежное свершение содержания, виртуально заданного в самом начале. «Становление-доктрины-силой» — на взгляд ее сторонников — всего лишь осуществление, реализация чего-то уже наличествовавшего, выявление ядра смысла, который присутствовал с самого начала. В конечном итоге, сама форма доктрины, идеологии или религии — форма окончательная, достигнутая посредством отпирательства от медиаций. По существу, сами идеологии воспринимают себя как епифании, вмешательства Бога или Истины в Историю. Вот почему совокупность средств, которые задействуются, чтобы сделать мысль эффективной, как правило, ускользает от мыслителей «высокого полета». В Евангелии мы не находим таких иерархи-

ческих слов, как «иерархия», «церковь», «епископ», «кардинал» или «Священная Коллегия». Аналогично этому, в «Манифесте коммунистической партии» мы не встречаем упоминаний ни о руководящем органе, ни о политике, ни о партийности, ни даже о государстве. Работа символов дает результаты без причины и теории, и рассмотрение этих результатов задним числом обязывает нас собирать отбросы философских систем, обрывки, невостребованный товар критического рационализма и гуманитарных наук. Диффузия, обнародование, распространение: деликатность «интендантских проблем» оставлена где-то в самом низу «ястребами» понятий, выброшена бесправным рабам истории техники или ментальностей; или все это передается смутной психологии толп — в промежутке между Ле Боном и Юнгом, — которая говорит о гипнозе, заражении, влиянии, внушаемости — но не об акустике, диапазоне, микрофоне, волнах, голосовых связках. Вульгаризация и вульгата остаются вульгарными словами: в Доме Отца не говорят о медиа. Какой марксист задавался вопросом, как рука Маркса (писавшая в комнате чернилами по бумаге) смогла произвести на выходе марксистских мыслителей и руки, сжимающие красное знамя? А теологи усматривают в распространении веры очередную *тайну*, доказывающую обоснованность Откровения. Средства оформления веры *in pise*<sup>22</sup> содержатся в ее первоначальном духе. Успех той или иной доктрины вызывает вопрос только у приверженцев конкурирующей доктрины (у тех, кто не верит глазам своим: как такая «нелепость», а не «подлинная», не их доктрина, сумела покорить умы и сердца). За это стародавнее презрение к трудам и дням внедрения приходится дорого платить. И при-

том — тем, что белая магия превращается в черную, когда *теории нечто вменяется в вину*, так что с неким содержанием изначального смысла соотносится «получившееся» из него зло, при опущении всякого опосредования (Просвещение — это тоталитаризм; Маркс — это ГУЛАГ; ницшеанский сверхчеловек — это эсэсовцы; подобные сентенции придают черную окраску бодрой и очаровательной песенке Гавроша: «Je suis tombé par terre / c'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau / c'est la faute à Rousseau»<sup>23</sup>).

Как бы там ни было, это явление очень хорошо описано у Маркса: «Когда идея овладевает массами, она становится материальной силой». Проблема же состоит в том, что мы можем вскрыть подноготную этого становления-силой, лишь повернувшись спиной к марксистскому понятию *идеологии*, которое не позволяет объяснить взаимодействие между идеями и событиями. Этот термин, придуманный французом Дестю де Траси в 1796 г., для обозначения «науки о происхождении идей», с большим легкомыслием был позаимствован молодым Марксом для обозначения всего производства символов в обществе. Делая это, Маркс, который зарезервировал свой материализм за производством материальных благ, продолжал соблюдать великое разделение субъект/объект, воспроизводство/производство. Материальное наличествует там, где мы имеем дело с такими серьезными вещами, как мануфактура и инфраструктура. А вот в сфере дискурсов, форм и идей, в надстройке, машины и материалы затушевываются. Марксизм принял за чистую монету идеалистическое определение мысли как субъективной обусловленности, располагающейся в мозгу индивидов, не поняв, что «идеологический» корпус есть дух некоего тела, кол-

лективный организм, который он воспроизводит и который производит его как некую оснастку для передачи. Марксизм не понял и того, что процесс мысли обладает *объективной материальностью организационного процесса*. Маркс не принял во внимание, что средства организации движения мысли зиждутся на господстве печатного слова и алфавита и предполагают таковое господство (народный университет, образовательная брошюра, библиотека партийной ячейки, обсуждение заявленных тезисов и программ на съезде, Неделя марксистской книги, журнал как «коллективный организатор» революционного класса и т. д.). Впоследствии марксисту Грамши пришлось открывать соратникам глаза на лакуны теории-матери. Его спросили, как надо переходить от доктринального элемента к повседневности, как (элитарное) знание может стать (народной) верой. Грамши принял всерьез *доксу* (мнение), столь презируемую рыцарями *эпистемы* (науки) — ту *доксу*, которая придает обществу или партии связность и жизненную силу. Он теоретизировал по поводу (интеллектуальной и культурной) *гегемонии* одного класса над другим. К несчастью, гегемония стала «словом для открывания чемоданов», универсальной отмычкой, когда предполагаемое следствие затемняет конкретно рассматриваемые причины. И как марксисты альтиуссерианского толка ни тянули обузу под названием *идеология* (взаимодействие идей при безмолвии носителей) по направлению к полю государства, как они его ни прицепляли к («идеологическим государственным») *аппаратам*, как они его ни наделяли «относительной эффективностью», это понятие все-таки остается искаженным из-за начальной оптики сущностной бессмыслицы (попав в

западню), из-за двоякой фантомности вещей, из-за ложного сознания: таково злоупотребление зеркальным отражением в глубине мозга, такова *камера-обскура* экономических факторов. «Идеология» — одно из наших наиболее упорных «эпистемологических препятствий» — ширма, которая не позволяет понять, почему, например, религия не является опиумом народа, или является не только опиумом, но и витамином для слабых (опиоманы не взрывают себя вместе с бомбами и не жертвуют собой в священных войнах). Теория отражения — идеология как опрокинутый и инертный образ реального в зеркале мозга — не дает понять, что религия (явленная в Откровении или секулярная) является не фантасмагорией в умах, но, прежде всего, динамикой территориальной и ментальной организации сообщества (если бы этого не было, религия не выжила бы). Медиолог стремится «деидеологизировать» идеологии, чтобы понять их воздействие, т. е. перейти от истории идеи к истории их передачи и носителей.

#### ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ КОД: ВОПЛОЩЕНИЕ

Пристально рассмотреть медиум, чтобы увидеть медиацию, или, наоборот, подойти к первому, погрузившись во вторую, — вот в чем различие между социологией или экономикой коммуникации и антропологией передачи.

Что означает часто упоминаемый и редко определяемый термин «медиация»? Это понятие, на первый взгляд, кажется абстрактным, вневременным и расплывчатым, однако язык так устроен, что мы можем уловить в высшей степени конкретное лишь через в высшей степени абстрактное (*здесь, теперь,*

я, ты — это еще и обобщенные и неопределенные слова, которые служат мне для обозначения того, что для меня является наиболее явным). Опосредование, *медиация* происходит от латинского глагола *mediare* «быть в середине, вставляться в промежуток», соответствующего прилагательному *medius*, «находящийся в центре, в средоточии; промежуточный между двумя крайностями». В противоположность *media*, обозначающему вещи в некоем состоянии, *-tion* в качестве суффикса обозначает *процесс*, с помощью которого медиатор, или посредник, располагается в промежутке между двумя или несколькими сущностями или реалиями. Этот посредник, или третий терм, устанавливает взаимоотношения между двумя терминами, каковые без него не вступали бы в отношения. Понятие медиации позаимствовано из философской традиции, а именно — у Гегеля, где философ обозначает им основополагающий закон развития духа. Этот последний — чистая деятельность, медиатизирующая или диалектическая активность. Он противостоит самости непрерывным движением по ее отрицанию и преодолению. Например, чтобы достичь какой-либо истины, необходимо пройти ряд тщательно исправляемых заблуждений. Тогда дело будет выглядеть так, что заблуждение опосредовало истину (которая представляет собой результат, а не пушечный залп). Или еще: моя внутренняя мысль может уловить сама себя и быть признанной другими, только овнешняясь в звуках разговорного языка. Звуки артикуляции медиатизируют мой дух. Таким образом, медиация служит средством для реализации самости. Это то, через что необходимо пройти, чтобы стать тем, что мы суть, потому что ничто (и человек — менее всего) не существует непо-



средственно. Всегда необходимо пройти через нечто иное, и этот переход — больше, чем просто переход (например, чем проезд автомобиля сквозь туннель) или просто пересечение; это — испытание, преобразующее изнутри. Так же обстоят дела с фактами передачи: это *процессы* (ничего мгновенного, необходимо помедлить); эти процессы представляют собой *приключения* (ничто не разыгрывается заранее, никакого автоматизма); а приключения эти представляют собой *метаморфозы* (под конец мы выходим из них другими, нежели были вначале).

Наша культура поместила у своего порога эмблематическую фигуру медиации: фигуру Христа. Иисус служил посредником (если угодно, третьим термом) между Богом и людьми, так как непосредственная встреча между ними невозможна. Ветхозаветный Бог не вступает в непосредственный контакт с людьми. Предвечный сам не выполняет своих поручений, ему необходимы агенты для передачи, каковыми являются ангелы, его почтальоны (*angelos* по-гречески означает «вестник»). Эти вольтижеры не работают подобно вольным стрелкам, они принадлежат к воинствам, иерархизированным соответственно упорядоченной шкале (*таксису*). И всякий ангел может стать демоном, всякий передатчик — прерывателем. Дьявольское и ангельское — две грани одной и той же функции (ангелология — это уже зрелая рефлексия об оперативных условиях передачи). Новый Завет предполагает посредника в виде Богочеловека; таков Сын (по существу, разделяющий два состояния или же объединяющий их в себе). И как раз этот третий (после Бога-Отца и Святого Духа), выполняющий функцию рабочей пружины, соединителя, моста, стал центральной фигурой нашей религии. Тре-

тий терм Троицы стал для нас (на католическом Западе) первым. Христос — это лишь, если угодно, путь перехода, но если я через него не пройду, то я останусь никем (всего лишь погублю свою душу). «Никто не придет к Отцу иначе, нежели через Меня»<sup>24</sup>. Догма о Воплощении делает из Иисуса Христа единственного в своем роде, всеобщего и непревзойденного посредника для грешников, каковы мы все. Мы можем спастись (и не оказаться в аду), только подражая Иисусу Христу. Который есть Слово, ставшее плотью, опосредованной человеческим телом.

Медиология переводит мистические решения в практические вопросы. Она делает из Воплощения сразу и модель (чтобы понимать профанные реалии), и проблему (ибо тайна, на которую эта проблема указывает — нематериальное, производящее материальные результаты, — должна объясняться иначе, нежели истиной веры). Наиболее поразительное в Воплощении (и многообещающее для любого, кто хочет понять, как формируется культура) — это «священное из постыдного». Христианская вера наделила тело основополагающим онтологическим статусом (что превратило ее в подлинную эллинскую ересь). Мысль о том, что материя спасает, была скандальной. Прежняя тюрьма, каковой считалось тело на протяжении тысячи лет эллинской или эллинистической мысли, таким образом, становится не тем, от чего души освобождаются, но тем, благодаря чему может состояться спасение души. В этом, кажется, и состоит (по-настоящему революционный) гений христианства: тело — средство контакта с Духом, путь доступа, а не тупик. Это и превращает его, если немного обратиться к текстам, в религию не эссенциалистскую, но материалистическую: религиоз-

ный материализм — парадокс, с которым медиолог может себя уютно почувствовать. Знак в христианстве не отделяется от вещи, внутреннее от внешнего: важное здесь состоит в «наведении моста», благодаря которому знак и вещь, внутреннее и внешнее пересекаются и оплодотворяют друг друга. Апостол Павел, в частности, подчеркивал физический аспект духовности: он побуждает христиан принести свои тела в жертву, бороться с язычниками тело против тела, но ему также принадлежит концепция Церкви как мистического тела Христова, членами которого являются христиане. Он не отделяет материальное от духовного. Так обстоят дела, например, с реальным присутствием хлеба и вина, каковое он превращает в духовное присутствие плоти и крови. Кроме того, апостол Павел говорил об апостолах, что они — *буква Христова*, написанная не чернилами, но Духом Господа Живого (*эпистола* и *апостол* по-гречески — одно и то же слово). Для Павла дух не существует помимо тела подобно тому, как христианин не существует помимо своего сообщества (вера либо является коллективной, либо ее нет). И вовсе не означает прибегать к «грубому материализму», когда мы говорим: мыслят именно тела, а не дух. Несомненно, апостол Павел воспользовался таким понятием тела ради дисциплинирующих целей, потому что у тела есть голова, и она повелевает: тело Христово есть Церковь, которая имеет голову, т. е. иерархию (помимо оправдания верой, уже присутствует внедрение монархии). В любом случае, распространение христианства воспользовалось центральной идеей этого Откровения. Оно свидетельствует, что если у нас нет тела, то ничто не передается во времени (ни слово, ни харизма, ни знание). Передавать

означает структурировать «со-бытие», ибо возвышение к Богу достигается совместно: в литургических действиях, в хорах, процессиях и паломничествах... Поначалу передача христианства воспринималась как спланирующая, созывающая и объединяющая «христианский народ». Тайна воплощения вырисовывается как величайшая интеллектуальная революция из всех, какие мы знали в истории двух прошедших тысячелетий. Именно благодаря этой тайне наступила христианская эра, возник Запад, и празднуется всепланетный юбилей. И как раз благодаря этой матричной догме на монотеистическом Западе присутствуют изображения, тогда как два других монотеизма их исключают; возможно фигуративное заступничество при божественном: мы стали цивилизацией живописи, кинематографа, а сегодня — еще и видео, благодаря Воплощению (Голливуд возник на II Никейском соборе, 787 г.). Ислам и иудаизм не обладают векторами этой «цивилизации образа», которая покорила мир, потому что для них физическое (и физический образ) не может служить носителем духовного (и жизни духа).

Все это может показаться весьма теологическим, туманным и архаичным. И напрасно. Ибо человечество практически ставит для себя лишь те проблемы, которые оно уже решило в режиме воображаемого (в форме тайны или догмы). И теология (богопознание) является первой формой, в которую облекается антропология (познание человека) возвышенная, если угодно — мистифицированная, но проясняющая, и даже brutальная, так как она движется к сущностному. В данном случае медиология представляет собой такую же профанную христологию, как и другие разновидности христологии (или, если угодно, меди-

ум, христологический диспозитив). Модель «Посредник в спасении» является перпендикулярной по отношению к тривиальным и светским планам.

1) Вначале нам возвещается, что ничто не передается само собой, что повсюду необходимы действующие посредники. Так, между любителями искусства и создателями произведений искусства наличествуют *вкусовые посредники*, каковыми являются *критики* (а также галеристы, хранители, школы изящных искусств и т. д.). Между верующими и Творцом имеются *посредники Бога*, каковы суть *священники*. Между слушателями и репертуаром есть *музыкальные посредники*, а именно — *исполнители*. Между гражданами и их городом есть *посредники публичной жизни*, имеются в виду *политики*. Между познанием и невеждами — *посредники в знании*, *преподаватели*. И так далее. Каждый новый медиум порождает новый тип медиаторов, например, Интернет вызвал к жизни Webmaster, который имеет тенденцию становиться кастой и, в свою очередь, создавать непрозрачность (Webmaster обладает возможностью издания, связи и цензуры).

2) Анализируемая модель сразу же напоминает нам, что этих «промежуточных звеньев» гораздо больше, чем средних термов. Так, музыкант-исполнитель вызывает к существованию произведение, не существующее в качестве инертного объекта перед нами. Музыка не есть некое «уже-здесь», которое ожидает нас от века, похоже само на себя и всегда начинается вновь. Это (ставший) результат разработки (всегда продолжающейся и имеющей обратные эффекты). Музыка существует только посредством своих медиаций («перформансов», исполнений). Музыкальный исполнитель не являет-

ся простой точкой перехода или согласования между слушателем и композитором; именно благодаря исполнителю произведение обретает форму и тело. Медиация — нечто большее, нежели «то, что находится посередине»; медиация обрабатывает то, что она медиатизирует. Она не довольствуется ни движением сверху вниз, ни предъявлением драхмы за переход (*traduttore, traditore*<sup>25</sup>). Медиация моделирует. Зачастую она переходит за рамки собственного агента. Она застаёт его врасплох. Она создает необратимое. Она превосходит намерения. Она не является программируемой — и может бунтовать против тех, кто ее программирует (партия против класса, Церковь против Евангелия, государство против нации и т. д.). Словом, это *событие* — посредством которого образ из черного ящика является недостаточным или неподходящим, в той мере, в какой *output*<sup>26</sup> оказывается несоизмеримым с *input*<sup>27</sup>. *Output* (католическая Церковь) одновременно и не соотносится с *input* (Иисус из Назарета), и имеет другую природу. Даже гораздо больше: историк христианства с позиций медиологии, Морис Сашо, показал, как церковный *output* по обратной связи произвел свой *input*, фигуру Мессии (с основным соединителем, Иисусом Христом), в обратном направлении по сравнению с тем, что может подсказать линейный и плоский образ передачи. Сила есть продукт собственного переноса. В двух словах: Христос — изобретение христианства (или Бог-Отец — изобретение Сына). Посредник находится впереди по времени, но сам этого не знает (Сын приписывает собственные способности своему предполагаемому Отцу). Эта реконструкция в обратном направлении образует живое средоточие нашего подхода.

Постоянно происходит так, что механический перенос информации сопровождается серьезными потерями. Не бывает передачи бесплатной, всегда надо платить какую-то цену. Окольный путь, упрощенчество, эрозия... Даже цифровые данные со временем стираются. Окисление отражающих металлов, затемнение защитных слоев пластмассы и даже более серьезное явление — исчезновение кодов для прочтения (случай в НАСА). Кроме того, интуитивно начали (при отсутствии потребности измерять степень искажения сигнала) заранее бороться с этим процессом деградации, совершая предупреждающий акт защиты информации. «Передавать» означает строить барьер от цунами. Для этого инертных носителей бывает недостаточно, необходимы «живые камни»<sup>28</sup>. Воплощение божественного послания в медиаторе спасения представляет собой мифическое моделирование этой необходимости. «Что может чистый дух, — спрашивал Жюль Ланьо<sup>29</sup> (великий профессор-идеалист прошлого столетия), — если он не начинает с того, что наделяет себя телом ради воздействия на другие тела?» Человеческое тело остается первым и последним медиатором смысла (как показывают ораторское искусство и самый незначительный диалог, когда слова воздействуют посредством интонации, мимики, позы). Индивидуальные тела возвратятся в прах? К счастью (для передачи недолговечных вещей из уст в уста) существуют не столь бранные и *трансиндивидуальные тела*: институты. Церковь, мистическое тело Христово, продлевает на этом свете физическое тело Иисуса, который вознесся на небеса, чтобы воссоединиться с Отцом. Она передает своим членам деяния апостолов, которых Христос, перед тем как умереть, наделил

способностью наставлять, отпускать грехи и управлять. «Вне Церкви нет спасения», — говорил Ориген (до Августина). В этом изречении нет ничего скандального для медиолога, интерпретирующего это как: помимо канала нет сообщения. То же относится и к антицерковному протесту, каковым было протестантское движение, жаждавшее индивидуального и непосредственного контакта со Словом Божиим (что стало возможным благодаря печатному делу и зачаткам системы обучения грамотности в городах). Тем не менее и протестантизму суждено было с самых истоков обзавестись органиграммой, синодальными собраниями, иерархией. Реформация поначалу произошла не только в головах верующих, а впоследствии, во второй прием, произвела пасторов, храмы, синоды, Женеvu и костры. С самого начала она была инвестирована коллективными практиками организации и заключалась в таких практиках; из двух этапов получился один. Несомненно, протестантские Церкви не являются посредницами божественного (в отличие от католической), и они обладают восходящей, а не нисходящей иерархией (через избрание, а не по назначению). Между тем, кальвинизм и лютеранство не избежали потребности в замкнутости, отношениях порядка и, в конечном счете, в ортодоксии. И если бы всё тогда превратилось в одну лишь пневматологию (учение о Святом Духе) и в харизматический порыв, если бы не нашлось место для законов, канона, санкций и дисциплины, то первенство, отведенное основателями протестантизма законам, канону и жизни души, вероятно, не смогло бы передаваться нам. Заплаченная за это цена зовется Мигель Сервет, заживо сожженный за ересь. Дело выглядит так, будто тепло первоначального вдохновения суме-



ло выжить лишь благодаря собственной противоположности, холодному институциональному принуждению.

Отсюда следует — ибо Воплощение обязывает, — что всякий, кто посвящает себя передаче, *ipso facto*<sup>30</sup> становится секретарем организации. Такая фатальность прочитывается в истории клерков<sup>31</sup> былых времен и сегодняшнего дня (что далеко от поучительных качеств этой профессии). Несмотря на предположение того, что интеллектual является «чистым духом» — выгодный камуфляж, как и чрезвычайно обманчивый термин «интеллектуализм», — канонизированный великий клирик — это прежде всего собиратель людей и строитель Ордена (подумаем сегодня об *Opus Dei*<sup>32</sup>). В противоположность изолированному и отрешенному мыслителю, спускающемуся в мир из монахов, интеллектual — это активист злободневности, и мандат интеллектuala как посредника Божьего среди грешников, посредника Истории среди воинствующих борцов, посредника-правозащитника среди потребителей, состоит в исполнении роли *go-between*<sup>33</sup> между Идеей и людьми, легитимным и реальным. Этот *воплотитель* превращает абстракцию в программу или в совет (принцу, Папе или генеральному директору). Раздираемый между небом и землей, кельей и уличной манифестацией, наш гибрид отличается острым чувством соотношения сил. Публицист (или оратор, или проповедник) создает федерацию, иерархизирует, интегрирует, отлучает. Такова функция «интер», человека как медиума [*hommédium*], превращающая его волей-неволей в работника аппарата: в посредника [*intermédiaire*], в *интерпретатора* одних перед другими, вмешивающегося [*intervenant*] в злободнев-

ные дела. Передача — не времяпрепровождение для девицы. Зачастую передача доходит до превращения чернил в кровь (свою или чаще — других). Фразер, о котором говорят, что он витает в облаках, — на самом деле дотошный, как нельзя более прагматичный (и не слишком симпатичный в осуществлении своих функций) тактик. Слова *educateur* [воспитатель] и *conducteur* [вожатый, вожак] — как мы помим — одного корня; и не столь уж далеко от директора школы до главаря банды (как сегодня сказали бы: сети), или от влиятельного человека до человека железного. Парадигма апостола Павла, Кальвина или Лютера в этом отношении как нельзя более красноречива, однако сюда можно добавить и более светские и современные имена (Фрейда, который был своим собственным апостолом Павлом, Ленина, этого апостола Павла для Маркса — если говорить только о покойниках).

Кто может предположить, что Страсть к посредничеству — всего лишь прогулка ради здоровья?

## ДВОЙНОЕ ТЕЛО МЕДИУМА

Теперь мы можем вскрыть живот *медиума*, чтобы представить его как своего рода анатомический срез. И тогда мы узнаем, зная, из чего состоит операция передачи, во что она превращается в наших исследованиях. Это пояснение (временное и поддающееся усовершенствованию) производится всего лишь с одной целью: осветить полумрак. Потому что — идет ли речь о людях или об идеях — все, что соотносится с наитием [infusion] или распространением [diffusion] и на что мы ссылаемся в таких терминах, как «влияние», «аура», «авторитет», «излучение» и т. д.,

остаются темными явлениями, наполовину скрытыми в очарованных, волшебных или пагубных полумосащенных зонах, что располагаются у границ метафоры и внушения; вплоть до Ренессанса в них господствовали оккультные силы магии (сумеречные области, по которым любил бродить Эдгар По — для него исток всякого движения состоит в мысли). Это объяснение или свертывание произойдет за счет известного «расколдовывания» (цена всякой педагогики).

*Медиум* — выскажем предварительное предостережение — не есть ни вещь, ни исчислимая категория предметов, на которые можно навесить ярлыки, глядя издали и невооруженным взглядом. Это место и функция в диспозитиве переноса. Повторим: медиум никогда не задан, это понятие должно разрабатываться случай за случаем и смотря по ситуациям. Медиум не смешивается с тем, что обозначается как «медиа» (*музей* есть общепризнанный медиум «произведения искусства»). А служит медиумом для В, когда В случается благодаря А и развивает свои последствия через посредство А. Когда объект *x*, какой не является медиумом ни сам по себе, ни во всех своих связях, фигурирует в функции медиума, то это как раз результат конкретного анализа. Например, кафе, коллоквиум или академия могут по тому или иному конкретному случаю послужить «медиумом», если только они послужат конститутивным вектором для складывания некой сферы коллективного влияния (например, идейного течения), играя роль матрицы для «наделения телом» какого-либо духа (что не мешает кафе оставаться местом, где утоляют жажду; коллоквиуму — местом, где скучают; а академии — местом, где говорят друг другу любезности).

Медиум, подобно Христу или королю из династии Капетингов, обладает *двойственной природой*, или двойным телом. Точнее говоря, медиум представляет собой телесность не в меньшей степени, чем материальность. В нем есть инструмент, и в нем есть жест, личный или коллективный; грань ОМ (*организованная материя*) и грань МО (*материализованная организация*). Алфавитное письмо, к примеру, является (техническим) процессом, социальная передача которого предполагает, с одной стороны, бумагу, перья самописцев, книги (неодушевленные передатчики), а с другой — школу, издательства, обучающие организации (одушевленных передатчиков). Здесь материальные носители информации предстают с самого начала взятыми, схваченными в («частных» или «публичных») организационных отношениях со стратегической функцией (офисы, центры, предприятия, кассы, комиссии, институты и т. д.). Стало быть, циркуляционный блок всякой эпохи имеет две части: одну — видимую, и другую — невидимую. Первая соответствует его материальной, или инструментальной, грани; вторая — грани институциональной, или органической. Напомним (гл. I), что, помимо *оснастки* (ОМ), именно присутствие или отсутствие *организации* (МО) отличает факт передачи (перенос информации во времени) от простого акта коммуникации (перенос информации в пространстве). Или еще: передача есть *коммуникация, сообщение* (информации) плюс *сообщество* (информантов и информируемых). Как говорит об этом Бернар Стиглер, «*кто — ничто без что, но и что — ничто без кто*». При этом *кто* обозначает не индивидуального субъекта, но именно: семью, школу, колледж, партию, клуб, министерство, ассо-

циацию и т. д. Отсюда еще одно различие: в противоположность акту коммуникации, передача никогда не бывает (только) межличностной. Чаще всего она способствует отношениям уже организованного деятеля (который может быть одиноким, но был сформирован неким коллективным «телом», к которому он принадлежит) и адресата, подлежащего организации или инкорпорированию (если он уже не включен).

Двойственное тело медиума соответствует двум сторонам одного процесса передачи: логистической и стратегической.

С одной стороны, имеется работа по организации неорганической материи: складывание сигналов на определенных материалах (надписи на листе бумаги или гравирование оцифрованной информации на алюминиевом диске) согласно некоторым специфическим процедурам. Эта работа производит аппарат памяти (логистику).

С другой, имеется работа по организации *socius*'а: формирование «противошумового» диспозитива — института, администрации или информации. В результате получается нечто вроде небиологического живого существа или неодушевленного актива (сообщества, созданного ради этой цели). Такая работа производит канал (стратегической) переброски.

*Технэ* и *праксис* обуславливают друг друга. Их сочетание превращает смысл, который доходит по адресу, в сочетание мертвого труда (материального носителя) с трудом живым (институциональной адресацией).

Подведем итог. *Медио* (в *медиологии*) покрывает совокупность необходимых инертных и одушевленных векторов для заданной эпохи или заданного об-

щества, ради продвижения смысла; или иными словами: все, что способствует сопровождению символа (или, что то же самое: отклонению его с пути). Отсюда следующая таблица:

<p><i>Медиум = носитель символов</i></p> 	
<i>Технические векторы</i>	<i>Институциональные векторы</i>
ОМ 1: <i>физический носитель</i> (статический — страница или магнитная поверхность; или динамический — звуковые волны, или волны Герца)	МО 1: <i>языковой код</i> (арамейский, латинский, английский и пр. языки)
ОМ 2: <i>режим выражения</i> (текст, образ, артикулированные звуки и т. д.)	МО 1: <i>организационные рамки</i> (город, школа, церковь и т. д.)
ОМ 3: <i>диспозитив циркуляции</i> (в цепочку, звездообразный, сетеобразный и т. д.)	МО 3: <i>матрицы формирования</i> (понятийная организация сообщения)
Грань <i>ОМ</i> (организованная материя)	Грань <i>МО</i> (материализованная организация)
= <i>Внешние векторы переноса</i>	= <i>Внутренние векторы обработки</i>

Эту схему можно распространить на сферу циркуляции следов и индивидов в ее глобальности. В таком случае мы получили бы два подмножества, здесь — соположенных, но в действительности — наложенных друг на друга, и притом в большом масштабе, в масштабе медиасферы (лого-, графо-, видео- или гиперсферы).

## ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИМВОЛОВ

*Медиа(логия) = конститутивные элементы способа переноса*

<i>Средства циркуляции (явные и отчетливо выделяемые)</i>	<i>Агенты циркуляции (внутренние или относящиеся к окружающей среде)</i>
1. <i>Носители как путь переноса</i> (дорога, экран, бумага и т. д.)	1. <i>Культурная среда как носитель</i> (культура римская, эллинистическая, западноевропейская, североамериканская и т. д.)
2. <i>Транспортное средство как средство переноса</i> (велосипед или автомобиль, алфавит или идеограмма, нарисованное изображение или фотография)	2. <i>Коллективное тело как проводник</i> (учреждение, мероприятие, институт-музей, редактор, школа, цепочка и т. д.)
3. <i>Сеть как средство переноса</i> (дорожная, печатная, частот Герца, цифровая и т. д.)	3. <i>Понятийный индуцирующий код</i> (способы внутренней конфигурации сообщения)
<i>= предметный мир</i>	<i>= жизненный мир</i>
Медиумы технотипические, объективные, картографируемые, с измеримым действием (скорость, поверхность, объем, дебит, стоимость и т. д.) <i>= OM</i>	Медиумы этнокультурные, носители субъективной, зачастую рефлексивной инженерии, коэкстенсивной деятелям и невидимой для них) <i>= MO</i>

Проверим эту понятийную схему по различным эпохам.

Что требовалось римскому всаднику в одноименной империи, чтобы отправить сообщение императора в какой-нибудь гарнизон *limes*'а? Если взять левый столбец (OM), то нужны: 1) мощеная дорога (Аппиева дорога, Домицианова дорога и т. д.); 2) конь;

3) глобальная сеть отправлений (почтовая эстафета, сеть лавок, гарнизонов, складов). А в правом столбце (МО): 4) латинский язык (чтобы кодировать и декодировать информацию, отправляемую или получаемую посланником); 5) централизованное государство, собирающее налоги и издающее декреты (*Senatus populusque romanus*<sup>34</sup>); 6) система коллективных репрезентаций (мораль, дисциплина, воля к власти). Если гипотетически убрать один из этих элементов, то всадник будет парализован. Либо физически (1, 2, 3), либо ментально (4, 5, 6).

В какие клетки поставить различные двигатели передачи христианской Вести в той же империи, в первые века н. э.? В левом столбце, для технических векторов: папирус + гомилия<sup>35</sup> (скоро наступит эпоха неодолимого *кодекса*); письменность, приближенная к устному языку; микросообщества бродячих проповедников-организаторов на морских и земных путях *Империи*. Имеются в виду ОМ 1, 2 и 3. В правом столбце — институциональные векторы: арамейский язык, за которым следует лексикон сообщения на греческом языке после разрушения государства Израиль (политический феномен с определяющими теологическими последствиями); неоиудейская секта, затем школа мысли, эллинистическая *схоле*; модель синагогальной гомилии, передаваемая моделью дискурса об истине на греческий лад (предвосхищая римский порядок). Имеются в виду МО 1, 2 и 3.

Перенесемся в другое столетие, и теперь обратимся к одному из изящных искусств, скажем, к живописи эпохи модерна (не к современной живописи). Где медиология расположит различные средства, способствующие переносу этого художественного производства? ОМ 1 = используемые материалы (пиг-



менты, масло, холст, рама и т. д.); ОМ 2 = внутренний диспозитив профессии (мастерская, академия, школа, ассистенты и т. д.); ОМ 3 = типы изготавливаемых объектов (переносные или неподвижные, картины, фрески, гравюры и т. д.). МО 1 = фигуративные коды (линейная перспектива, «манеры», или общепринятые условности); МО 2 = институциональная организация фабрикантов и устроителей циркуляции вкуса (музеи, галереи, коллекционеры, критики, оценщики из комиссий и т. д.); МО 3 = ритуалы: каталогизация, вернисаж, продажа на аукционах, празднования, группирование по школам или движениям, оценивание художников и т. д.

Само собой разумеется, мы выделяем здесь то, что должно быть задействованным, чтобы оказаться в состоянии — при всей невинности и спонтанности — произвести живопись как эффект, и на взгляд эстетов, и на взгляд художников. В искусстве люди настолько переплетаются со своими объектами, что мы уже не знаем, и, *прежде всего, не должны знать*, что относится к творению, а что — к восприятию, и произведение ли искусства творит субъекта вкуса или наоборот. Наша эстетизирующая история мировой живописи представляет внутреннюю последовательность уникальных творений; вместе с Эли Фором<sup>36</sup>, Мальро и Рене Югом (если говорить лишь о наших соотечественниках) она представляет великую воспитательную галерею деятелей-демиургов. Что же касается социальной истории искусства, таких имен, как Хаскелл<sup>37</sup>, Баксэндэлл<sup>38</sup> и Альперс<sup>39</sup>, то она сосредоточивается на посредниках-коммандитистах, коллекционерах, галеристах; назовем их скорее средой вообще, нежели медиумом в единственном числе. Эстет разыгрывает технический момент про-

тив институционального. Социальные же науки поступают, скорее, наоборот. Означает ли это, что можно взять сразу два столбца, непрерывно переходя из одного в другой?<sup>40</sup>

Если теперь я применю свою последнюю таблицу к телепередаче, которую посмотрел вчера вечером у себя в деревне, то я буду распределять свои «медиумы» следующим образом. *Носитель*: экран + катодная трубка. *Средство переноса*: электронный образ-звук, непосредственный или отсроченный. *Сеть*: сухопутная, частот Герца (ТДФ, филиал Франс-Телекома). *Среда-носитель*: франкоязычный культурный мир. *Тело-проводник* (индустриально-коммерческое публичное учреждение (Франс-2 или -3) либо частное (ТФ1, Канал +). *Индукцирующий код*: дом, материализованный через программную сетку, определяющий одежду, формат и жанр (*ток-шоу*, прямая трансляция, киножурнал, постановка и т. д.).

Эти диаграммы проясняются посредством следующих уточнений:

— Как бы содержание двух столбцов фактически ни перемешивалось, они не относятся к одному и тому же порядку. Школа-здание пойдет налево, школа-институция направо, но каждая имеет в виду другую (как Церковь — сразу и здание из кирпича, и Христова супруга). Столбец ОМ относится к порядку инструмента, артефакта, множества инертных, манипулируемых и, в конечном счете, отдельных элементов. Столбец МО, скорее, родственен порядку организмов, всеохватных и живых тотальностей сравнительно автономной жизни. Мы мыслим и осуществляем коммуникацию *посредством* ОМ, но в МО. Инструменты не позволяют избежать этого *фа-*

*тума*. Так, монах-отшельник с горы Афон воздержится от того, чтобы раскрывать уста или писать, но продолжит молиться на своем языке, связывающем его с его сообществом, в литургических формах, определяемых византийским цезаропапизмом. World Wide Web открыта всем языковым сообществам, однако мой сервер сообщает мне инструкции по-английски — отсылая меня, каким бы франкофоном я ни был, к определенной истории, к политически институтированному сообществу, в данном случае — американскому.

— Отличаясь здесь по целям анализа, эти сегменты индуцируют друг друга и являются исторически неразрывными. Изобретение *письменности* произвело текст (ОМ 1); новая система воспроизводства текстов, *печать* (ОМ 2), произведет большое количество объектов-книг (ОМ 3), неотделимых от технической и человеческой среды производства и распространения текстов (*мастерская + библиотека*), среду, вызывающую, в свою очередь, распространение и официализацию национальных языков (МО 1), различных институтов Республики Словесности — *академий, королевских библиотек, научных периодических изданий, кабинетов чтения* и т. д. (МО 2), несущих, в свою очередь, дискурсивные матрицы и уточненные формы общения (понятие и права *автора*, форма *корреспонденции*, *дискурс рецепции*, *салонная беседа*, «коммуникация» в научном обществе и т. д.). Причинно-следственные связи в пределах каждого циркуляционного блока никогда не обладают единственным смыслом и не бывают окончательно распределенными. Между тем, если в *индивидуальном осуществлении* символических операций ОМ работает в условиях и на условиях МО, то мы

признаем, что технические революции в столбце ОМ обуславливают более или менее длительный срок институциональных и ментальных эволюций в столбце МО. Будем настаивать на следующем: на всех ярусах здесь находятся производительные и преобразующие силы, имеющие конкретные эффекты (познавательные, воображаемые, социальные и политические). Ни один из них нельзя назвать инертным или нейтральным. Сказав это, мы не упустим из виду, что ярус потенции — в послании как снаряде — располагается в столбце «материализованная организация».

Систематизированная здесь концепция делает следующие выводы относительно привычного подхода к медиа (особенно в Инфокоме): 1) что этот подход дополняет привычный столбец ОМ столбцом МО (как правило, отсутствующим или недооцениваемым) и 2) что он не отделяет рубрики «коммуникация» от рубрики «сообщество». Ведь дело в том, что всякий носитель информации вызывает (и маскирует) определенные социальные отношения. И еще в том, что сами социальные отношения (не ведая того) индуцированы определенным машинным носителем. Диалектика носитель/отношения, ядро описываемого процесса, требует никогда не приносить в жертву один из столбцов соседнему столбцу. Связке «лицо/рука» как движущей причине очеловечивания (палеонтология) соответствует связка «техника/политика» как движущая причина аккультурации (медиология).

В данный момент мы можем в общих чертах рассмотреть обе схемы, вычитывая в них явления, которые приблизительно соответствуют двум континентам — Европе и Америке. Европейская традиция

соотносится с правым столбцом (институт), американская — с левым (оборудование). В столбце «Европа» мы получаем союз политического реализма и технического прекраснотворения; в столбце «Америка» — союз политического прекраснотворения и технического реализма. В Европе максимизируется аспект господство/отчуждение; в Америке — аспект производительность/эффективность.

От Эдисона до Билла Гейтса, если можно так выразиться, «линия Америки» перегибает палку, ориентируя ее на сильные стороны артефакта. Тенденция Маклюэна превозносит медиум, ставя его выше кода и среды. И даже столь тонкий историк коммуникации, как Роберт Дарнтон<sup>41</sup>, опускает в своем превосходном анализе маятникообразного движения между средами и средствами системы «Просвещение» (циркуляции следов) организационную роль этих разнообразных векторов<sup>42</sup>.

И наоборот, от Франкфуртской школы до Парижской, от «культур-индустрии» до «критической социологии» «линия Европы» наблюдает, в первую очередь, манипуляции, дозволенные артефактом (гегемонию, отчуждение или символическое насилие), ставя их выше объективных требований аппаратов. Так, Ролан Барт превозносит код независимо от медиума и среды. И у него всегда недалеко от высшей степени ученой семиологии до морального негодования и политического памфлета («Мифологии»). Здесь *праксис* подавляет *технэ*. Палку перегибают в другую сторону.

Каждый из континентов выполняет половину программы. Собираение кусочков предполагает «технизацию» культуры и «окультуривание» техники. Вероятно, упаковка информационных средств дает се-

годня преимущество линии Америки, как в мире, так и в самой Европе (ведь медиа служат средствами переноса именно благодаря их дополнению в виде «новых технологий»). И все-таки было бы неправильно противостоять им, исходя из классически и подозрительно «европейского» отношения к машинам как к махинациям. Америка, прежде всего, рассматривает автодорогу (субстрат, сеть), а Европа — дорожный Кодекс (плюс несчастные случаи на дороге). Важно переместить Кодекс *на* дорогу, чтобы стратегия одержала победу над инженерией. Сама автодорожная сеть представляет собой технологический подвиг (Web). Она может быть связана и со стратегическим расчетом (Эл Гор). Перестанут ли когда-нибудь играть в прятки друг с другом информатики и политики? Великие римские дороги, избороздившие Империю, отмечают собой не только страсть к строительству (большими объемами), но и волю к господству (с помощью стратегий). Эти дороги служили для того, чтобы по ним могли дойти до границ безжалостные легионы — за которыми, но в противоположную сторону, последовали посланники христиан и нашествия варваров. Ничто никогда не разыгрывается в одном направлении. Чтобы закрыть ножницы между Европой и Америкой, медиологу придется стать решительно евро-американцем, с чрезвычайно болезненной невралгией следя за соединительным дефисом (между аппаратным и программным обеспечением, *hardware* и *software*). Двойственному телу медиума тем самым будет соответствовать двойная национальность, или двойное сродство, его анатома.

Наконец, нам представляется более чем своевременным распространить понятие медиума на сред-

ства переноса и на физическое пространство. Ангелы, эти посланники Божьи, обладали крыльями для того, чтобы перемещаться — и такой же была богиня Победы. Доставка не останавливается — что вчера показало распространение религиозных посланий людьми, идущими пешком или едущими верхом. А впоследствии это показало распространение норм и *know-how* (сопровождающего товары). В частности, Одон Валле придавал большое значение «распространителям веры» в различные эпохи: капиллярности, трансплантации, нашествий по торговым путям<sup>43</sup>. Что же касается Франсуа-Бернара Юга, то он продемонстрировал роль шелковых путей в циркуляции секретов и мифов между Востоком и Западом<sup>44</sup>. Дороги создали и культуру, и наше воображаемое (к исторической роли дорог Римской империи в распространении христианской веры добавляется символика пути в опыте переживаемой веры).

После телеграфа Шаппа сообщение движется быстрее, чем вестник. Возможно, слишком быстро для того, чтобы успевало созреть сакральное (для которого требуются лабиринты, решетки и склепы), и чтобы можно было медленно помыслить возвышенное. «Отныне религиозная весть доставляется с фотографической и фонографической точностью. В прошлом остались лирические отступления рассказчиков, украшавших сакральные повествования. В прошлом остались и исправления копиистов, выправлявших Священное Писание. Сегодня образ и звук распространяют грубую истину, и можно задаться вопросом о том, мог бы сегодня основатель какой-либо религии приспособиться к передаче своего послания в реальном времени и к непосредственному эффекту «медиа». Наверное, ему пришлось бы

отступить на какую-то дистанцию по отношению к микрофонам и фотоаппаратам, приносящим славу при условии отмены тайны» (Одон Валле, «Распространители веры»).

Тем не менее охват передачи и переноса остается неизбежной задачей, даже после отхода скоростей на второй план, происшедшего в последнем столетии благодаря началу телекоммуникации. Очеловечивание и одомашнивание пространства идут рука об руку. «Человек начинается с ног», — констатировал Леруа-Гуран. «Освобождая одновременно и лицо, и руку, вертикальное положение, ставшее возможным благодаря двуногости, выводит в то же время на сцену членораздельный язык и ручные орудия труда. В возникновении феномена человека после зинджантропа палеонтологи усматривают глобальный и взаимозависимый характер системы «движение-хватание-фонация» — перемещение с места на место, работа руками и речь. Стало быть, вполне объяснимо желание охватить одним взглядом машины для перемещения в пространстве и интеллектуальные технологии. В этом интересе — не только любовь к велосипеду, автомобилю, мотоциклу или дороге. Прежде всего в нем — фактическая данность. Всякая медиасфера имеет дело в одно и то же время и с пространственной близостью, и с глубинами времени. В покорении вездесущности мы вот уже полтора века наблюдаем, что передача и перевозки движутся друг за другом в одной связке. Существует эффект взаимной сцепки — возможно, между речью и ходьбой, наверняка — между колесом и письменностью, каравеллой и книгопечатанием, пароходом и журналом, поездом и большой прессой, самолетом и self-media. Так, электрический телеграф (1848) спо-



собствовал расцвету железных дорог, телефон — возвышению автомобиля, радио — росту авиации. Телевидение входит в одну систему с ракетой-носителем (ретранслирующие спутники).

Если «символизировать» (от греческого *sym-ballein*) означает «объединять разрозненное», то все, что может связать людей через пространство, нарушая изолированность, имеет символическую цель. Объединяться на долгий срок означает *создавать территорию и способствовать становлению*. Способ создания территории зависит от средств передвижения; способ ускорения становления — от средств архивирования. Дискурсивная коммуникация — всего лишь часть межчеловеческого объединения — и, возможно, не самая важная. Техника (в противоположность тому, что мы называем «культурой») касается всех классов общества и, в особенности, средств перевозки, которые связывают человека с человеком, а также с природой. Всякий технический объект впечатывает на теле человека свои ритмы, и, в особенности, это касается наших транспортных средств. Именно включение физических скоростей превращает всякую медиасферу в *практическое* пространство-время, фиксируя известный *темп* внимания, и в то же время некий радиус среднего действия в пространстве. Оцифрованная гиперсфера (Луиза Мерзо) — это еще и планета, на которой количество туристов увеличилось с 25 млн (в 1950 г.) до 600 млн (в 1998 г.). Преобразуя наш внутренний опыт восприятия расстояния и отсрочивания, автомобиль, как и программное обеспечение, тяжелые транспортные самолеты, как и компьютерная мышь, изменили духовные данности постиндустриального человечества, а не просто мировоззрение (и антропологию

сегодняшнего дня, который забудет фитнес-клубы, путеводители для путешествующих автостопом и когорты третьего века под пирамидами и будет принимать во внимание лишь транзисторы, частоты Герца и кабельные сети, не удастся показать, что такое «мондиализация»).

Медиа различных возрастов сосуществуют и сотрудничают в мире знаков. Точно так же обстоят дела с синтаксисом транспортных сетей, с «интермодальностью» канал/автомобильная дорога/железная дорога/самолет — с разумными сочетаниями в зависимости от сравнительных преимуществ, свойственных каждой сети (грузовой или пассажирской, тяжелогрузной или для почтовых посылок и т. д.). И подобно тому, как медиа обмениваются между собой мыслями, совместно мыслят и транспортные средства, взятые в разрезе конкуренции и дополнительности. Автострада, железная дорога, воздух и вода находят друг друга и способствуют совместной валоризации. У каждого вектора свои ценности. Автострада культивирует индивидуальную свободу, инициативу, гибкость. Морской путь благоприятствует пейзажам и традициям. Первая потребность железной дороги — коллективная организация и дисциплина. Самолет мыслит и способствует жизни в планетарном масштабе. Склонный к мондиализации и транснациональный самолет открывает железную дорогу как «социал-демократическую» (транспорт разнородных масс), которая, в свою очередь, характеризует автомобиль как нечто индивидуалистическое и капиталистическое, тогда как водный транспорт культивирует экологию<sup>45</sup>. Всякое транспортное средство и любая машина — автомобиль, поезд, самолет, трамвай, велосипед, лодка — представляет

собой фактор социальной связи и должно рассматриваться как культурный факт (не меньше экономического факта). Вот почему один из номеров *Cahiers de Mediologie* был посвящен «автостраде» (мосты и покрытие, автодорожная сеть, информация по дорогам и т. д.), а другой — велосипеду, первому индивидуальному транспортному средству, позволяющему передвигаться в одиночку по маршрутам, не отмеченным дорожными знаками. Современность достаточно подчеркивает жизненно важный характер транспортных сетей, не замечаемый в нормальное время, но внезапно пробуждаемый каждым кризисом, каждой блокадой или забастовкой. Пойдем дальше. В долгосрочном измерении всякий тип перемещения в пространстве и продвижения включает некое пространство-время, вырабатывает свой тип личности, участвует в гуманизации (или дегуманизации) мира. Индивидуальные или коллективные, случайные или закономерные транспортные средства поставлены на кон цивилизации на тех же основаниях, что и аудиовизуальные средства, журнал или живой спектакль. На наш взгляд, Дирекция автодорог, например, относится к сфере культуры не менее, нежели Дирекция театров. И информационное пространство уже не может, как мы видим у стольких оракулов эры постмодерна, затемнять практическое пространство.

Подведем итоги. Медиология как дискурс может сводиться к рассмотрению истории двух пар С-М: сообщения и медиума, среды и медиации. Нам необходимо поэтапно пройти историю назад: от обусловленного к обуславливающему. Проиллюстрируем этот путь — в который уже раз — феноменом христианства. Так называемое евангелическое сообще-

ние (ведь, а это нечто иное, нежели высказывание) использовало в качестве *медиума* графическое и церковное тело (корпус текста + тело Христово, или Церковь), и этот медиум при формировании подчинялся условиям одной или нескольких *сред* (каждая со своими моделями мысли и поведения), каковые, в конечном счете, конфигурировали сообщение, которое мы неправильно считаем изначальным (*медиация*).

Как общее правило, для исследователя момент *сообщения* соответствует *прагматической* озабоченности (наперекор герметической зачарованности, ибо сообщение есть *праксис*). Момент *медиума* — озабоченности *технологической* (вступая в разрыв с языковыми дисциплинами, так как медиум есть материал). Момент *среды* — *экологической* озабоченности (чтобы исцелиться от мифов об интериорности, так как среда есть внутреннее/внешнее). А момент *медиации* — озабоченности *антропологической* (чтобы преодолеть фантомы истоков и сущности, ведь медиация является нашей судьбой как биологического вида: медиологический удел человеческий непреодолим). Рассмотрение эффективности символов обязывает нас провести работу сразу и по прояснению, и по расколдовыванию.

## ГЛАВА V — СОВЕТ ДИСЦИПЛИН

### ПРОЕКТ: ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

#### КАКИЕ ЦЕНТРЫ ПРИЮТИЛИ МЕДИОЛОГИЮ?

Медиология: мы избрали это новое слово отнюдь не для того, чтобы утяжелить им и без того достаточно перегруженный запас неологизмов новым словом. Словом, неизвестным батальону дисциплин... Эти шаги в сторону необходимо сделать тогда, когда невозможно поступить иначе. Сегодняшние университетские классификации охватывают указанную здесь область исследований лишь весьма маргинальным образом, да и то, когда не пренебрегают ею. Без документов на проживание, без институционального тыла — ей необходимо как минимум удостоверение личности. И не то чтобы дисциплины, занимающие видное положение, не могли великодушно приютить прохожего метека — на время и обыгрывая недоразумения. Но, при строгой классификации и в долгосрочной перспективе, такой приют был бы недолговечным. Рассмотрим мыслимые, но по сути — связанные со злоупотреблением привязки медиологии: к семиологии, к социальной психологии, к социологии, к прагматике, к истории.

#### *Почему мы не семиологи?*

Факты передачи символов образуют нераздельную часть «жизни знаков в рамках социальной жизни»

ни», предмет обобщенной науки, которую Соссюр в 1916 г., во введении в «Курс общей лингвистики», назвал «семиологией», причем лингвистика составляет лишь часть ее. А если так, то зачем выделять еще какую-то область?

Семиология — почтенная бабушка, значительно усилившая понимание человеческого мира. *Linguistic turn*<sup>1</sup> в свое время явил собой скачок вперед для всей совокупности гуманитарных наук, это была интеллектуальная революция (пока еще беспрецедентная), плодами которой мы продолжаем пользоваться, но пробивная сила которой вроде бы исчерпана. Это не основание выбрасывать ее за борт, потому что искатель должен не забывать, а нанизывать явления в цепь, не отрицать, а передавать. А для этого — признавать (преодолеваем мы лишь то, через что проходим).

Несомненно, теперь мы видим несколько разветвлений — и поколений — семиологов. Упрощенно говоря, первая ветвь, семиология основателей, восходит к Соссюру и, исходя из его структурного анализа языка, вращается вокруг идеи *кода*, как системы правил, сочетающих отчетливо выделяемые и противопоставляемые друг другу единства, ускользающие от сознания говорящего. Эта семиология (представленная во Франции именами Ролана Барта, Кристиана Метца, Луи Марена и других) вдохновляла в 50–60-е гг. издание журнала *Communication*. Она стремилась переносить или экстраполировать диакритический характер языка (двойную артикуляцию) на все сферы, где циркулирует смысл (живопись, кинематограф, реклама, мода, масс-медиа). Вторую, модернизированную и технизированную ветвь, «семио-тику» (с более серьезным, чем «-логия»,

суффиксом), можно связывать с американским логиком Пирсом. Это семиология в расширенном понимании, открывающая целую гамму знаков (со знаменитым трехчастным разделением, весьма упрощенным в ее «вульгате», на индекс/символ/иконический знак), уже не подчиняющая, и притом через понятие индекса, невербальное сообщение вербальному, и согласующая организацию смысла с прагматикой (или с изучением интерсубъективных отношений и конкретных отношений высказывания). Эта семиология, открытая и менее интеллектуалистская, чем первая, реинтегрирует в языковом акте жест, ритм, интонацию, интерсубъективные стратегии, а помимо этого — тело, аффективность, время, страсть (как делает Паоло Фаббри<sup>2</sup>). Она из всех сил старается порвать с логоцентризмом истоков, будучи неотступно преследуемой вопросами изначального, или совершенного, языка — от Раймунда Луллия до *эсперанто* (Умберто Эко является выходцем из первой, но эклектичным и плодовитым приверженцем этой второй семиологии).

В качестве «общего множителя» двух семиологий остается особая чувствительность: грубо говоря, чувствительность к знакам, которые предпочитают материальным векторам и диспозитивам. Таким был преднамеренный эффект строгой предвзятости, требовавшей преодолеть непрозрачность вещей, чтобы явить нам систему обездвиживающих эти вещи и затемняемых ими систему внутренних оппозиций. Ибо код обладает весьма примечательным свойством: он отделяется от своих конкретных проявлений, он — то, что автономизирует сообщение по отношению к его носителю, каковой, следовательно (как полагают), можно без ущерба вынести за скобки. Эта школа

подпитывается *sui generis* чувствительностью (которая у Барта, благодаря его литературному таланту, достигает непревзойденной вершины пронизательности и такта), сформированной из противоречивой, а, стало быть, соблазнительной смеси доверия и подозрения. *Доверие* к почти безграничной способности Логоса десубстанциализировать мир, отрывать вещи от их вещности, нарушать их историю и вязкость (то, что Барт называл мифом естественного), чтобы подчинять их синтаксису, который они носят в себе, о том не ведая: семиология — это аналитическая машина, предназначенная (и убежденная в возможности) вскрывать самую что ни на есть бронированную видимость, чтобы обнаруживать под ней код. Но это и *подозрение* — из-за уверенности в том, что правила игры играют самими деятелями, что изнанка карт им недоступна, а само общество представляет собой грандиозный механический конструктор, скорее, подозрительных ловушек (и только семиолог обладает способностью их демонтировать и сооружать вновь). Итак, смесь интеллектуальной *hybris*<sup>3</sup> (считающей, что структура содержит все, а у нас есть средства все структурировать) и моральной бдительности (не будем простаками и выправим неправильности). Медиологи чрезвычайно далеки от этих непомерных амбиций (пусть заговорит весь мир, когда мы раскроем универсальную грамматику социального...).

Торговый дом «Соссюр и сыновья» был ведóm «волей к знанию», направленной на *деисторизацию* и *дематериализацию* культуры. Семиология работает над законченным продуктом (внутренняя сеть релевантных трансформаций), считая процесс производства (с его принудительными условиями изготовления) завершенным. А также над продуктом *идеаль-*



ным, или логизированным, организующие «матемы» которого обходятся без всякого субстрата, так как с ним происходит короткое замыкание из-за произвольности кода. Однако же опыт показывает, что мы не можем отделить типы семиотики (или эффект значения того или иного типа знака) от диспозитивов вписывания и циркуляции. Так, *индекс* флюгера над колокольней отличается от индекса телевизионного образа; *иконический знак* византийской иконы — не то же, что иконический знак газетного клише. А фотографический «индекс» будет обладать совершенно несходной природой в зависимости от того, будет ли он использовать медную пластинку, негатив на стекле, желатино-бромидную бумагу, «Поляроид» с мгновенной проявкой или цифровые устройства. Как подчеркивает Пьер Леви, «диспозитивы коммуникации (выстраиваемой в цепочку — рукопись, звездобразной — телевидение, сетевобразной — Интернет) как минимум столь же важны, что и типы знаков»<sup>4</sup>. Субъективное (смысловые отношения) неотделимо от объективного (машины циркуляции). Чтобы перейти от кодов, структур и синтаксисов к сетям, машинам и векторам, или же от инертного пространства *значения* (отношения между дискретными единицами) к динамичному пространству *эффективности* (отношения между символами и актами), необходимо работать в другой стихии. В первом случае решающей инстанцией будет идеальность, логическая структура; во втором случае исследование выпадет на долю материальности, в ее организационном и материальном аспекте (сообразно двойному телу медиума). Семиолог завершил свою работу там, где медиолог начинает свою. На смену утонченным заботам герменевтики приходит грубость «техноло-

гической заботы» (Леви-Стросс). На смену отдыхающему индивиду (вроде говорящего или слушающего) — трудящийся коллектив (организованный организатор труда, стратегии передачи). А от *вневременного* среза (Ницше: «Излюбленный грех философов — отсутствие чувства истории») мы переходим к пути, *обставленному условиями* (функция хронологии), потому что обрабатываемая материя (ОМ) по условию обладает историей, историей машин и носителей (реальность, по сути, является *технической* категорией). Схематически говоря, критику *референциальной иллюзии* (чтобы понять знаки, необходимо вывести за скобки их референты, вещи, так как знаки сочетаются лишь между собой) медиолог заменяет критикой *иллюзии семиотической* (ведь в своей лженаивности вещи сопричастны смыслу, а знаки «живут» лишь между вещами). Когда мы перегибаем палку в сторону кода, мы подвергаемся следующей опасности: мы не позволяем одурачить себя материальности, но, в конечном итоге, нас одурачивает идеальность. А пытаясь чрезмерно дематериализовать идеальность, мы, в конечном счете, забываем внутренние правила построения сообщения. Всякой опасности свое время...

Можно ли сказать, что семиология, в конечном счете, девальвировалась из-за инфляции? Поначалу ведомая открытием внутренней систематичности языков и зачарованностью соссорианской моделью и ее головокружительными обещаниями научности, она постепенно оказалась раздерганной между игрой духа, празднеством вычурных, иногда алхимических, и редко убедительных подвигов — и переносным чемоданчиком терминов (отмычки обучают друг друга и без труда переводят каждая на свой

язык) для пользования аппаратов школьных и культурных кадров. И все-таки, несмотря на усталость от формалистических подходов, семиология отнюдь не утратила своей литературной ауры. Преимущество семиологии — в том, что она вписывается в гуманистическую и филологическую традицию «свободных искусств» (ставящих язык в центр социальной жизни), а за пределами Средневековья — в традицию экзегезы Библии, комментариев к Священному Писанию и его поношения. Семиотика когда-то (1960–1980) испытывалась на массмедиа и рекламе — и медиа, в свою очередь, популяризировали семиотические труды. Отсюда ее взаимовыгодная циркуляция между университетом и форумом. Попросту говоря, вместо того чтобы заниматься дешифровкой текстов знак за знаком, литературная критика заставила говорить стиральные порошки, велогонку Тур де Франс, автомобили и Джеймса Бонда. По существу, массовая культура превратилась в обширный гипертекст, а Университет почувствовал себя как дома в газетных новостях, расширяя аудиторию на улице. И как же? Распространяя один и тот же набор определений на живопись, на кинематограф, на танец, на моду и т. д., причем все выразительные формы дают возможность системной интерпретации, признавая разрывы, значащие для инвентаризации и комбинирования. Таким образом возникли серийные «словари», анализируемые по единствам коммутации, атомам звука (= фонемам речевой цепи) и смысловым или лексическим атомам (= морфемы). «Языковой» инвариант пересекает различные поля, и можно составить словари всего: жестов, спагетти, дамских костюмов от «Шанель», рекламных роликов и т. д. Пользуясь этим преимуществом, согласно ко-

торому разнообразные подмножества, сколь бы гетерогенными они ни казались, в конечном счете, отсылают друг к другу, хотя и в скорее повторяемой, нежели энциклопедической, цикличности, — по завершении анализа мы обнаруживаем постулаты, введенные в его начале.

Если семиотическому магистерия<sup>5</sup>, этому наследнику библейской экзегезы, суждено было передать центральную роль (в ученом мире) туманностям прагматики, то дети Соссюра еще увидят перед собой прекрасные деньки. Ультрамедиатизация чувственного с помощью новых технологий, скорее всего, еще вернет семиотический подход на причитающееся ему место, пользуясь его наилучшими чертами. Информатическое производство виртуального благоприятствует разгрузке материального мира в том, что касается символов, — откуда возникает игра стерилизованных знаков, вырванных из всякого социально-исторического контекста, отделенных от всякого принуждения со стороны правдоподобия. Какой-то кинематограф, ставший ироническим благодаря числовым трюкам, по образцу видеоарта разлагает, комбинирует и смешивает реальное, как если бы оно у самых истоков было уже культурой, одним из многих семиотических пространств, простым резервуаром произвольно преобразуемых мифов и других знаков (коллажи, выворачивание наизнанку, путаница, которые заставляют подумать о следующем изречении Маклюэна: «Дискурс одного медиа — всегда другое медиа»). Впрочем, оцифровка аналогических образов, перекодируемых в двоичный код черное/белое или содержание/форма, возможно, позволит провести грамматикализацию визуального<sup>6</sup>. В противоположность языку, где «существуют

лишь различия», образ представляет собой континуум, трудно поддающийся нарезке на более мелкие смыслоразличительные (по фонологической модели) единицы, необходимые для семиотической кодировки<sup>7</sup>. Но ведь *дискретизация* непрерывного потока (фильм, теле- и радиопередача), сведенного к системе дискретных элементов (каталог планов, движений камеры, интенсивностей освещения и т. д.), манипулируемых, как нам угодно, на экране компьютера (а вскоре — и на наших цифровых телевизорах), сблизит *видимое с читаемым*. Итак, тогда мы могли бы осуществить нелинейную навигацию во временных объектах, ведь видеотеки теперь к нашим услугам точно так же, как и библиотеки (с указателями содержания, голосов, персонажей, декораций и т. д.). Это — один из факторов, который может ориентировать образ на языковой знак — технологический триумф, свидетельствующий о себе самим своим исчезновением из глаз (или ушей) потребителя (*esse est percipi*<sup>8</sup>).

Столкнувшись с этим (образ стал расчетом, матрицей и уже не отпечатком; синтезом, а не хранилищем), медиолог продолжит оттачивать совершенство тяжеловесных машин, делающих возможным это испарение чувственного. Может быть, дело в чувствительности? Возможно, так как медиолог упорствует в (лже)наивной идее, согласно которой человек произошел больше от обезьяны [*singe*], чем от знака [*signe*] (в действительности, он их не противопоставляет). Медиолог упорствует и в том, что человек обязан своей человечностью прямохождению, а не какому-то символическому режиму (ноги освобождают рот). Этот антропологический *background*<sup>9</sup> играет решающую роль. Например, столкнувшись с седьмым ис-

кусством (*после* фотографии и *перед* телевидением), медиолог будет искать не *знную* систему знаков, кроющуюся под образами («язык кино»), но, *прежде всего*, некую *отправную точку* для взгляда из темного зала (которая способствует таинственным отношениям сакральной, неподвижной и безмолвной зачарованности цепочкой образов), аппарат растущей *проекции* (в противоположном смысле по сравнению с электронным *вещанием*), существующий во времени объект, гибкий и твердый, нитратный или же ацетатный *носитель* которого должен сохранять, контратипировать и, в конечном счете, восстанавливать *кассу*, поставленную посередине между тротуаром и кинозалом (кинематограф — это доходное удовольствие; желание, обостряемое тарифом) — словом, совокупность не языковых случайностей, которые обосновывают в едином целом всякое сообщение (вот этот определенный фильм), всякий код (кинематографический синтаксис) и медиум (кинотеатр), относительно которых семиолог избрал молчание, но без которых киносеанс, это коллективное зрелище, утрачивает вкус, запах и смысл, т. е. свое специфическое отличие в ряду визуальных искусств. Словом, медиолог будет мыслить скорее взгляд, нежели образ. *Quid*<sup>10</sup> кинообраза было неотделимым от его *quomodo*<sup>11</sup>; его собственное очарование — от совершенно тривиального, но чрезмерно определенного способа, каким он запечатлевается на наших сетчатках (таблицу см. ниже).

### *Почему мы не психологи?*

Факты передачи амбивалентны. Они представляют собой коллективную динамику, однако сотканы

из межиндивидуальных отношений, таких как влияние, убеждение, смена убеждений, конформизм, власть или же дорогая Тарду «зараза подражания». Может быть, эту область следует отдать именно социальной психологии? Ведь последняя, широко говоря, выбирает себе объектом явления, относящиеся к *идеологии и коммуникации*, в той самой степени, в какой в идеологии и коммуникации задействованы человеческие отношения — «отношения между индивидами, между индивидами и группами и между группами»<sup>12</sup>. Итак, мы не могли не встретить на пути эту переливающуюся разными цветами дисциплину (дисциплину для исследования и преподавания). С полным основанием социология отказывается от роли приложения к душе, подчинившейся *in extremis*<sup>13</sup> объективному детерминизму, выявленному ее старшими сестрами — социологией и политической экономией. Отнюдь не недооценивая остатки других дисциплин, эта интерпсихология стремится разместиться в средоточии социальных интеракций, подпитывающих разнообразные феномены мнения, верования и консенсуса, которые объединяются под именем «идеологии». Отвергая упрощенческое отделение индивидуального от коллективного и психического от социального, социальная психология задается целью анализировать неразличимое с помощью должным образом контролируемых экспериментов. Мы можем лишь примкнуть к нашей начальной гипотезе, согласно которой *отношения субъекта к объекту проходят через другой субъект* (именно этого недоставало схеме бихевиоризма «стимул/реакция»). К несчастью, в социальной психологии как будто предана забвению взаимность (отношения субъекта к субъекту проходят

через объект). *Праксиса* (воздействия человека на другого человека) не бывает без *технэ* (воздействия человека на вещи). Этот недочет придает неумолимо менталистский оборот «психосоциальному» подходу.

Между тем именно этому подходу мы обязаны проникновенными анализами механизмов создания авторитета, поляризации групповых решений, изменения позиций, влияния действующих меньшинств. Всегда полезно знать, что группы принимают решения не тем же способом, что и индивиды, а разумные личности, собравшись вместе, могут проголосовать за абсурдные решения. Или что — согласно опыту Мильграма — совершенно нормальные (без садистских склонностей) студенты, будучи в подчиненном состоянии, могут, выполняя приказ, без особого волнения нанести чрезвычайно болезненные электрошоковые разряды одному из своих товарищей. Полезно вспомнить, что мы не столь чувствительны к единообразию нашей группы принадлежности, чем к единообразию других групп. Или же что в группе, где проводится эксперимент, достаточно, чтобы незначительное упрямое меньшинство посчитало синий диапозитив зеленым, и сразу количество ответов «зеленый» существенно возрастет у остальных членов группы (не защищенной от подлога). Превосходная литература собрала со своих персонажей богатый урожай интуитивных данных, каковые небесполезно было бы систематизировать на «элементарные механизмы», которые впоследствии можно будет счесть более оперативными. Таков «когнитивный диссонанс» (Фестенже), согласно которому если две узанных вещи или два представления у одного индивида не согласуются между собой, то индивид



стремится ликвидировать противопоставление, чтобы избежать тревоги. Марсель Пруст не знал этой теории, но часто встречался с таким фактом<sup>14</sup>. Гуманитарные науки часто берут эти знания из вторых рук, а романисты и моралисты знакомят нас с ними с живой натуры.

Социальная психология работает с постоянной средой. Чтобы объяснить, например, популярность фашистской идеологии, вспомним такой индивидуальный психологический профиль, как «авторитарная личность» (Адорно). Стало быть, в человеке имеется некая устойчивая «потенциально фашистская» ментальная структура. Не имеет ли вероятность активации этого инвариантного потенциала (если считать его приобретенным) что-то общее с медиасферой? Не обязан ли Гитлер своим возвышением микрофону, радио, возвеличивающей дистанции грандиозных нацистских церемониалов? Дает ли сегодня интимный крупный план малого экрана такие же шансы догматичным, негибким или склонным к насилию личностям? Маклюэн, наверное, уступает наивному детерминизму, когда пишет: «То, что Гитлер вообще обрел политическое существование, напрямую обязано радио и системам публичных выступлений»<sup>15</sup>. На самом же деле это дьявольское радио настолько мало обязано «племенному тамтаму» (погружению в звуковое пространство), что оно смогло «породить» также де Голля и Рузвельта; ухо не является по природе «нетерпимым, замкнутым и исключаяющим», и экстаз может быть еще и визуальным (мы погружаемся еще и в *киберпространство*), а истерия — коллективной и аудиовизуальной (концерты рок-музыки). Тем не менее именно телевидение и ближний план изгнали с американской политиче-

ской сцены Маккарти, и в должный срок повсюду выдвинули единообразный профиль национальных лидеров и международный, узнаваемый всеми стиль лидерства<sup>16</sup>. Если этот вектор не приносит однозначных результатов, то его невозможно и вынести за скобки. Дифференциалы эмоционального овладения (лидера толпами) как раз и будут интересовать медиолога, и он объяснит их изменениями передаточной арматуры политических систем (см. таблицы из «Соблазняющего государства» [*L'État séducteur*]). Стили как поведения, так и веры невозможно изолировать от техник репрезентации, а также от когнитивных процессов. Наша компетенция является функцией наших орудий труда. Наш способ ориентироваться в пространстве или наше восприятие территории являются не одними и теми же в зависимости от того, умеем ли мы читать карту (ведь сама когнитивная техника зависит от наличия доступных дорожных карт, а именно — от конкретного момента в истории печати и дорожных сетей). Припоминание также не является чисто психологическим моментом, так как наши способности памяти зависят от находящейся у нас в распоряжении мнемотехники (письмо, книга, цифровая запись и т. д.). Аналогичным образом, когда я формулирую силлогизм или выстраиваю хронологию, то бумага, авторучка и алфавит — не просто вспомогательные приборы; они обуславливают мою когнитивную деятельность изнутри.

В равной степени неприятным для наших идей (но не для коммуникации, которая находится в фокусе социальной психологии) является исчезновение институциональных инстанций. Оно звучит отзвуком пристрастия Габриэля Тарда, неудачливого соперника Дюркгейма, к бесконечно малому, много-

сложному и гетерогенному (он атомизирует читателей газеты, эту «чисто духовную коллективность», в добавление к читателям, читающим печатный текст одновременно, каждый по-своему). Не продолжает ли микрофизика общения «тет-а-тет» быть непрменной принадлежностью снабженной стрелками коммуникативной схемы по Шеннону (источник-канал-сообщение-адресат), каковая является канонизированной моделью телефонной связи? Передачу во времени (идеи, чувства, проекта) схема Тарда делает результатом контакта между монадами, в рамках элементарного социального сцепления, «сцепления двух индивидов, к какому полу они бы ни принадлежали, из которых один духовно воздействует на другого». Тард, в принципе, исключает «коллективных гениев» (как метафизических идолов), а также «формулы развития» (социальный унисон является самотожественным на протяжении разных эпох). «Это доскональное соответствие умов и воля, образующее фундамент социальной жизни... представляет собой результат подражательной суггестии, которая, начиная с первого создателя какой-нибудь идеи или какого-либо акта, мало-помалу распространила его пример»<sup>17</sup>. Идиот, робкий человек и сомнамбула — вот, по Тарду, три фигуры социального человека (у которого есть лишь внушенные идеи, но который считает их спонтанными), по существу, безразличные к медиуму и среде. Это означает, что здесь мы найдем немного материализованных организаций и организованной материи, в сочетании каковых медиолог ищет секрет непрерывности изобретений.

*Почему мы не социологи?*

Между социологией и медиа существует естественное сродство. Если передача смотрит в сторону истории, то коммуникация касается, прежде всего, общества; и социология медиа занимает вполне легитимное место в нашем наблюдательном совете.

После изобретения термина «социология» Огюстом Контом в 1837 г. (есть и не прижившийся вариант «социальная физика») возникло много социологий. Сколь бы разнообразными (и противоречивыми) ни были эти варианты, даже если мы разделяем тот же отказ от сущностного анализа, искать убежище в «социальной науке» нам не дают две причины.

Социология центрирована вокруг индустриального и постиндустриального мира. Она говорит о настоящем времени, пользуясь настоящим временем глагола. Как фактическую ситуацию, она воспринимает «здесь» и «теперь» конкретного общества. Центральной точкой ее мишени не является непрерывность времени, т. е. тот ошеломляющий факт (которому после Огюста Конта редко кто удивлялся, например, немецкий социолог Зиммель, умерший в 1918 г.), что остатки прошлого продолжают существовать в настоящем. Ее основной целью не является поиск того, в силу какой тайны коллективная идентичность может проходить сквозь века и социальные системы (либо делать это через «воспроизводство» социальных ролей в замкнутой среде, без существенных материальных посредников). Она оставляет археологам памятники и следы, а наследие — хранителям (ибо слово «наследник» несет для некоторых откровенно пейоративную коннотацию). Короче говоря, ни память, ни мнемотехника делом социологии

не являются. Медиология — помимо мира эпохи модерна и современности — стремится стать равнообъемной истории в сильном и подлинном смысле слова, так как, стремясь зафиксировать инструменты и процессы запоминания, она задается вопросом, при каких условиях (объективных и субъективных) в каждую эпоху может существовать история. Итак, у своего порога медиология обнаруживает стелу, черту, глиф. Она мечтает даже раскрутить нить путешествия через изображения, задолго предшествующие письму, вплоть до ископаемых документов эпохи до неолита. И несмотря на скудость материальных свидетельств, медиология полагает, что многому должна научиться у доисторического периода, словно бы пройдя курс анатомии культуры, где лучше, чем где бы то ни было, обнажается техническое структурирование культур — осмелимся сказать, посредством сведения к костям средств перехода к человечности.

Наше второе возражение серьезнее. Социология не уважает предметы и упорно (потому что естественно) попадает в тупик технических переменных. «Никто не может перепрыгнуть через свое время»; и это безразличие сопрягает социологию с веком ее рождения, XIX. Само собой разумеется, технический факт формирует мировоззрение отцов-основателей социологии, которые не подвергают сомнению ее позитивность и (вместе с Сен-Симоном) принимают за трамплин индустриальную организацию общества. Но технология в социологии не изучается как сложная реальность *sui generis*. Для Токвиля она — имплицитный факт рассуждения и простой синоним обезличивания индивидов; для Дюркгейма — синоним организации труда; а для Вебера — синоним рационализации и расколдовывания мира. Между тем,

Конт получил политехническое образование (т. е. поначалу был математиком); Спенсер был железнодорожным инженером, а Ле Плэ — горным инженером. Но изменения в инфраструктуре протекали еще очень медленно, а оборудование казалось почти стабильной данностью первым представителям «социальной науки». Те, кто встретил на своем пути машины, сделали это, занимаясь исследованиями рабочих (Виллерме, Ле Плэ, Эмиль Шейссон). Идет ли речь о социологии «понимающей», или психологизирующей (Дильтей, Тённис, Макс Вебер), или же о ее французской сопернице, социологии «вещной» и «научной» (Дюркгейм, Бугле, Хальбвакс) — марксизм был отдален от академических сфер из-за своего экономизма, — человеческое поведение повсюду мыслилось независимо от «искусств и ремесел». Весьма значительное исключение, которое представлял Марсель Мосс («несколько лет я впадал в фундаментальное заблуждение, полагая, будто техника имеется лишь при наличии инструмента»), больше касается антропологии, чем социологии<sup>18</sup>. В послевоенной Франции Жорж Фридман<sup>19</sup> (генеральный инспектор технического образования, профессор Консерватории искусств и ремесел) и вдохновленная им социология труда представляют собой блестящее исключение из правила отсрочивания<sup>20</sup>. Опять-таки окольным путем организации труда (фордизм) и «рабочего вопроса», а также сквозь теоретический глазок «гуманизма» индустриальный артефакт вышел из тени. Сегодня социологический способ рассмотрения продолжает включать в себя технический факт как нечто несущественное или избегать его. Помимо тяжести восхождения, распределение дисциплин между, с одной стороны, экономикой, с дру-

гой — социологией, возвратило старую дихотомию: экономистам — вверху по цепочке — достается материальное производство (стало быть, техника); социологам — в конце цепи — потребление, применение, (общественное) присвоение. В этом университетском разделении интеллектуального труда нелегко сохранить союз технического и социального. Или, говоря языком «практического смысла» и «габитусов», сочетать «системы длительных и переносимых *диспозиций*, структурирующие структуры, принципы порождения и организации практик» (Бурдьё) с материально обусловленными *диспозитивами* освоения пространства и времени. Разве у социолога как *socius*'а<sup>21</sup> нет ни транспортных средств, ни часов, ни компаса, ни экрана? Похоже, что его схемы восприятия, мысли и действия ничем не обязаны тому, что у него в руках или перед глазами.

Нападки на эффекты символической гегемонии или доминации без учета их технологических причин представляют собой естественное свойство критического социолога, как и моралиста. Здесь опять же у каждого свой угол атаки. И дело не в неспособности каждого к работе другого, но в осознанном решении. Когда социолог (примечательным и полезным образом) описывает применение «фотографии, обывательского искусства», то он нейтрализует и свойства медиума, и его историю<sup>22</sup>. Непосредственное запечатление фотонов на светочувствительном носителе, это (химическое) событие, неслыханное в истории образов, изготовленных руками человека, является для социолога не проблематичной данностью, но явным предварительным условием. Вторжение «индексов» в цепь иконических знаков (1839), имеющее далеко идущие последствия; семиотическое корот-

кое замыкание реального присутствия; острота непосредственности, не ментализованной и не опосредованной сознанием, — мобилизуют медиолога (который непрестанно раздумывает над этим поворотом ментальности, вызванным оптико-химическим процессом), но не касаются социолога. Аналогичным образом этот последний может (и с большой уместностью) критиковать телевидение, пренебрегая настойчивой специфичностью сложных аппаратов<sup>23</sup> — что, собственно, и является потоком телевизионных изображений, по контрасту с другим *временным объектом*, т. е. фильмом, или же тем, что отличает диффузию электронного образа от его проецируемого *alter ego*. Нижеследующая таблица поясняет (перед их цифровым слиянием) то, что отделяло графосферу от видеосферы (видеообраз, в отличие от физического образа кино, представляет собой всего лишь электрический сигнал). И наоборот, специалист по процессам репрезентации заинтересуется цепочкой изобретений, оставив в тени их социальную рецепцию и связанные с ними случайности культуры. В сущности, насколько определенная история технических методов может рассматривать общества объектов без субъектов, орудий труда без пользующихся ими, — настолько же определенная социология может зеркальным образом воздвигать общества субъектов без объектов, трудящихся без орудий труда и инструментов. И самое удивительное, что мы привыкли к этому стерилизующему распределению ролей. Социологи-новаторы, которые — вместе с Бруно Латуром и Антуаном Эннионом — радикально перераспределяют карты (начиная с противопоставлений субъект/объект, действующий/получающий воздействие), удачно ставят это распределение ролей под вопрос<sup>24</sup>.



# СОВЕТ ДИСЦИПЛИН

	<i>Режим кино</i>	<i>Режим телевидения</i>
<i>Устройство</i>	<i>Проекции</i> (жесткий образ)	<i>Диффузии</i> (текущий образ)
<i>Предназначено для</i>	<i>сгруппированных индивидов</i> (коллективное зрелище, когда каждый ощущает себя одиноким)	<i>рассеянной аудитории</i> (у себя дома, когда массу образует каждый)
<i>Персонажи</i>	<i>Мишени желания</i> (физические отношения с телами кинозвезд)	<i>Носители информации</i> (социальные отношения с телами-знаками)
<i>Для</i>	<i>блокированного</i> просмотра (неподвижность и молчание)	<i>плавающего</i> просмотра (движение и говорение)
<i>Зависит от</i>	продюсера <i>Неопределенность</i> произведения (случайная публика)	распространителя <i>Предопределенность</i> продукта (функция решетки)
<i>В идеале</i>	<i>единичности</i> — каждый фильм есть некий прототип	<i>серийности</i> — передача со стабильными декорациями
<i>Связностью наделяет</i>	<i>автор</i> (сюжет безразличен)	<i>сюжет</i> (обработанный реализатором)
<i>Оптимальная функция</i>	<i>Эстетическая, дистанцированная</i> (подлинная жизнь — в другом месте)	<i>Социологическая, свидетельство</i> (подлинная жизнь — здесь)
<i>Темпоральность</i>	<i>время рассказа</i> (или бесполезный образ, с отклонениями и паузами) = чувство длительности	<i>время отсчета</i> («Надо поставить антенну») = эмоция мгновения
<i>Возвращение назад</i>	называется <i>«flashback»</i> (прошлое, припоминаемое как таковое)	называется <i>«instant replay»</i> (прошлое, возвращенное в настоящее)

	<i>Режим кино</i>	<i>Режим телевидения</i>
<i>Кадр</i>	<i>множественное пространство (крупный план/американский план/средний план/общий план<sup>25</sup>)</i>	<i>нормализованное пространство (всё — крупный план, больше крупных планов)</i>
<i>Дурной прием</i>	<i>инстанция гарантированного приема (архивирование и портфель) культура складывания</i>	<i>инстанция ненадежного вызова (работа аудиометра)  культура потока</i>

*Почему мы не прагматики  
(или не только) прагматики?*

Наши исследования выявляют определенное первенство «рамок», «фреймов» над логическим содержанием, свидетельствуя, что смысл сообщения (семантика) не имманентен ему, но истекает из мест его производства, из физического способа его написания и обращения в обществе, из природы коллективов — его носителей. Отчего бы не встать под знамя дорогой информатике и вычислительной технике школы, которая наделила «рамочные эффекты» причитающимся им местом: имеется в виду прагматика Пало-Альто (Бейтсон, Вацлавик и т. д.)? Дело в том, что человеческая, слишком человеческая прагматика — каковы бы ни были ее последние разработки — как нам кажется, обременена рамочной областью ее появления, психиатрией (Institute for Mental Research<sup>26</sup> стал колыбелью ее исследований). Клинические отношения между больным и врачом с самого начала поместили прагматику в контексты диалога, межличностных отношений и интеракций на интимном уровне. *Homo loquens*<sup>27</sup>, общение лицом к лицу,

а не *homo monens*<sup>28</sup>, общение на расстоянии. Эта теория метакоммуникации, к тому же, вписывается в «Логiku коммуникации» (так называется фундаментальная книга Вацлавика, Бивина и Джексона) — в которую она вносит необходимый и деинтеллектуализирующий вклад, делогизируя информацию посредством учета контекста, рецепции, невербальных операторов контакта. Прагматика возводила поведение и в высказывание, и над высказыванием, первичный индекс — во вторичный символ (т. е. в мимику, интонации, улыбки, покачивания головой), интерактивную алеаторику — в линейную (и телеграфную) механику «отправитель-код-канал-сообщение-приемник»; она наделила плотью *логос*, однако при радикальном отсутствии костей (памятник, инструмент, след); языковые игры остаются здесь альфой и омегой<sup>29</sup>. Прагматик может истолковывать себя как сопротивленца изнутри: такая реакция на логоцентризм приветствуется, но всегда находится в семиотическом окружении. Прагматики весьма неплохо рассуждают о сообщениях и метасообщениях и столь же неплохо их сгущают, не заботясь ни о носителях, ни о сетях, ни о транспортных средствах. Здесь тело в полной мере причастно высказыванию; оно разогревает холод, диалектизирует его, вновь наделяя его жизнью; но это — тело «сугубое», без протезов и *socius*'а, у него нет истории, и оно ничего не изготавливает. Продвигая коммуникацию к *практису*, сторонники прагматики, как нам представляется, забыли ее *технэ*, и, наверное, им можно сделать с медиологической точки зрения то же возражение, что и социальной психологии: конечно, отношения субъект/объект являются специфичными — но они не самодостаточны, — и еще меньше мы видим это

в передаче, где субъекты, редко вступая в непосредственный контакт между собой (коль скоро они не современны друг другу), испытывают потребность в опосредующих объектах. Медиология сочетается с той же чувствительностью, движется в ту же сторону, что и прагматика, и ощущает резонанс с такими формулами, как «коммуницировать означает вступать в оркестр» (Бейтсон). Но, прежде всего, медиология рассматривает музыкальные инструменты. Прагматика передачи не может быть простым добавлением к своей старшей сестре, так как, помимо смены масштаба, она предполагает еще и *историческую перспективу*, и *техническое сознание* — два измерения, чуждые парадигме прагматики как таковой, которая, даже не намереваясь ограничиться полем дискурса, в существенной части остается счастливым продолжением наук о языке.

*Почему мы (не все или не полностью,  
или пока еще) не историки?*

Феномен передачи сталкивает нас с историко-культурными явлениями. Отчего бы не обратиться к недавно утвердившейся ветви Истории, которая стремится заменить в роли локомотива этой науки экономико-социальную историю «Анналов» (1920–1960), каковая сама пришла на смену истории политико-дипломатической (1870–1920): имеется в виду *культурная история*? Выслушаем определение, которое дает ей Жан-Франсуа Сиринелли: «Культурная история есть история, занимающаяся изучением форм репрезентации мира в рамках некоей группы людей, природа которой — национальная или региональная, социальная или политическая — может варьировать

и которая изучает управление, выражение и передачу форм репрезентации мира»<sup>30</sup>. А вот определение Даниэля Роша: «Понимать опосредования, встречающиеся между объективными условиями жизни людей и бесчисленными способами, какими они репрезентируются и высказываются». Такова программа, в которую чувствует себя вовлеченным медиолог. И по той причине, что господство истории в массмедиа (телевидение, радио, иллюстрированные и литературные журналы) сочетается с естественным империализмом этой дисциплины, стремящейся пускать в ход все средства. Нам скажут, что культурная история сегодня — это почти всё (будучи всеядной, история обновляется, проглатывая каждый новый объект изучения). Но, во всяком случае, для нас счастье видеть, что — еще больше, чем это характерно для ее старшей сестры, истории ментальностей — культура здесь больше не сводится к идеям, к шедеврам, к великим именам, — но включает в себя «союз деяний, знаний и верований, на котором основаны способы культурного потребления». Следовательно, практики динамизируют реалии, как документ в широком смысле — написанные следы. Культура обретает физические устои, двигаясь «от погреба на чердак». Если сгустить краски, то она уже не «продукт человеческого духа», но человеческий дух — ее продукт. Наконец, культура перестает быть торжественной, погружаясь в густой раствор материальности и общения. Итак, скорее книга (или печатный материал), чем текст, и скорее практики чтения, чем книга как объект (Шартье). Скорее изображение Марианны на деньгах, чем Республика как идеология, и скорее скульптура или почтовая марка, чем абстрактная аллегория (Агюйон). Скорее колесо и авторучка,

чем символика путешествия, и, скорее поезд и велосипед, чем пейзаж (Катрин Берто Лавенир). Скорее «места памяти», чем Мнемозина (Пьер Нора). Вероятно, культурную историю от истории политико-символической отличает немало нюансов, но в обоих случаях мы видим, как духовное одушевляется и пробуждается благодаря материальному. *Децентрировать, материализовать, динамизировать* — три золотых правила медиологии находятся здесь *in vivo*<sup>31</sup> в тех историографических исследованиях, которые метят в окрестности других дисциплин, играют «от борта» и обретают внутреннее посредством внешнего. И неслучайно мы ощущаем особый долг по отношению к пионерам этого современного разлада, который продолжает быть стимулом. Неужели мы будем без толку заниматься спекулятивной суетой вокруг этих благотворных экскурсий, развивая идеологию сопровождения, подобно неким дамам-компаньонкам?

История как ведущая наука — слишком древняя, изобильная и объемистая, и поэтому ее нельзя поставить на равную ногу с недавно упомянутой молодой порослью. Для того, что связано с культурой, история — корабельный причал. Медиология, по уже существующей гипотезе, должна сопрягаться с историей отчасти как экология с биологией в естественных науках. Дюркгейм (это он-то, который признавал за обществом несводимость к чему бы то ни было!) как-то утверждал, что «всякая социология есть еще и психология, но психология *sui generis*». Ничто не может помешать нам продолжить эту мысль, сказав, что медиология — часть Истории, но истории культурной и *sui generis*. Ведь процессы (религиозной, идеологической и художественной) передачи вполне обо-

сновывают право на существование оригинальной, автономной, однако не независимой ветви большого центрального ствола. Хотя не надо забывать, что социальные ставки этих процессов (на страже цивилизации) неизбежно полемичны, а наша достопочтенная и непорочная Клио<sup>32</sup> не должна их усваивать.

Если бы мы могли применить здесь развернутую метафору, то сказали бы, что между монографией по символической или культурной истории и нашей решеткой макроскопического чтения существует такое же различие, что и между исследованием по географии растений и теорией экосистем (вторая не существовала бы без предшествовавшей ей первой). Это не превращает историю в чисто описательную науку, запрещающую мыслить, а также неспособную моделировать саму себя (география растений XIX в. уже включала понятийные рамки, предвосхищавшие центральные понятия экологии<sup>33</sup>). Организация разрозненных эмпирических случаев с помощью индексирования теоретических типов не сводится к преобразованию истории в простой мешок, наполненный явлениями, в резервуар сложных эмпирических вариаций, запрещающих концептуализировать — или упрощать — и сводящихся к топтанию на месте. Понятна настороженная сдержанность практика перед этой редукцией *ad exemplum*<sup>34</sup>. «Можно задаться вопросом, — замечает по этому поводу Роже Шартье, автор «Порядка книг», — не существует ли в этом разделении компетенций и труда чего-либо вроде (досадного) возвращения исподволь одной из наиболее традиционных «философских позиций» в методе, который, между прочим, радикально подвергает сомнению классические постулаты этой дисциплины. Как если бы назначением истории

было поставлять эмпирические материалы — которые «оскверняют» ее, превращая в эмпирическую дисциплину, — а призыванием медиологии нечто более благородное: «теоретически реконструировать эмпирические случаи, разработанные новой исторической операцией». Против этой «философской иллюзии» необходимо напомнить, что теория не всегда была там, где, как считают философы, она располагается, — и что ее присутствие, причем в практическом состоянии, в локализованном, конкретном, монографическом исследовании, может обладать большей интеллектуальной действенностью, нежели ее выставление напоказ в интеллектуальных конструкциях без уместности описания и без возможного подтверждения (или же неподтверждения)»<sup>35</sup>. Реагируя на это определение, можно задаться вопросом, действительно ли историческое исследование пригодно для того, чтобы тематизировать отношения, которые оно встречает на своем пути, никогда не идентифицируя их. Связная решетка описания и интерпретации может помочь историческому исследованию развернуть его доказательства — и притом, чтобы лучше запечатлеть дифференциалы ментальностей (в ту или иную эпоху истории) или же переменные сред (в ту же самую эпоху). История (совершенно аналогично социологии) может вводить регулярности в событийность и посредством идеальных типов наращивать постижимость неизбежно сложных случаев, все-таки не делая их эквивалентными родственным ситуациям (что потребовало бы чрезвычайно высокой степени обобщенности).

Отношения исторического исследования к мета-истории передачи не сводятся к одним лишь отношениям «идеографической» хроники с интерпрета-



тивной типологией или сингулярного с обобщенным. И к отношениям невоспроизводимого с универсальными отмычками. И к отношениям адекватного с приблизительным. Даже к отношениям конъюнктуры и структуры они не сводятся. Как и к отношениям протокола и гипотезы... То же касается отношений жесткого с эластичным или скованного со свободным. Правило повествования (ведь заниматься историей — это всегда более или менее рассказывать истории, о чем свидетельствует этимология) не привязывает медиолога ни к одной конкретной коллективной индивидуальности (ни к Китаю XIX в., ни ко Второй республике, ни к французскому телевидению). Он может бродить по пространству и времени между несколькими пространственно-временными контекстами. Отсюда — большая свобода теоретического воображения (Леруа-Гуран: «Чтобы достичь строгости в исследованиях, необходимо много воображения»). Сравнительный Разум — ибо сравнение не в экспериментальных науках есть эксперимент для бедняка — может послужить историк-у *сердечным стимулятором*; а историк компаративисту — парашютом смотровой площадки. И если мы должны *in fine*<sup>36</sup> вернуться к истории как к нашему принципу реальности, то будет благом отдалиться от нее на мгновение, чтобы дать свободный ход известной акробатической, эвристической и синтетической фантазии. Это отступление позволяет, возвращаясь на землю, преобразовать точечные наблюдения в средства построения более всеохватного знания (включая знания о непосредственном настоящем времени).

## ТЕХНИЧЕСКОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ, СОПРОТИВЛЕНИЯ И ОТРИЦАНИЯ

Предлагаемый нами здесь жанр анализа может быть принят без особого радушия, и важно понять — почему. Выйдем за пределы язвительных журналистских насмешек (исходящих из медиологической путаницы = критики медиа) и междисциплинарных распрей (какая наука? какой метод? какая территория?). Эти стычки относятся к настоящей войне (ибо какую эпоху ни возьмешь, на *Kampfplatz*<sup>37</sup> идей авторы ведут междоусобную войну). Часть игры составляют достойные короля Пикрохола<sup>38</sup> битвы за конкуренцию, а также карикатуры.

Более мотивированные разновидности сопротивления следует описать в глубинном измерении. Они имеют под собой хорошие основания. Необходимо рассмотреть их подлинную цену — столь много наставлений они могут дать нам. Рассмотрим по порядку их плюсы и минусы. Прежде всего, имеется внутреннее немислимое медиума. Если экология природы естественной для нас не является, то экология культуры еще менее естественна — настолько из-за сложности инструментов и пульверизации медиумов мы обречены верить в непосредственные столкновения со средой: опосредующие системы, как правило, представляют себя неприметными, тем более что «упрощение использования сопровождается усложнением сети» (Ален Гра). Так, холодильник скрывает в себе гигантскую сеть EDF<sup>39</sup> (вплоть до центральной электростанции), а хорошим будет тот медиум, который предоставит нам саму вещь (хороший фильм устраняет у зрителя всякую идею о съемке и озвучивании, о камере, микрофонном журавле,

освещении и т. д. подобно тому, как хорошая книга есть та, в каковой нам не приходится считать страницы или читать слова по буквам). «Медиум — сам себе ластик», — заметил Даниэль Бунью, добавляющий: «Всякий прогресс в сфере медиума скрывает средний терм и укорачивает маршрут доступа к информации, а медиология пишет маленькую историю спрямлений собственных путей». Клавишный микротелефон удобнее, чем телефон с циферблатом, а последний телефон удобнее рупорного, и все это отмечается в стандартах. Кино удобнее театра: эффект непосредственности всякий раз возрастает, и это ключ к удобству и к техническому прогрессу. Медиологический взгляд расстраивает такую игру. Он внушает беспокойство, потому что разрушает очарование, вскрывая механизмы магии. Нам прекрасно известно, что всякая система встроенных *габитусов* стирает опосредования. Так же обстоят дела с нашей «рецепцией» культуры: осаждение наносов в настоящем времени (верования, достоверности, интересы) затушевывает их перенос через столетия, случайный и полный мути, подобно тому как в горячем содержании напечатанного кроются холодные процессы печати, а в наших «естественных» предрасположенностях (способностях к рассуждению, воображению и формализации) — длинная цепь диспозитивов, вызвавших к жизни сами эти способности.

Когда мы перелистываем переписку г-жи де Севиньи, наслаждаясь ею, то как мы осмелимся думать о потребовавшихся здесь институтах передачи сообщений? А ведь это: 1) сильная центральная власть, способная содержать дорожную сеть, почтовые эстафеты, а также вознаграждаемый и постоянный корпус профессионалов, и 2) выючные животные, кон-

ные заводы, а, стало быть, в конечном счете, корпус военной кавалерии. Эти нежные и интимные послания требовали государственных сил и централизованной администрации. Но каковы отношения между эпистолярным искусством и военным делом?

Когда специалист по литературным формам изучает подъем романа в XIX в., думает ли он о механизации, позволившей издавать журнал с большим тиражом, использовавший множество фельетонов ради сохранения клиентуры? А о том, что без расцвета железных дорог была бы невозможной эта индустриальная журналистика? Впрочем, каковы отношения между железными дорогами и «Госпожой Бовари»?

Когда историк социальных идей рассматривает социалистические учения, то думает ли он о талере печатников, служащем нишей для его теоретических разработок? Вспомнит ли он о том, что «если мы не предоставим колыбель, то ничто и не родится» (Моника Сикар)? Впрочем, каковы отношения между линотипом и бесклассовым обществом?

Справедливо, что мы можем сделать подобное замечание относительно всякой критической рефлексии, воспринимающей жизнь и действие «в противоположную сторону». Медиолог сталкивается с более сильным партнером. Фактически возможно, что невидимость медиума представляет собой, так сказать, видимую грань *технического бессознательного*. И что незамеченное есть невоспринимаемое. Мы знаем, что неприязнь вызывает появление некоего бессознательного, каковому сопротивляются дважды, во-первых, как бессознательному, во-вторых, как технике. Фрейд дал имя «сопротивления» всему, что «в действиях и речах проходящего психоанализ противостоит его доступу в собственное бессозна-

тельное», а точнее говоря, психоанализу как такому, который навлекает на человека «психологическое раздражение». Раздражение той же природы, но социального порядка, вызывает открытие сразу и внешних, и внутренних механизмов того, что мы называем культурой, и создающих собственное бытие.

Между тем не обладает ли всякая медиасфера особым бессознательным? И не калькирует ли ее отчасти «ментальность»? Возьмем видеосферу. С одной стороны, нас называют «цивилизацией образа», говорят: «в среднем четыре часа в день мы проводим перед телевизором», «молодежь не читает, она клюет корм». С другой стороны, — и каждый может в этом убедиться — говорят, что «люди сегодня прагматичны; они позитивны, но консервативны; они не интересуются общими идеями, больше не ставят под вопрос общество; мыслят они лишь в настоящем времени и о самих себе. Помимо индивидов ничего нет». «Я не какой-то там «зеленый», я — это я». Допустим. А теперь посмотрим на характеристики записанного или аналогического образа (фотография, телевидение, кино).

1) Видеосфера игнорирует негативное высказывание. «Не-дерево», «не-приход», «отсутствие» — об этом можно сказать, показать этого нельзя. Возможность, программа или проект — все, что отрицает или превосходит реальную действительность — не «проходят» на малый экран. И притом потому, что этот тип знаков является *позитивирующим*. Если «образы мира» преобразуют мир в образ, «взятый из живой натуры», — то этот мир будет ни более ни менее как диалектикой, чередой самодостаточных утверждений. «A brave new world»<sup>40</sup>. По существу, лишь на-

писанное обладает маркировкой оппозиции и отрицания.

2) Образ может продемонстрировать лишь индивидов или «tokens»<sup>41</sup>, но не категории или типы. Он игнорирует универсальное и обобщенность. Стало быть, образ является не реалистическим, но *номиналистическим*: нет реальности, кроме индивида, остальное невозможно показать. Еще больше это относится к телевизионному образу, обреченному на крупный план. На малый экран никогда не выйдут ни аудиовизуальное, ни капитал, ни буржуазия, ни равенство или братство, но выйдут такой-то русский, вот этот человек, этот предприниматель или вот этот рабочий. «Все люди рождаются свободными и равноправными» — вот правовое положение, *технически* недоступное для образа, если не добавлять к нему комментарий.

3) Образ пренебрегает синтаксическими операторами дизъюнкции (либо... либо) и гипотезы (если... то). Игнорирует он и субординацию, причинно-следственные отношения и отношения противоречия. Ставки социальных или дипломатических переговоров — их причина быть, по существу, конкретными — служат для образа абстракциями. В образе отсутствуют лица переговорщиков, каковые являются фигурантами. Интрига обладает меньшим весом, чем деятель. Образ может действовать лишь с помощью сопоставления и добавления, в одном-единственном плане реальности, без возможности логического метауровня. Образная мысль не нелогична, но *алогична*. Она имеет мозаичную форму, без рельефа, т. е. многочисленных столбиков синтаксиса.

4) Записанный образ всегда находится в настоящем времени. У него всегда трудности со временем.

Можно быть лишь современником образа. Нельзя ни опережать его, ни запаздывать. Что такое длительность? Линейная последовательность эквивалентных друг другу моментов настоящего времени... Дуратив<sup>42</sup> («давно уже я стал ложиться рано»<sup>43</sup>), оптатив<sup>44</sup> («быстрее поднимайтесь, желанные бури...»), фреквентатив<sup>45</sup> («зачастую мне приходилось...»), предпрошедшее или сложное прошедшее время не имеют непосредственного визуального эквивалента (по крайней мере, при отсутствии voice-off<sup>46</sup>).

Что технически запрещено этим семиотическим режимом, то покидает сознание потребителя образов. Когда зритель смотрит на шествующие перед ним образы (определенного типа, так как не существует образа вообще), он не видит уже даже того, чего этот образ не может нам показать. И дело здесь в том, что записанный образ, в противоположность письменному дискурсу, не может мыслить сам себя, возвращаясь к самому себе (противоречие предполагает слова). Он мыслит нас, не мысля себя. А мы можем обнаружить его слепые пятна, лишь повернув ручку настройки — и, к примеру, открыв книгу (мы не можем всё показать, но можем всё написать, включая то, что не показывается).

Не будем забывать — у каждой эпохи свое бессознательное — что мы могли бы сказать то же самое и о графосфере, и что помехи для графического Разума являются не менее извращенными или пагубными, чем помехи для Разума иконического. Они попросту другие (или те же самые наоборот). Цензура тела, эмоциональной сферы и сферы множественных чувств, цензура индивидуального, несводимого к общему, цензура фактического и конкретного, цензура непосредственного присутствия — все это доро-

го оплачено (светлым будущим). И видеосфера может истолковываться как изнанка знаков письма, как обширная разгрузка тыла графосферы (для которого были характерны свои бессознательные издеательства над читателем и собственные зоны осушения, столь же приводящие в уныние).

Вытеснение медиумов проходит тем легче, чем неправдоподобнее — или незримее — детерминация. Объективно говоря, мы ничего не видим, да и видеть (почти) нечего, настолько сильна диспропорция между малыми размерами инфраструктуры и мощностью поверхностных эффектов. Вначале мы имеем видеосферу, это приведение в систему трех элементов: легкого и дешевого носителя, видеоленты (которая замещает целлулоид); земного вектора, пучка лучей Герца; и телевизионного спутника на орбите. На финише — воспламеняющееся со взрывом пространство-время (вездесущность + мгновенность), взрывающее институциональную «крышку» графосферы: доктринарные государства, централизованные нации, репрезентативные инстанции. А помимо этих политических разрывов — рождение первой цивилизации, получившей право, благодаря ее аппаратам телеприсутствия, *верить глазам своим* и постулировать *беспрецедентное* онтологическое уравнение: Реальное = Видимое = Истинное. Мы, по меньшей мере, прорвались в «бессознательное»<sup>47</sup>.

Медиологическая позиция точно так же внесет беспорядок в дела и в *philosophia perennis*<sup>48</sup>. С этой стороны медиум, как правило, воспринимается весьма плохо — это относилось к письму вчера и относится к образам сегодня, — а идея среды становится подозрительной (разнообразие языков, к примеру, никогда не удавалось как следует помыслить). Универ-



сальному столь же не по нраву материальное, сколь и локальное. Написав мифический диалог о пагубности письма (отрывок приведен выше), Платон обрисовал нашу изначальную сцену: письмо противостоит подлинной памяти, как внешнее — внутреннему, безответственное — ответственному, мертвое — живому, подобие — подлинности. Эти темы дошли до нас, будучи пробуждаемыми всякой новой экстериоризацией. Царь Тамус считает предпочтительным, чтобы между его голосом и подданными не было ничего (медиум как экран), а его высказывания оставались подле него подобно сыновьям, будучи сокрытыми процессом отеческого и неповторимого высказывания (телекоммуникация как лишение авторитета). Идеализм подразумевает нечто непосредственное, а это последнее не всегда облекается в форму мистической просветленности. Атеистический Разум является солнечным: он мечет лучи прямолинейно, без костылей и носителей, за исключением проплывающих облаков (обскурантизм). Не была ли «вспышка истины», происшедшая в разгар эпохи Просвещения, светской аватарой изначальной вспышки наших теологий, бога Солнца? Не кроется ли под нашими знаниями множество мифов? Начиная с «Пещеры» Платона, оптическая метафора (*theorein* = видеть) сопрягает идею (*eidos* = форма) с видимым и знание со зрением, и смысл является предустановленным, поскольку он избавлен от всякой материальности. Вероятно, беспримесное мировоззрение не является здесь изначальной данностью: оно вознаграждает за аскезу — за восходящую диалектику, изменение сознания, методологическое сомнение. Долгим и трудным может быть путь к прояснению, раскрытию и даже к интуитивному озарению.

Ведь и у солнца бывают затмения, и небо редко бывает голубым. Земная среда может отклонять «естественный свет» или замедлять его распространение; в таком случае дело субъекта — найти первую прямизну «естественного света» (как раз избавляясь от инструментов, оказывающихся посредине и вклинивающих между разумом и идеальным объектом, не позволяя обнаружить присутствие само по себе). Здесь мы не будем вдаваться в анализ метафор света в истории идеализма, а метафоры эти разнообразны и сложны<sup>49</sup>. Заметим только, что для рационализма большого стиля Истинное является трансцендентным по отношению к операциям его обнаружения; а Разум, благодаря предустановленной гармонии между умопостигаемым и нашим умом, представляет собой самодостаточный и даже самообосновывающий принцип. Эта не врожденная способность, заложенная в каждого из нас, не имеет ни малейшей потребности ни в инструментах записи, ни в сетях подтверждения, ни в ученых сообществах, чтобы возвратиться к собственным *априори*. Она представляет собой причину, а не следствие. Стоит ей проявиться, как всякая дискуссия может лишь угаснуть. Отсюда проистекает квазипровиденциалистский оптимизм относительно эффектов истины (можно брести и без пути). *Omne bonum est diffusivum sui*<sup>50</sup> — сказал один схоласт, и Ленин естественным образом подхватывает этот весьма мало материалистичный девиз: «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно». Любопытно, что для рационалистического идеализма характерно возвращение магической мысли к подобной вере в диффузионные свойства универсального (произнесите слово — и вы получите вещь), как характерно и непосредственное

влияние правильных идей (термином «влияние» постулируется то, что необходимо объяснить). Организовывать доставку истинного ни к чему. Знание политики не делает (ее делает Бог). И блеск истины не имеет ни малейшей потребности в «тыловом обеспечении» (солнце светит даром). Мнение обязательно будет следовать правому разуму. А *эпистема* (доказанное знание) тем временем отдаляется от *доксы* (вульгарного верования), как чистое от нечистого. Наука и есть это самое разделение: высказывание, оторванное от «шумов» процесса высказывания (высказывание чисто, сообщение имеет примеси). Можно сказать, что классический рационализм (тот самый, что отвергает Башляр, противопоставляя ему «феноменотехнику» экспериментальных практик) составляет единое целое с непризнанием его передаточных механизмов и подтверждающих опосредований. Ибо генезис научного высказывания является *нечистым*, как учили нас в своих исследованиях современные наблюдатели фабрики истинного — научные высказывания производятся экспериментальным способом, в ходе дискуссий и являются нестабильными (Бруно Латур).

Отвергая клонящие в сон причинно-следственные связи нарциссизма Разума, как и великие противопоставления схоластической традиции (буква против духа, внутреннее против внешнего, основание против инструмента), наш метод интегрируется в современное движение антропологии наук, которая склонна согласовывать наше пользование логикой языка с нашей интеллектуальной и материальной оснасткой (когда каждый термин продолжает другой). То, что способствует объективации разума — в социоинструментальном оркестре институционализованного по-

ля знания, — располагает разум как бы за пределами рассуждающего субъекта. Такая экстравертность, или взаимовложение «разум/сеть», оскорбляет наши наилучшие привычки. Обобщенно говоря, нам следует преодолеть значительное запаздывание слов по сравнению с вещами. Инстинктивно мы продолжаем принимать техносферу XXI в. в интеллектуальные формы и категории, придуманные в Греции в VI в. до н. э., наиболее устойчивыми из которых остаются для нас следующие пары статусных оппозиций — *логос/технэ*, *природа/артефакт*, *содержимое/содержащее*, *внутреннее/внешнее*, *субъект/объект* и т. д. — машинально управляющие умами, но как раз этим категориям мы обязаны известным интеллектуальным удобством. Здесь стоит отдельно рассмотреть Гегеля, уникальный случай абсолютного идеалиста, великолепно разорвавшего узы собственной традиции. Так, гегелевская «Эстетика» зиждется на типологии отношений выразительности между материальным и духовным (от архитектуры до музыки), а его «Логика» — на существенном тождестве внутреннего с внешним. Если отвлечься от этого восхитительного исключения, то западная мысль осведомлена об эллинской иерархии, и как раз с таким наследственным дуализмом, весьма заметным в определенном философском бессознательном, медиолог должен порвать, чтобы без робости и запоздания подходить к феномену культуры.

«Техника: одно из тех многочисленных слов, история которых не написана. История техник: одна из тех многочисленных дисциплин, каковые необходимо создать полностью...» — сетовал Люсьен Февр перед войной<sup>51</sup>. Кто не мог бы сказать, что философ пользуется такой дисциплиной, для которой техни-

ка с самого начала была «проклятой долей»<sup>52</sup>, вытесняемой, а то и исторгаемой? А историк обществ весьма нехотя говорит о хомуте, руле, часах, водяной мельнице — и *тем более* историк идей — о тростниковом пере, древесной массе и лучах Герца. Истоки обязывают. Причины греческого презрения или безразличия к технике прослежены уже достаточно<sup>53</sup>. Или же, точнее говоря, постольку, поскольку солнечный циферблат, клепсидра и Архимедов винт являются изобретениями классической Греции, речь идет об отказе греческой мысли от унижения собственной культуры машинами: о сакрализации Природы, которая рассматривает артефакты как в каком-то смысле святотатство (это табу отчасти снято иудео-христианским миром, для какового природа — уже не творческое начало, но сама создана Богом); отсюда проистекает предпочтение по отношению к *неизменному* по сравнению с факторами изменения; вездесущность *рабской* рабочей силы, которой достаются орудия труда, оставляла свободным людям привилегию *схоле*, обучения как досуга, и словесного искусства; недоверие к *внешнему* (двигатель человека инкорпорирован в него, но двигатель машины ей не принадлежит). Для Платона (у которого не было снисходительности Аристотеля к земным вещам) тело целиком относится к низу, оно — цепи и чернота, погибель и могила. Платоническая аскеза обязывает душу «прогуливаться самой по себе, будучи полностью отделенной от тела, как если бы она была узами для тела» («Федон»). В этой схеме материя, по существу, является злом. А душа — наш единственный шанс избежать зла. Здесь в нашем бессознательном и мифологическое препятствие № 1, и подлинная линия разделения догматов. Философы, верую-

щие в бессмертие души, могут сколько угодно презирать технику — каковая, как недавно разъяснил Бернар Стиглер, в конечном счете представляет собой способ, с помощью которого мы избавляемся от пут времени — прошедшего и будущего, отзвуков и предвосхищения<sup>54</sup>. Всякий спиритуализм есть в лучшем случае безразличие к технике, а то и технический пессимизм (Эллюль). Зато у тех, кто не прибегает к помощи эсхатологии, нет другого способа попытаться выжить, кроме объективации. Сегодня множество материалистов-технофобов и те, кто никогда не читал речей Диотимы (души пьют воды Леты перед тем, как вернуться на землю), разделяют теорию припоминания Платона, не ведая об этом. На свой лад подобные атеисты всегда верят в божественность души.

Как мы видим, для «друзей Идей» сопротивление медиологической перелицовке основано на Разуме и Мифе. И не только потому, что медиология понижает уровень возвышенных тем, раскрывая объятия для тривиальных и интеллектуально недостойных предметов (велосипед, бумага, дорога, телеуправление или портативный приемник), и собирается «резвиться» в весьма темных индустриальных предместьях, где философы редко избирают местожитительство<sup>55</sup>. Но еще и потому, что методичное применение кратчайших «проселочных» дорог и спрямлений спутывает традиционные координаты и бодро пробегает сквозь рубрики, каковые схоластическое зонирование изо всех сил (и успешно) старалось отделить друг от друга. Сбой неоспорим. Диагональ сочетает между собой поля, которые с незапамятных времен предпочитали не обращать внимания друг на друга. набросок материальной истории абстракции или же

организационной истории интеллигенции обязывает не только к сносу перегородок, но и к перестановке тонического удара, вопреки здравому смыслу.

Если претендент-медиолог метит не так высоко, как чемпион-семиолог, который действует в рамках раскроя, унаследованного от логоцентризма, то его «низкий полет» предусматривает большую отвагу, так как он подрывает распорядок логоцентризма (семиолог утончен; медиолог смел). Один пример. Что обычно говорит интеллектуал об интеллектуалах? Что это люди идей и ценностей, одиночки, обращенные к абстрактному, без чрезмерно земной заботы об эффективности. А что говорит здесь медиолог? Что интеллектуал с самого рождения в виде клирика в христианское Средневековье — в противоположность монаху-созерцателю — является посредником между человеком и человеком. У интеллектуала есть некий проект влияния. Это — оперативное, а не субстанциальное определение. Каково действие, свойственное этому городскому оптимисту (рожденному вместе с городом и действующему в городе), проповеднику/доктору/профессору/публицисту (чрезвычайно склонному к общению, а не одинокому, как богомолец или поэт), всегда являющемуся членом какого-то института или корпорации (церковной, монархической, университетской или медиатической), или связанному с такими институтами или корпорациями; реализующему некий проект или занимающемуся воспроизводством власти? Управлять сознанием других, а не заботиться ни о спасении своей души, ни о поисках истинного или благого (в отличие от ученого и художника). Таково ремесло управления. Что такое управлять? Внушать веру (говорят Гоббс и Черчилль). А как внушить ве-

ру? Проводя коммуникацию. А еще щедротами. Это *sine qua non*<sup>56</sup>. Техник дискурса (или торговец словами) приспособливает свои таланты и характер к имеющимся в наличии средствам коммуникации — он считает, что переговоры можно вести обо всем, кроме доступа к его средствам управления (это подтвердилось в годы Оккупации: приоритет носителям). Средства управления развиваются в ходе истории вместе с усилителями речи: кафедрой, эстрадой, трибуной, печатной мастерской, студией и т. д. Где — как мы видим — в каждую эпоху происходит перегруппировка западного *Homo medium* (который связывает великие принципы с текущими событиями, а ценности с днями, оценивая вторые в свете первых)? Вокруг вектора наиболее благоприятной амплитуды. Черета выразителей влиятельных мнений на протяжении одного столетия, нашего, осуществляет смещение центра тяжести «духовной власти» (Огюст Конт) и паломничеств гегемониальных интеллектуалов (Антонио Грамши) с университетского очага (1870–1920) на издательский очаг (1920–1970), а затем на очаг массмедиа (1970–2000). Наблюдаемый в течение длительного периода (по поступкам, а не по речам), политик мысли, каким является интеллектуал, оказывается столь же акустически зависимым, как и просто политик: он направляется туда, где слово «несет содержание», и может лучше всего размышлять о «людях, идущих в счет». Интеллектуал, прежде всего, является человеком эффективности, интеллект приходит после (вопреки видимости, интеллект интеллектуалу определения не дает<sup>57</sup>). Вполне возможно, что этот способ рассмотрения — несмотря на видимость — причастен к расколдовыванию мира...



Медиологическое *требование* (которому медиолог, само собой разумеется, может, в свою очередь, не удовлетворить) является не просто раздражающим и как бы непристойным. С полным основанием его можно считать и скучным. Входить в подробности технической эффективности того или иного готового факта означает погружаться с головой в мотор, подобно вульгарному механику (дадим бой идеальностям, слава идеалам!). «Шикарный» радикал, смешивающий возвышенность тона с высотой мысли, не найдет здесь для себя ничего; ничего здесь не найдет и наша спекулятивная лень, и наша вполне понятная жажда писать слова с прописных букв. «Феноменотехния» очищает идеологии, но делает она это с помощью отработанной смазки. Различие в подходе — и по стилю — может рассматриваться в сравнительной трактовке «спектакля» ситуационизмом<sup>58</sup> и медиологом. Для первого спектакль — *понятие*, престижный синоним *отчуждения*, иллюстрируемый тем или иным примером, избираемым в современности. Для второго это — отчетливо определяемый *диспозитив*, *материализующий* в конкретном месте «семиотический разрыв» — например, театральную рампу, ряд искусственных светильников, отделяющих сцену от зала, драматургический эквивалент топографической карты (пространство для игры), отличающейся от территории (публика, зрители). Этот диспозитив отрыва и дистанцирования располагается в истории методов репрезентации. Ситуационист (а он — моралист) может обойтись без периодизации «общества спектакля» (когда оно начинается? В боях гладиаторов? При Людовике XIV? При братьях Люмьер? С изобретением телевизора?), как и не показывать, чем именно воздушный гимнаст под купо-

лом цирка отличается от тореро на арене (где быки не возвращаются приветствовать публику по завершении корриды), или что отличает мессу от *love-parade*<sup>59</sup>, а матч по регби от дефиле при показе моды, или от праздника в театре. Спектакль для ситуациониста является категорией обезличенного отвращения без машинной индексации, и в нем смешиваются — ночью все кошки серы — опера, кинематограф, пип-шоу, музей, цирк, медиа и т. д., автономная *идеологическая форма* без аппаратов и генеалогии. Медиолог будет кропотливо рассматривать *материальную форму* и ее исторические аватары; он покажет, как «рампа», этот посредник зрелищной репрезентации, начала преодолеваться с появлением образа-индекса в 1839 г., а каскад процедур, причастных к непосредственному, к возникшим впоследствии *live*<sup>60</sup> и он-лайн, вплоть до отсылки ритуалов дистанцирования к более или менее холодной помпезности<sup>61</sup>. Там, где медиолог видит агонию, ситуационист видит пришествие чего-то. Первый действует в туннеле, посредством анализа; второй — ловкостью рук и с помощью афоризмов. Первый досаждаёт, это сапер; второй нравится, это вольтижер. Но больше склонен к подрыву, возможно, не тот, о ком так думают...

Систематизация методов медиологии могла бы вызвать головокружение: в такой степени она открывает ненадежность «естественных» столпов нашего восприятия вещей. Помимо нового почитания конкретных инструментов мысли и наших носителей памяти — работы, достаточно далеко продвинутой такими пионерами «интеллектуальных технологий», как Джек Гуди, Элизабет Эйзенштейн, Фрэнсис Йейтс, Бруно Латур, Пьер Леви, Бернар Стиглер, Моника Сикар и т. д. — речь, по сути дела, идет о но-

вом способе описания мира и рассказывания историй, согласно тернарной (включая медиум), а уже не бинарной, логике; стало быть, расставаясь с греческой почвой. На этой стадии необходимо стряхнуть ярмо теологии, создающей неравенство уровней, ленивой, но упорной, располагающей в начале Творца, а *потом* творения; в начале исток, *потом* эволюцию; в начале нагую обезьяну, *потом* орудия труда для помощи ей; в начале центр, *потом* окружающую его среду; в начале вещь или идею «здесь», *потом* ее перенос «туда»; в начале изначальную цель, *потом* подчиненные ей средства; в начале проект, *потом* его выражение; в начале доктрину «вверху», *потом* ее применение «внизу». Это переворачивание трудно помыслить. Нелегко принять для себя самого, и еще труднее заставить принять других, что изначальная точка полагается задним числом (христианство создало Христа, а не наоборот); что техника изобрела человека, а не наоборот; что внешнее есть также и внутреннее, а центр выводится из периферии, а не наоборот; что перенос идеи преображает ее; что мыслят именно тела (если нет сознания, кроме «телесного»); и что мы принимаем решения о наших целях благодаря нашему оснащению, а не в обратном порядке. Стало быть, нельзя сказать, что *вначале* была мистика, а *потом* она «деградировала» в политику, и Пеги, поставивший воплощение Бога в центр своего творчества, не впадал в такое упрощенчество. Ведь дух — ничто без тела, и то, что мы называем мистикой, есть напряженная до максимума «пружина» политической воли, передающая свою энергию посредством разрядки (отнюдь не опошление, но свершение).

## СНЕСТИ ЕЩЕ ОДНУ СТЕНУ

«Бесплодие угрожает всякому труду, который не-  
престанно провозглашает собственную волю к мето-  
ду», — заметил Ролан Барт к концу жизни. Фактиче-  
ски именно когда он сам забыл собственный метод  
(всю семиологическую оснастку), он создал наиболее  
вдохновенное произведение («Camera lucida»). Не  
выводя отсюда обратных и постоянных отношений  
между методологической настойчивостью и творче-  
ской производительностью, будем усматривать здесь  
приглашение избегать всякой преждевременной ко-  
ординатной сетки и стандартизации. Ведь прагма-  
тизм, в конечном итоге, приличествует прагмати-  
ке, а отстаиваемый здесь подход должен снабдить  
сам себя правилами, которые он применяет к другим  
дискурсивным формациям. Медиологическим мето-  
дом будет то, во что превратят его пользователи, ко-  
торые будут подрывать его, овладевая им. Примат  
отношения над содержанием постулирует, что нет  
отношения, отделяемого от сингулярного высказы-  
вания. Отсюда следует, что *способ* исследования —  
по счастью, более близкий к практическому умению,  
чем к способу употребления — не является автома-  
тизируемым. Всякая «медиография» (термин Ива  
Жаннере) будет непрограммируемым приключени-  
ем, пересечением по касательной регистров и сред,  
где решать о смысле будет сам маршрут<sup>62</sup>. Обобщен-  
ный дискурс станет чередой конкретных путей.

Мы можем, схематизируя на свой страх и риск,  
предсказать, в каком направлении эти пути пойдут.  
Начнем с отказа считать картину картиной, т. е. с  
рассмотрения того, что на ней нам не показано и что  
нам позволяет видеть картину. «Когда мудрец пока-

зывает на луну, идиот смотрит на палец». Медиолог без стыда изображает идиота. Он располагает в центре интендантство и переносит внимание с *ценностей на векторы*, или с содержания веры на формы администрирования, пропаганды и организации, служащих этой вере арматурой. Если взять весьма избитый пример об «интеллектуальных истоках Революции» (идеи 1789 г.), то медиолог стремительно пробежит по доктринам, чтобы рассмотреть средства переноса, связывая человека с улицы с канонизированными «великими авторами» (Вольтером, Дидро, Руссо и т. д.); все это безымянное море пасквилей, песен, публичных слухов, молвы, пересудов, клеветы, афиш, листовок и т. д., ценность коих недавно повысилась благодаря таким историкам, как Роберт Дарнтон и другие<sup>63</sup>. Но это пока всего лишь потоки речи, добавляющие к книжному складу сразу и более текучую, и более обширную гамму знаков (где устная речь весила гораздо больше, нежели в ее реконструкциях, каковые можно произвести апостериори). Помимо передаточных звеньев и узлов коммуникации, медиолог будет интересоваться матрицами формирования неслыханных сообществ (если восходить от органа к принципу организации). Эти неформальные промежутки, характерные для эпохи Просвещения, на пересечении идей и институтов, какими были логи, общества мысли, залы для обсуждения проектов, салоны, кружки, провинциальные академии, клубы — вся соединительная ткань, связывающая полюса социального притяжения с центрами интеллектуальных разработок, — перенесут тогда внимание медиолога со сцены на режиссуру. Или с хранилища знаков на машины порождения смысла («Революция, дочь Просвещения»). Тогда книжный магазин

покажется более достойным внимания, нежели литература, распространители слухов — нежели авторы, места свидания — нежели общие места, а «бюро духа» (мадам де Тансен) — нежели великие мыслители. *Эпоха Просвещения* под этим углом зрения — не совокупность политических понятий, не порядок новых оснований, который можно пройти до конца посредством дискурсивного анализа; это *переворот в логистической сети изготовления/складирования/циркуляции знаков*. Имеется в виду возникновение смещенных узлов общения, интерфейсов, служащих носителями новых ритуалов и упражнений и функционирующих как производители общественного мнения. Совершенно предварительный вывод: с помощью смещения тел-посредников происходит реорганизация стыковых моментов сознания — на фоне стремительного роста городов, растущей грамотности населения и инфляции газет и журналов (Себастьян Мерсье: «Разумеется, в Париже читали вдесятеро больше, чем было сто лет назад, если мы учтем множество мелких, разбросанных повсюду книжных магазинов»). Французскую революцию осуществили не книги, но эта вездесущая логистика, относительно которой нет теорий (и без которой идеи никогда не оформились бы). Именно этим до некоторой степени характеризовался шедший против течения метод Огюста Кошена, историка французской Революции с монархическими взглядами, этого преждевременно родившегося Маклюэна, совершенно неизвестного; ему принадлежит афоризм, более глубокий, хотя и не столь общеизвестный, как «medium is message»: «Метод порождает доктрину»<sup>64</sup>. Он, в частности, показал все, что имел в виду переход от такого общества, как «Святое Причастие» в 1650 г., к «Великому

Востоку» в 1780 г., к этой уникальной (и для нашего автора — противоестественной) группировке людей, объединенных на равных началах не в силу наследственности или условий жизни, но всего лишь по собственному произволу. Беспрецедентное функционирование этих произвольных и капризных ассоциаций внушало их членам, посредством своего рода спонтанного заражения, что переоснование общества с помощью декретов и калькирования великого на малом является возможным и желательным. Имеется в виду поэтапный переход от обществ равных, где принципом отбора был ум, к обществу равенства на философской основе. Сила таких идей заключалась в организации их носителей, а социализация той или иной доктрины находит своего преобразователя (который, в свою очередь, преобразует ее) в новых привязанностях тех, кто, социализируя ее, непредвиденным образом социализируются сами. Слово «передача» произносится не ультракаатоликом — сторонником Хартии 1814 г., еще меньше это касается слова «коммуникация», а медиолог (республиканских убеждений) почувствует эти слова своими.

Говоря в общем, в том, что касается «истории идей», рекомендованная индексация возводит текстуальные содержания (идеологию или «науку») к матричным *организациям* (школы, партии, Церкви), и от последних — к практическим *векторам* распространения (медиа в строгом смысле слова). Всякое отграниченное и сложившееся множество (само собой или через номенклатуры применения), заявляющее о себе как о непосредственной данности, замкнутой и неприкрашенной тотальности, будет рассматриваться как *опосредованное*. При этом

ставится вопрос о знании, посредством которого это множество было *медиатизировано* (и донесено до нас). Вопрос теперь таков: не «в чем это состоит», но «как это держится — или как смогло продержаться?» Так, медиологическая история социализма как живой идеологии стремительно пройдет через произведения, программы и движения («научного», «утопического», «христианского» социализма и т. д.), если рассмотреть формы обработки и незримой (на взгляд читателя) поддержки «идей-сил». Тогда будет установлена связь между рождением первого Интернационала (1864), изобретением ротационных машин (1860), созданием Лиги образования во Франции (1866), скачком, имеющим отношение к «Малому журналу», вместе с появлением машины Маринони (от 50 000 экземпляров в 1859 г. до 600 000 в 1869 г.) и прокладкой трансатлантического кабеля (1866). Технология письма, если переходить к коллективной памяти, предусматривает упорядоченную квалификацию (читать/писать, декодировать/кодировать), а также множество селективных компетенций. Партия авангарда в этой технической культуре представляет собой увенчание газеты, первой стадии коллективного интеллектуального, с «талером» в качестве соединительной черты между рабочими и (передовыми) интеллектуалами. Рикошетом выделится архитектура-носительница, треножник газеты/книга/школа (кадров), которые сами по себе неотделимы от отчетливо выделяемой, полуремесленной и полуиндустриальной, стадии механизации памяти. Ниже политической ватерлинии располагаются живые произведения «Титаника», которые придают плывущим на нем братьям-врагам вид семьи, распознаваемой среди остальных — великая семья, потерпевшая сегод-



ня кораблекрушение из-за устаревания типографии, применяющей тяжелый труд. Столкновения идей, аппаратов и личностей, столкновения между ветвями рабочего движения — анархо-синдикализмом, социал-демократией, сталинизмом, троцкизмом, маоизмом и т. д. — служили (чисто «идеологическим») экраном, располагающим между протагонистами и экосистемой их регулятивной идеи, т. е., грубо говоря, типографии со свинцовыми литерами<sup>65</sup>. Печатники, интеллигенты и педагоги — три проводника непрерывности в пролетарской среде — были ведущими деятелями срединной эпохи печатных носителей, которая открывается изобретением паровой ротационной машины (1850–1860), распространяется с изобретением линотипа и завершается видеокомпозицией (1970–1980). И, будучи розовой, эта эпоха прожила ровно столько, сколько на Западе живут розы: чуть больше столетия.

Существуют мертворожденные дисциплины, напоминающие обман зрения. Но их известно немного среди наиболее содержательных, которых когда-то при рождении объявили жизнеспособными их предки (а для последних речь шла не только о внешней конкуренции, но и об отъеме территории, т. е. о весьма основательном умерщвлении). Как сделать легитимными подходы, не соответствующие критериям легитимности, принятым в тот или иной момент ученым сообществом? Вопрос классический и повторяющийся вновь и вновь, на который не существует хорошего (теоретического) ответа; всякий метод более или менее нового анализа наталкивается на *double bind*<sup>66</sup>. Либо этот метод будет сходен с уже гомологичным: в этом случае, чтобы подавить сопро-

тивление, он вычеркнет все оригинальное, что в нем есть, ради «возвращения в оркестр». И у него больше не будет оснований к существованию. Либо же этот метод будет акцентировать отрыв от нормы, и тогда окружающая среда отбросит его в свой фоновый шум. И он вообще перестанет существовать. Если бы процедуры, которые могут в один прекрасный день составить новый метод как знание, были гомологизируемыми с самого начала, т. е. соответствовали уже признанным нормам, то проблема «новаций» не ставилась бы. Как говорит Морис Сашо: «Квалифицировать себя означает подвергать себя классификации. Подвергать себя классификации означает терять себя»<sup>67</sup>. Как показывает опыт, такие спекулятивные дилеммы решаются не попытками спекуляции, но практической организацией, отправляясь от кулис или периферии (периферия является центральной, и кулисы решают всё). В делах «наук о человеке и обществе» четко очерченные и ныне чтимые в своих контурах дисциплины не могут осуществить собственную медиологическую историю, которая натолкнула бы их на их «нечистое рождение» (*inter faeces et urinam nascimur*<sup>68</sup>). Не будем забывать, что они тоже представляют собой *опосредованности*, завершения цепочки авторитетных актов разграничения (или саморазграничения). Внутренне/внешние цепочки, в значительной степени случайные, смешивая ученую произвольность с административным произволом, зависят от конъюнктуры, от национальной среды, от отношений политических сил... и от более или менее коварной энергии организаторов соответствующей сферы. Институционализация, при переходе от экстравагантных кружков к общепризнанной дисциплине, как правило, происходит в

порядке дисперсии, и если все средства хороши, то можно установить константы этого процесса на протяжении столетия. Каким бы ни было предприимчивое воображение инициаторов, можно различить обязательные для всех общие точки прохождения: хитроумное перемещение номенклатур (возникшая от *социальной философии* 1850 г., *социальная наука* 1870 г. все больше принимает имя *социологии* к 1890 г., как и *mutatis mutandis*<sup>69</sup> семиология 1850 г. становится семиотикой 1980 г.); обретение статуса обществами, коллегиями и ассоциациями частного права (например, Парижским социологическим обществом в 1895 г. и Международным комитетом семиотики в 1969 г.); создание одного или нескольких журналов, коллективных организаторов ученой среды (например, *L'Année sociologique* или *Communications*), затем, ради более отчетливой публичной видимости, создание коллекций изданий (у уже признанных издателей, во Франции — таких как Félix Alcan, Mame или Le Seuil); добавление еще одного термина к заведующему кафедрой педагогики (кафедра «образовательных наук», занимавшаяся Дюркгеймом с 1906 г., стала с 1913 г., согласно постановлению министерства, называться «кафедрой педагогических наук и социологии»); впоследствии — создание университетского курса по перепрофилированной лицензии, претворяя в жизнь решение национальной комиссии специалистов (или секции Национального совета университетов), с привлечением авторитетных профессоров и т. д. Становление-наукой представляет собой *cursus honorum*<sup>70</sup>, когда интуиция оппортунистических отношений перевешивает — и значительно — эпистемологическую строгость (здесь нет ничего нелегитимного на взгляд медиолога, для

которого сеть и разум весьма регулярно сочетаются между собой<sup>71</sup>).

Дисциплины образуют основную силу университетских факультетов, которые взамен позволяют им царствовать. Справедливо, что междисциплинарные перегородки стерилизуют, и этим пользуются схоласты. Отсюда — в ответ — идея прибегнуть к *интердисциплинам* (так называются «НИК», науки информации и коммуникации, которые черпают свои модели объяснения, или парадигмы, в разнообразных сложившихся науках). Термин соблазнительный и, так сказать, покладистый (иногда он означает какое-то смешение, так как относится к произведенным наспех смешениям и разношерстным заимствованиям). *Интердисциплина* может быть живым именем неполноценной дисциплины. На этом основании — даже если всегда хорошо довольствоваться одной дисциплиной (и даже при возможности двумя или тремя), медиология, эта подруга Гермеса, бога дорог и перекрестков, воспринимает себя как взаимодействие между наследственными вотчинами наук, обманами и переходами. В нее можно войти и ее можно обходить через несколько ворот, при отсутствии особого царского пути. Стремительное рассмотрение великих предков, от которых мы ведем отсчет (и когда мы видим столько же въездных ворот, сколько и мест пребывания), было предназначено не для того, чтобы нарезать землю на участки, выделяя клочок для себя, но для того, чтобы лучше осознать себя среди соседей и лучше себя с ними ассоциировать. Ведь границы не исключают добрососедство, но, наоборот, делают его возможным. Во всяком случае, анафема и баррикада несовместимы с медиологической чувствительностью, которая не смешивает склонность к

ясным идеям с «научной» очисткой территории. Поостережемся (раз уж мы сами всего лишь идеологи, и не можем кичиться эпистемологическим разрывом<sup>72</sup>) ходить по кругу осуждений *идеологии*, которая в науках о культуре представляет собой имя, каким наделяют науку о другом. Так, имеются историки, не без оснований утверждающие, что социология существует в модусе исчезновения и что у нее нет оснований для существования (с монографической точки зрения, социология — это история без имени, а с нормативной — социальная философия, которая не признаёт, что она такова). А кое-какие социологи — тоже не без аргументации — утверждают, будто история — не наука, поскольку она не имеет ни малейшей объяснительной силы, хотя и основана на эмпирическом суеверии частных случаев. Биохимики с некоторым на то основанием усмотрят в психоанализе мифологию, обработанную на романский лад, а психологи — тоже не без оснований — увидят в химиотерапии позитивистскую и беспринципную халтуру. И т. д. Медиолог-подмастерье может избежать чехарды подозрений, потому что, раз медиология не претендует на звание «социальной науки», то у него нет оснований считать соседа неправым, чтобы доказывать собственную правоту. Его точка зрения не исключает точек зрения других. И потом, «у мудреца нет идей».

Значит, все мы занимаемся медиологией, как г-н Журден<sup>73</sup> говорил прозой, — могли бы сказать многие специалисты. Выходит, что хорошие историки XIX в. занимались социологией, не пользуясь этим именем, — тогда зачем слово социология? Хорошие социологи занимаются медиологией в действии и по разным поводам — зачем сам *термин* медио-

логия? Все мы строим понятные фразы — для чего грамматика? Все грамматисты делают критический анализ текста — для чего филология? Все филологи так или иначе занимаются сравнительным изучением языков — тогда для чего лингвистика (язык, рассматриваемый в самом себе и для себя)? Зачем изолировать особый уровень реальности — передачу в себе и для себя — и пытаться формализовать его? Стремление увидеть, как пучок особых микроанализов и эмпирических исследований сосредоточивается и эксплицируется в особом поле, образуя специфическое единство, относится к объективной динамике знания. Переход от утверждения «я занимаюсь медиологией» к утверждению «существует медиология» неоспоримо является (эпистемологически) натянутым — но он легитимируется распознаваемыми здесь разнообразием и плодотворностью исследований. К тому же медиологи не поют хором (а другие могли бы предпослать медиологии другое введение, лучше или хуже, чем у автора этой книги, сообразно другим углам атаки). Существуют *медиологии*, подобно тому как существуют социологии и психоанализы. Ведь Дюркгейм (1858–1917) и Макс Вебер (1864–1920) тщательно игнорировали друг друга. Точно так же Юнг и Фрейд. *A fortiori*<sup>74</sup> то же самое можно констатировать относительно наследников основателей школ (невозможно представить себе, чтобы Лакан и Лагаш, Бурдые и Будон, или вчера Гурвич и Арон подписали совместный «символ веры» или общую декларацию о методе). Похоже, единой медиологической Школы (в смысле коллективной верности общему учению) нет, но существует сеть взаимных познаний, и даже значительных расхождений, которая пунктиром обрисовывает конту-

ры архипелага исследователей с общим горизонтом: понять технику иначе, нежели Хайдеггер.

Наверное, слишком рано выводить дисциплинарную матрицу, приемлемую для всех автономных республик этой конфедерации. Но можно ли сказать, что она только желательна? Или же она необходима для того, чтобы исследование «набрало высоту»? По всей вероятности, в медиологическом поле в 2000 г. меньше понятийной аномии, чем в социологическом поле в 1900 г. (когда во Франции, как и в Германии, беспорядочно размножались несовместимые настроения). Тем не менее поле социологии стабилизировалось двадцатью годами позднее, спустя полстолетия после крещения. Построение знания проходит медленно — и требуется, по крайней мере, пятьдесят лет, чтобы перейти от секты к ученому обществу и от пророчества к профессии (ремесло историка<sup>75</sup>, ремесло психолога, социолога и т. д.). События развиваются сообразно этапам и поколениям: сначала — волна *предтеч*, или гениальных любителей (в социологии — Конт, Токвиль и Маркс). Затем — волна *организаторов*, или устроителей поля (Дюркгейм во Франции, Вебер в Германии). И наконец, волна *исследователей*, профессиональных поставщиков. 1850, 1900, 1950...

Ободряющая деталь: создатель имени не является подлинным основателем самого явления. Конт уже не является отправной точкой для социологов, как и Геккель для экологов (этот ученик Дарвина называл экологию «наукой о среде обитания», но лишь датский ботаник Ойген Варнинг заложил ее основы тридцать лет спустя).

Дело в том, что с первой попытки стену перепрыгнуть невозможно. Это оказывает устрашающий эф-

фект. Но попытку следует возобновлять несколько раз, поколение за поколением.

Возникновение новой дисциплины — это всякий раз шатающаяся Берлинская стена (между двумя суверенными странами, признающими друг друга). Когда демаркация исчезает, возвращается неопределенная и турбулентная граница. *Промежуточные* решения становятся самой проблемой; фон оборачивается формой; *no man's land*<sup>76</sup>, как оказывается, можно построить. Чем в свое время был социологический проект (1837, Огюст Конт), если не переворачиванием стены привычек, отделявшей до тех пор территории индивидуального (доставшиеся на долю психологов) от территорий коллективного? На первых территориях несколько столетий сражались моралисты и философы, описывая и объясняя страсти, характеры, виды поведения; на вторых юристы и историки изучали государственный интерес, величие и упадок империй, разнообразные типы республик. Вносящая беспорядок и преодолимая идея о том, что существовали возможное согласование, отчетливые и (при необходимости статистически) верифицируемые корреляции между «социальными фактами», относящимися к истории обществ, и глубинными диспозициями, объясняемыми произволом характеров (так считалось) — например, как нельзя более личного выбора совершить самоубийство или развод. Программа, возникшая при создании экологии (1866, Геккель, также открывший питекантропа), впоследствии показала, что существуют системы сложных связей между различными видами растений и животных, с одной стороны, а с другой — между почвами, средами и территориями, на каких они живут. Экология снесла стену между живым и



неживым. Что, очевидно, не отменило научных приобретений, накопленных, с одной стороны, ботаниками и зоологами, а с другой — геологами и географами (братья Турнефор, братья Гумбольдт и ученые путешественники XIX в.). До возникновения социологии индивид и общество определяли друг друга через взаимное противопоставление подобно тому, как живое давало себе определение в витализме через противопоставление неживому («жизнь, эта совокупность сил, сопротивляющихся смерти»). После момента, когда позиция *против* начинает мешать пониманию, эта наука переходит к позиции *вместе с* (экология есть наука об отношениях организма с окружающей средой). Постулирование описываемых, регулярных и разумных отношений между совокупностями идей и форм, с одной стороны, и наших машин циркуляции, с другой, — речь идет о «биотических сообществах» с их «абиотическим» окружением — приводит к сносу стены между идеалом и субстратом, означающим и следом. Но ведь до сих пор порядок символов всегда мыслился *против* техники (две тысячи лет условных рефлексов, основанных на греческой оппозиции *épistèmè/technè*), и «гуманистическая» традиция состояла в том, что к гуманитарным наукам обращались против машин, к «человеку — против роботов». А медиологический вызов, после множества других вызовов, повторяет: необходимо мыслить при помощи предлога *с*, потому что *против* означало бы *через*. Что, очевидно, не упраздняет результатов, полученных за столетия исследований об эволюции символических конфигураций (учений, стилей и верований) или социальной истории (режимов, наций, партий и т. д.); с другой стороны, не упраздняются и наблюдения из истории

техники и, особенно, «технологий разума» (Пьер Леви) — от Шумера и до Силиконовой долины. Просто, «наведение мостов» между этими двумя порядками реальности, или этими двумя сериями исследований, будет означать размещение в центре символического мироздания (и философской экзегезы) целой батареи побочных знаний, которые предстанут там, как, в лучшем случае, сноски в низу страницы. «Не для этого мы уповали на медиологию», — скажут нам. Должно быть. Ведь медиология лишь пытается сказать, что и почему происходит в разных местах. В переходные периоды вроде нашего видно, как обрушиваются целые пласты достоверностей, но эти периоды тем самым благоприятны для взаимодействий между понятиями и границами — игра знания продолжается при новых раздачах карт, для других партнеров.

Необычная кодировка, которую мы здесь защищаем, диссидентством не является, даже если она нарушает многотысячелетний интеллектуальный комфорт. Это логическое последствие неумолимого продвижения нашей любознательности вперед, которое, однако, принимает форму возвращения к истокам: сначала человек занимается познанием вещей (идеальных и материальных объектов, расположенных вне человека); затем он обращается к себе подобным (к обществам и культурам), и два этих царства кажутся ему естественным образом несводимыми друг к другу и противопоставляемыми друг другу. Вещи здесь, человеческое там... Когда наступает момент признать человечность вещей, или техническую сторону их наиболее сакральных символов, неожиданно вступает в игру короткое замыкание, и дух — как минимум — ему сопротивляется.

## ГЛАВА VI — ЗАЧЕМ ЗАНИМАТЬСЯ МЕДИОЛОГИЕЙ?

### *ЦЕЛЬ ИГРЫ: РАЗРЯДИТЬ ОБСТАНОВКУ*

#### НЕ НАУКА И НЕ ПАНАЦЕЯ

Целью медиалогии не является передача каких бы то ни было сообщений. Она довольствуется изучением процессов, с помощью которых сообщение посылается, циркулирует и «находит адресата». Она не способствует распространению никакой веры. Она стремится лишь помочь понять, *как* и посредством каких организационных принципов мы веруем. Это не доктрина, соотносимая с каким бы то ни было фундаментом. Она ограничивается задаванием вопросов об условиях взлета доктрин (религиозных, политических или моральных) и о причинах возникновения ученого авторитета. Эта площадка для критики, само собой разумеется, представляет собой полную противоположность «большому повествованию» тех, кто убаюкивал нас грезами о лучшей жизни. Если мы не преминули сюда вернуться, то лишь для того, чтобы рассмотреть способы аккредитации этих больших повествований, даже если придется коснуться шпагой наиболее сакрального для нас. Медиология не несет ни благой вести, ни освобождения, ни исцеления. Она не обещает ни малейшего избытка власти, престижа или счастья. Не обещает и возвышения в обществе. И не без оснований, если «дисциплины наделяют свой предмет presti-

жем» (Катрин Берто Лавенир), а техника остается бедной родственницей в латинской классификации наук — «пустяком» для наших лицеев, находящимся в последнем ряду для образования. Дисциплина, систематически соотносящая нашу гениальность, нашу высочайшую гордыню с незнатными людьми и вещами, не имеет возможности тотчас же получить дворянский титул. К тому же факт, что медиология не способствует приросту чего бы то ни было, не разблачивает никаких подлецов, не проповедует никаких крестовых походов — тоже ничего не может сказать в ее защиту. По правде говоря, она имеет массу неблагоприятных для себя факторов и знает об этом. В противоположность большинству «научных идеологий», сформировавших школы и авторитет с начала Промышленной революции, медиология не может считаться ни авторитетом, ни панацеей. И если медиология может — то тут, то там — осуществить более точную наводку на пока еще расплывчатые зоны социальной жизни, то она все-таки достаточно осведомлена о становлении идей, и поэтому, с одной стороны, не подвергает сомнению действенность научной критики, а с другой — не воображает, что выигрыш, полученный в сфере познания, может возыметь спонтанный освободительный эффект в отношении нашего коллективного бреда.

Объяснять и вмешиваться: эта двойная установка — как бы там ни было — располагается в средоточии рационалистского проекта. Признаем, что в ней есть нечто противоречивое. Не является ли отделение прагматичного гражданина от эпистемического субъекта, или же ценностного суждения от хорошо проведенного наблюдения началом мудрости («Нравится это нам или нет, но дела таковы»)? С другой

же стороны, цель состоит в том, чтобы «стать хозяином и властителем природы», воздействовать на нее, подчиняясь ей. Знать, чтобы предвидеть, предвидеть, чтобы мочь... Хотя мы и не можем воздействовать на ту реальность, о которой ничего не знаем... Необходимое условие, из которого лишь стародавнее идеалистическое кредо делает условие достаточное, в классической форме звучит так: «чтобы хорошо делать, достаточно хорошо знать». А противостоит этому, прежде всего, неустойчивость явлений, имеющих отношение к человеку, природа которых не допускает моделирования из-за отсутствия универсальных констант, общепринятых систем мер, возможностей экспериментирования и симуляции. Сколько бы мы на этой территории ни приумножали наблюдения, чтобы понизить степень произвольности, мы так и будем обречены выбирать между эмпирической приблизительностью «на нижних этажах» и не фальсифицируемой всеобщностью на высотах. Затем мы не должны забывать, что коллективное действие мотивируется и дорабатывается мифами и страстями. Из справедливой идеи, что рабство объясняется невежеством, не выводится, что свобода является неотъемлемой частью познания. Помимо того, что познание может наделить нас пониманием фатальности или же ни от чего не зависящих закономерностей нашей воли, оно не служит ключом к действию по той (горькой) причине, что познающий — это не действующий. Субъект инициативы, эмоциональный и склонный к воображению, подпитывается мифами и динамическими мистификациями больше, нежели холодной объективностью. Возможно, Ницше сгущал краски, заявляя, что «познание убивает действие, потому что действие требует того, чтобы мы

закутывались в иллюзию». Разумеется, у прогресса рациональности нет границ, но было бы наивным верить — это свойственное ученым легкое верие, подобное гуманизму без границ, который свойствен музыкантам (в противоположность языку, в музыке гуманизма нет), — что прогрессу в общественных науках может соответствовать эквивалентный прогресс в политическом искусстве. И дело здесь в том, что у науки и политики разная природа. Ведь непохоже, чтобы тирания, война, пытки и нетерпимость отступили в XX век по мере того как наши ученые продвигались в понимании «общественных законов».

Это означает, что предпринятое здесь интеллектуальное предприятие ни минуты не претендует на то, чтобы соперничать с «науками об обществе», лучше всего аккредитованными в своем, вполне законном замысле объяснять и направлять действие людей (ведь в этих науках имеются собственные теоретические средства). С самого их возникновения, когда Дюркгейм постулировал, что «социология расширяет поле нашего действия лишь одним тем, что она расширяет поле действия нашей науки», эти науки накапливали *притязания на эпистемическую правоту* — открытость объективному знанию на новом уровне реальности — и на *терапевтические услуги*, так как они обращаются к публике как к пациенту, ожидающему облегчения. Не имеет никакого отношения к карикатуре обнаружение под осторожными и порою наглухо закрытыми статистическими выкладками подсознательного оклика: «вы правы, дела очень плохи, но не отчаивайтесь, у нас есть средство исцеления». Тропинки знания круты, но прекрасны выходы на простор. Чем чернее фильм — эксплуатация человека человеком и господство буржуазии,

беззаконие и вызванный индивидуализмом распад, травмы детства и Эдипов комплекс, — тем более светозарным будет *хэппи-энд*.

Эти чудодейственные «научные» средства отличаются от своих религиозных предков тем, что они притязают сразу и на согласие с явными открытиями, и на веру в лучшее завтра (для нас самих лично либо для наших сородичей). Итак, глава научной школы, которому приходится обращаться к лаборатории и который знает скрытые пружины поведения ее сотрудников, а также лучше профанов знает, что является для них благом, добавит к долгу *предписывать* (невеждам) *право порицать* (конкурентов). А это иногда равнозначно игре на двух досках: интеллектуальной аскезе и упованию на мораль. Обязанность объяснять и соблазн надеяться... А именно возможность функционировать в качестве науки, не платя за это цену — состоящую в том, чтобы ничего не говорить ни о смысле жизни, ни о справедливом и несправедливом, ни о прекрасном и безобразном («наука не мыслит»); и в то же время функционировать в качестве религии, тоже не платя за это цену, состоящую в воздержании от всевозможных притязаний на оперативность и верификацию, на «конкретное решение проблем». И это можно очень хорошо понять, если вместе с Кантом мы вспомним, что «с критическим предприятием можно согласиться лишь при условии предложения некоей догматической компенсации» (письмо к Маркусу Герру, 1770). Экспериментаторский разум в применении к близким к нам вещам воспринимает гордыню как зло, и хорошо известны «нарциссические раны», навлекаемые после эпохи Ренессанса прогрессом критической предприимчивости на иллюзорную суверенность, кото-

рую мы инстинктивно жалуем самим себе (человек не является центром ни космоса, ни эволюции, ни собственной психики — разъяснили нам последовательно Галилей, Дарвин и Фрейд). В человеческих делах магия (и социальная вера, из которой она исходит и которую она поддерживает) внушает больше доверия и достоверности, нежели рациональное познание. Отсюда наше неодолимое желание реагировать на каждое покушение на нашу неприкосновенность, прикладывая компресс помощи, когда ложная радость тотчас же умеряет ощущение горя, причиняемое нам неприятной истиной. Как если бы за каждый скачок, приближающий нас к реальному, следовало расплачиваться уверткой в противоположную сторону, в сторону колдовства... Как если бы каждый успех в понимании вещей требовал в качестве противоядия двойной дозы эйфории, чтобы вернуть нам утраченное и продолжать по-прежнему надеяться.

Будучи марксистами, мы были убеждены, что работаем на единственной территории фактов и законов, за пределами всяких мифологических предположений и противостоя им. Со временем мы с неизбежностью открыли, что и «Капиталу» (в котором сам Макс Вебер не без причины усматривал «первоклассное научное достижение») при документированном и профаническом прочтении истории не удалось ускользнуть от «скрытых форм имманентной целесообразности»<sup>1</sup>, т. е., грубо говоря, от телеологии чисто догматического прогресса. Подобно тому, как мы с полным основанием можем говорить о материалах, процедурах, объектах и сетях в рамках идеалистической проблематики, мы вполне можем разместить сложный материалистический анализ в нормативных рамках религии, продолжая считать,



что запрещаем себе догматические *априори*. Приверженцы фрейдизма, мы, читая «Исследования истерии» или «Введение в психоанализ» этого венского доктора, полагали, будто располагаемся на единственной территории, с которой можно осуществлять клинические наблюдения и повествования о клинических случаях. Впоследствии нам довелось обнаружить все, что относилось к теоретическому вымыслу, в историях Анны О. и Человека-с-Волками (связность интриг происходит от их связи с теорией). Эти хорошие аналитические построения, созданные по образцу басни или истории, — Аристотелева *mythos*'а — артикулируются в некое архиповествование, вскоре развертывающееся в «непреодолимую самоподтверждающуюся машину», в психоанализ. Как в свое время заметил Крафт-Эбинг, говоривший о «научных волшебных сказках», отличить наблюдение от вымысла, истинное от правдоподобного, клиническое от поэтического во фрейдистской трактовке случаев истерии стало почти невозможным<sup>2</sup>. Будучи студентами-социологами, мы читали «Самоубийство» Эмиля Дюркгейма и — вместе с основателем журнала *L'Année sociologique* — были убеждены, что подход к разбору социальных фактов наконец-то порвал с ценностным дискурсом, свойственным «социальной физике» былых времен. И вот, в самом средоточии его научного метода обнаруживается — наряду с волей к исцелению от «недуга бесконечности», каковым, на взгляд социолога, была постиндустриальная аномия, — единосущный ему политический и моральный проект. Дюркгейм стремится стать в такой же степени терапевтом, что и ученым, а также целителем, потому что ученым. Этот социолог стремится восстановить консенсус и укрепить идентичность

собственной группы принадлежности. В «новой науке» крылось некое юридически-педагогическое предприятие, имевшее целью программу национального возрождения посредством воспитания, и у Дюркгейма невозможно отделить этот нормативный проект от описательной работы<sup>3</sup>. «Мы посчитали бы, что все наши исследования не заслуживают и часа изучения, если бы они представляли только умозрительный интерес», — признаёт Дюркгейм в самом начале книги «О разделении общественного труда».

Можно было бы задаться вопросом — в связи с этими знаменитыми и, в конечном итоге, обманчивыми примерами: если приходится платить столь высокую цену, то почему какая-то ничтожная медиология вообще ставит перед собой цель служить если не счастью человечества, то вообще чему бы то ни было? Ведь, в конце концов, представители искусства для искусства хвалятся, что занимаются именно им, а мы терпимо к ним относимся. Так почему же познание ради познания, свободное упражнение во *libido sciendi*<sup>4</sup> — как упражняются в игре на скрипке или в гимнастике — должно подвергаться упрекам в дилетантизме, бесчувственности или элитарности? Ведь никто не требует ни от ботаника, ни от энтомолога, чтобы они ограничивались упражнениями, приносящими немедленную выгоду, а между тем, науки, которые некогда назывались естественными, имеют массу полезных, хотя и (или потому что) непредвиденных применений. Социальные и гуманитарные науки, со своей стороны, продемонстрировали больше готовности ответить на социальный запрос полезности, но извлекли ли наши общества отсюда чувствительные усовершенствования (что, впрочем, не является аргументом ни «за», ни

«против» присущей этим наукам силы)? Автоматика и автомобиль произвели в этом столетии меньше шума в сфере идей, но, несомненно, принесли больше блага освобождению рабочего класса, чем партии и программы, вдохновленные «научным социализмом»; и неприметный синтез химических молекул фармацевтической промышленностью, возможно, излечил больше неврозов и депрессий, чем *talking-cures*<sup>5</sup> на диване; но ведь психоанализ занимает у нас на книжных полках больше линейных километров, чем биохимия. Биохимии нет в грядущей программе (мало и технических изобретений). Что же касается познания, то реальные выгоды редко сочетаются с афишируемыми благами. Отсюда можно сделать вывод, что официальный статус «науки» не обязательно завиден, идет ли речь об освещении мрака наших сокровенных глубин (этому весьма способствует литература) или же о действенности предлагаемых наукой средств исцеления.

Между тем имеется немало типов и уровней научности, и можно счесть эпатжем утверждение, согласно коему «существует лишь один тип наук, и это науки естественные» (М. Петито). Если под «наукой» в сильном смысле слова мы понимаем дедуктивную номологическую теорию, устанавливающую законы, из которых мы можем выводить последствия, то само собой разумеется, медиология в эту сторону даже не смотрит. Самое большее — она может смотреть в сторону *интерпретативных конструкций*, не пророческих и не научных, правдоподобных, но неразрешимых; эти конструкции стремятся по возможности строго систематизировать пока еще беспорядочное множество эмпирически констатируемых фактов и процессов эволюции. Здесь предла-

гается всего лишь новый раскрой давно известного, а именно — *невиданный тип* (рассмотренный как тип) *описания явлений, пока слитно описывавшихся туманным термином «культура»*. Это упорядочивание непривычно, но позволяет осуществить свежий взгляд, из-за простого факта *установления связей там, где их не видели*.

Именно объем немыслимого, кроющегося под феноменами передачи, равно как и состояние сиротства и остракизма, в котором эти явления находятся, побуждает нас выдвинуть их на первый план. Речь идет не о том, чтобы кичиться внешними приметами научности (к чему, как правило, присоединяется «методологический» канон и статистический остов), «выделяя» то тривиальное или недостойное в наших мелких делишках, что заботит философа, стремящегося не ронять достоинство. Один современный социолог (Пьер Бурдьё), сталкиваясь с модными неологизмами, обвиняет за чрезмерное распространение суффикса «-логия» «усилия философов, направленные на заимствование методов научности и видимости научного у социальных наук, без отказа от привилегированного статуса философов»<sup>6</sup>. Не веря ни в такую научность (по крайней мере, для самого себя), ни в подобные привилегии, медиолог скромно смотрит в сторону «гуманитарных наук», благодаря которым он добывает свой хлеб и которые обеспечивают ему скорее удовольствия от познания, нежели проекты исцеления. Непрерывно контролируя собственные умозаключения и умеряя свои выводы, медиолог охотно записал бы себя в потомки представителей «свободных искусств», как приложения к «моральным и политическим наукам»<sup>7</sup> (множественное число от «вежливости» и «благодарумия»). Эта

сыновняя позиция по соседству со «словесностью» обычно умеряет наследственные недуги академической жизни, коими являются война и жаргон.

Война между клерками, или полемика личностей... Как общее правило: чем туманнее дисциплина, тем более авторитарны ее представители. Так называемое «нежесткое» высказывание компенсирует собственную неразрешимость жесткостью самого характера высказывания. Кто уступает *science apreal*<sup>8</sup> на университетских территориях расплывчатого, тот больше, нежели простой любитель, склонен облекать личную инвективу в «научный» вердикт, выставляя противника кретином. Или же использовать в собственных целях положение, чин или клиентуру. «Социальные науки, феодальные науки...» (Даниэль Бунью). После того как, воздав должное системной традиции, мы рассмотрим взаимодействие между великими синоптическими таблицами, исследование наше найдет лишь выгоду в малых, умопостигаемых, локализованных, сборно-разборных и переносных конструкциях с несколькими входами. Не переходя на личности в дебатах, не водружая вымпел на захваченные земли, и — что важнее — не анафематствуя соседей тоном энциклики.

А как же жаргон? В науке в собственном смысле слова, той, что имеет строгую специализацию, передача происходит по направлению к упрощению, а научное преподавание облегчает и уменьшает доказательный аппарат (или протокол экспериментов). В некоторых гуманитарных паранауках — благодаря чему они сближаются с вестью религий (библейская экзегеза лишь затуманивает священный текст) — имеется склонность к усложнению, а поздние вульгаризаторы охотно трансформируются в за-

темнителей. Схоластика менее понятна, чем Аристотель, Альтюссер — чем Маркс, а Лакан — чем Фрейд (и так далее, потому что томисты менее прозрачны, чем *Doctor angelicus*<sup>9</sup>, альтюссериианцы — чем Альтюссер, лаканианцы — чем Лакан и т. д.). Можно утверждать, что из сложного видимого ученый делает простое невидимое. С докторами часто случается, что из довольно читабельного простого они делают довольно нечитабельное сложное. Вероятно, и здесь мы хотим, чтобы формальная усложненность заменяла спорный, авантюрный и иногда грубый характер отправной точки. Честное удовольствие состоит в том, чтобы внести собственный вклад в коллективную задачу, вывести из сферы неопишуемого определенные области опыта, которые длительное время считались второстепенными (экономика), постыдными (сексуальность) или тривиальными (техника). Этим не следует злоупотреблять — из-за опасности заново впасть в логомахию (тогда большее прояснение оборачивается большим обскурантизмом).

#### ТЕХНИКА ПРОТИВ ЭТНОЛОГИИ: ОПАСНАЯ ЗОНА

Этнология — наука о разнообразии обществ; а технология — наука о единообразии оборудования. Медиология, располагаясь между ними, ставит проблему совместимости этнологии и технологии (точка пересечения как проблема). Она задает вопрос, как на планете сингулярность культур, которые нигде не бывают одинаковыми, может сосуществовать с равенством сетей — повсюду одних и тех же — друг на друга. Как же территориальная субъективность взаимодействует с научно-технической стандартизацией?

Перетасовка [remaniement] материалов при сохранении [remanence] идентичностей: такого парадоксального сплава не было в программе сциентизма былых времен. Сочетание первой и второго, вероятно, привело к великому сюрпризу XX в., составив наиболее неожиданный вклад этого столетия в познание человека. Последствия культурного де- и реструктурирования технических инноваций, техническая обусловленность изменений в культуре: возьмем ли мы его в одном или в другом направлении (*top down* или *bottom up*), медиологическое межевание перекраивает наличный порядок (с одной стороны, техническую рационализацию, с другой — культурные исключения) в нескольких точках. Мы имеем дело с политически чувствительной материей. Говорят о «шоках цивилизации» во множественном числе. Но шок (более или менее жестокий) ощущается, прежде всего, *внутри* всякой цивилизации. Если тектоника слоев образует метафору, то продолжающиеся технологические потрясения вызывают непрерывное трение между (постоянно меняющейся) корой нашего оборудования и глубинным подземельем памяти, которое обладает слабой эластичностью, но подвержено мощным сжатиям. Именно вдоль этих двух линий, на стыке приключений техники и традиционного уклада сети связей и системы соучастия, оборудования и принадлежностей, гораздо больше на Юге, чем на Севере, мы наблюдаем несогласованный с ментальностью сдвиг темпоральности. Отсюда вереницы потрясений, дестабилизирующих государства и население, от Тегерана до Алжира, от Китая до Балкан. Медиолог работает там, где это трудно, как во внешнем, так и во внутреннем измерении. Ведь подобно группам, инди-

виды (и не только пожилые люди) все чаще испытывают беспокойство, дезориентацию в своих привычках и достоверностях из-за потрясения целых поколений предметом и познаний. Знания-как-поток (или ноу-хау) вытесняют знания-как-склад (или мудрость); молодежь знает об этом больше, чем старшее поколение; все большее количество невежд на земном шаре должно учиться у все меньшего количества экспертов все большему количеству вещей... Для этого «недовольства культурой», для этого квазидемографического дисбаланса передачи намеченный здесь подход может снискать несколько орудий анализа и предусмотрительности. Правда, при условии, что палеонтолог при столкновении с эволюцией скелета человека, или же технолог при столкновении с эволюцией определенной линии инструментов будет различать между *феноменами тенденции* (предвидимыми, обобщенными, обладающими продолжительными ритмами) и *точечными фактами* (непредвиденными и конкретными, сверхдетерминированными тысячью причинно-следственных цепей). Всегда важно сопоставлять наиболее разочаровывающую актуальность с большой длительностью. Смена масштаба позволяет увидеть в наших мнимых «перебоях» эффект уже известных регуляций, действующих с самого начала «филогенеза» (история биологического вида). Отсюда интерес к тому, чтобы отступить от «последнего крика моды». Например, «виртуальная реальность», взятая из информатики, станет понятнее благодаря освещению длительным процессом виртуализации (или «дереализации») чувственного мира, процессом, начавшимся вместе с первыми графическими символизациями настенной живописи<sup>10</sup>.



Наши культуры — кто не поздравляет себя с этим? — стали сегодня способными к перемешиванию, их черты экспортируемыми, а демографические миграции смешивают то, что до сих пор было разделенным. Подъем мультикультурализма или интеркультурализма... Между тем символические проявления (язык, религия, обычаи) не могут пренебрегать «этнической» генеалогией, тогда как технические изобретения подчиняются трансэтническим правилам (одни и те же «филогенетические родословные» инструментов проходят через народы, не соприкасаясь с ними). Машинальная память (оперативные цепочки, габитусы, ритуалы), как и память сознательная (склады информации, записанной на магнитных или бумажных носителях), кристаллизует в коллективной личности «этнический капитал» — говорил Леруа-Гуран, потенциально разделявший этноцентрические взгляды. Такая разделяемая многими сингулярность, плод продолжительного накопления в длительности, получила при «крещении» множество имен: национальный характер, семейный воздух, гений народа, запах родной земли, аромат детства. Хорошо известны чувственные (для слуха, для зрения, для обоняния) формы этого *уюта* невольной и бессознательной *принадлежности* (пока мы не изгнаны из родных мест в добровольную или вынужденную ссылку). Они составляют счастье поэтов и романистов. Поэты и романисты могут показать нам всю бесценность этой психической стабильности, которую приносит нам память без даты и подписи, инкорпорированная или, точнее говоря, веющая в нашем родном языке; «звонкое дыхание мысли».

Составление технологической сметы планеты в момент Т потребовало бы *таблицу согласований*,

а сметы культурной — *набора различий*. Единицы измерения повсюду вкладываются друг в друга, но искусства жизни остаются несоизмеримыми. Именно потому, что у китайцев особая культура, я нахожу их непостижимыми (ведь я говорю и думаю по-французски). Если бы моего пекинского собрата и меня, парижанина, можно было свести к нашим познаниям арифметики, к нашей техносфере, то мы могли бы без труда побрататься, потому что наши приборы — электробритвы, карбюраторы, программное обеспечение — функционируют совершенно идентично и независимо от наших ценностей. Мы могли бы иметь между собой лишь, так сказать, хронологические разрывы — из-за уровней развития нашей техники. Но ведь нас разделяют именно культурные черты, и это определяющие расхождения — стиль жизни и оформления среды обитания, кухня, календарь, ритмы повседневности, суеверия и верования — и особенно и в первую очередь, наши языки. Я мог бы весьма кропотливо пытаться освоить китайский язык, который, моделируя мысль пекинца, делает ее для меня до бесконечности странной. Этот иностранный язык, конечно же, переводим на французский (не без серьезных потерь), но не взаимозаменяем с ним: ведь если каждый язык и каждую культуру нельзя назвать несовместимыми с другими, то они с ними, по меньшей мере, несоизмеримы. Бином прототип/архетип выражается в непрерывно растущем напряжении между *техническими схождениями* и *этическими расхождениями*.

Можно радоваться, заметив, как эволюционный динамизм инноваций сносит барьеры идентичностей и памяти, убирая сосредоточенность на тепле наших родных домов и тем самым благоприятствуя меж-

культурному и межэтническому смешиванию. Не помогают ли каждодневные холодные поиски оптимума «стоимость-эффективность» сведению *разнообразного* к единому (интегративное единство объекта, единство системы объектов)? Симондон назвал «конкретизацией» тенденцию технических объектов интегрировать свои различные компоненты в мощно индивидуализированное целое — а мы называем «мондиализацией» продолжение электрического целого в стандартизованное и стандартизирующее цифровое целое. Поскольку железнодорожные и авиационные сети уже обеспечивают циркуляцию людей и тяжелых грузов, банковские сети — обращение капиталов, а телеавтоматические и спутниковые сети берут на себя нематериальность знаков, образов и звуков, Земля становится единым сетчатым пространством, «планетарным гиперкортексом» (Пьер Леви<sup>11</sup>), где целое присутствует в каждой из своих точек. Таким образом, можно сколько угодно грезить если не о конце истории, то, по крайней мере, о неумолимом отмирании политических и культурных барьеров, пока еще отделяющих человечество от него самого. Добавляясь к внутренней связности человечества, волюнтаризм его построения, *диспозитив сети*, переходя от одного масштаба к другому (национальный, континентальный, планетарный, космический), дает формально тотализирующее видение будущего (упрямцы называют его тоталитарным). Одна-единственная мегасистема для одного-единственного мегаполиса: в любом случае так могла бы выглядеть наконец-то осуществленная утопия Сен-Симона (опоясать земной шар, чтобы расковать людей). Пыл *хай-тека* считает, что необходимо идти до конца.

В таком пыле нет ничего необычного: он сопровождает каждую медиологическую революцию. Ведь верно, что рационализация мира не заставит пойти на спад наши бесчисленные потенции иррационального.

Возникновение неожиданной технической системы постепенно пробуждает фон эсхатологических тенденций, которые спят «лишь одним глазком». «Информационное общество», как когда-то общество железных дорог и межконтинентальных каналов, возбуждает в настоящее время в такой же степени страх, что и стремление изгнать злых духов. На единение «великой человеческой семьи», возбуждаемое киберкультурой, отвечает взрывной катаклизм, вызывающий дереализацию и оставляющий за собой пустыню; кое-кто называет его «информационной бомбой»<sup>12</sup>. В демократическом завтра — мягкий тоталитаризм «глобалитарного». Два религиозных прочтения — белое и черное — одного и того же амбивалентного феномена. *Grosso modo*<sup>13</sup>, Америка берет на себя его эйфорический и либертарный вариант, Европа — вариант ностальгический и катастрофический. У каждого континента свои тропизмы. Торжество технологии связано с самой историей Соединенных Штатов Америки, рая для менеджеров и предпринимателей, движимого горизонтальным мотором фронта, отныне соотносимого с вертикалью через покорение пространства (мобилизация, средством которой служили поочередно лошадь, железная дорога, автомобиль, самолет, а сегодня межпланетная ракета). Бегство от политики в технику, а от общественных конфликтов в спокойную мощь машин стало наиболее непреложным ресурсом этой грандиозной национальной эпопеи.

Здесь мы обнаруживаем то же самое расхождение между Старым и Новым Светом в восприятии «медиума». Америка (где калифорнийский журнал *Wired* потрясает знаменем гипер- и софт-технологий) преувеличивает воздействие новых технологий. Экзальтации противоположного чувства, возбуждаемые Мировой Сетью (пророчества, отражающие интенсивность потрясения), вновь актуализируют религиозные фантазмы Спасения или Греха, неотступно преследующие неминуемое Эльдорадо «технофилов» и гарантированный ад «технофобов». Существует тонкая критика новых технологий. Когда задают вопрос: «Можно ли рыдать, используя CD-ROM?» (Karine Douplitzky, *Cahiers de médiologie*, no. 3), тем самым затрагивается чувствительный нерв (способность предвидеть программируемые образы, основанные на расчете). Но даже в таких анафемах, как «Франция против роботов» (Бернанос), «Униженное слово» (Эллюль), «Принцип ответственности»<sup>14</sup> (Ганс Йонас) или «Информационная бомба»<sup>15</sup> (Вирилио), у каждого из проклинающих отчетливо заметен эсхатологический пыл. Клеймят проклятьем пагубность виртуального, следы скорости, царство симулякра, яды и улады цифровой дереализации. Вдали маячит то ли Молох, то ли Голем, сметающие все на своем пути, неумолимый Big Brother<sup>16</sup>, Смерть на марше. Техника становится здесь гиперболическим синонимом Лукавого (или энтропии). Охотно избавляясь от исторических вопросников, от их предосторожностей и двусмысленностей, христианскую теологию Падения облачают в новые одеяния. Техника (с большой буквы) изгнала Адама из рая непосредственности. Погружая благую природу в дурную искусственность, посредниче-

ство со стороны предметов разлучает человечество с его подлинной сущностью — с его чистой явленностью самому себе, — и эти-то утраченные истоки необходимо обрести во что бы то ни стало. У другого полюса, не менее визионерский дискурс — где демоническое оборачивается серафическим — выводит на сцену продвигающееся гигантскими шагами Искушение, благодаря которому человечество вскоре наконец-то обретет свои истоки, т. е. свою полноту, когда «обогащение в процессе цифровых соединений» приведет к «воссоединению человечества с самим собой». Итак, для одних, которые узнают себя в мрачных пророчествах Жака Эллюля, все падает и рушится — человеческие сингулярности погружаются в последнюю ночь неразличимого. Для других же, которые узнают себя в сразу и отчетливых, и светозарных взглядах Пьера Леви, все восходит, все сходится — и человечество как вид продолжает свою одиссею «от животной ниши к человеческому миру», чтобы примириться с уготованной ему судьбой любви и мира. В этих — многое пробуждающих в памяти — столкновениях стремящихся в разные стороны импульсов трудно отделить ценностные суждения от суждений фактических, а заостренный анализ потенциальностей от финализма — богатого фактами, потому что имплицитного.

#### ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРОРОЧЕСТВО, ИЛИ ИЗБЫТОК ЛОГИКИ

«Логика, — говорил Льюис Кэрролл, — есть то, что говорит о том, что из чего следует». Логике становления объектов соответствует логика человеческих реакций на это становление. В измерении длительно-

сти эти реакции способствуют появлению того, что можно было бы назвать *общими местами оригинальности*, или стереотипами когда-то виденного, наделяя их неоспоримым обликом семейства. Их позволено разлагать на ряд «эффектов» в смысле «автоматизма», когда психоаналитик коллективного бессознательного, возможно, обнаружит столько же «навязчивых неврозов», время от времени повторяющихся при каждой технической революции.

Мы уже видели «*эффект открытия*», это ретроспективное снятие, которое с самого начала выражается в чувстве ностальгии по хорошо знакомым, но исчезающим пейзажам. В истории медиа — а это ее общий пункт с историей наук — именно настоящее освещает прошлое. Поэтому письмо оказалось настолько же дестабилизирующим для индивида, привыкшего к устной традиции, насколько аудиовизуальные материалы — для питомца традиции печатной. А для нас возникновение печатной экосистемы вырисовывается вдаль, как уже ставшая сказочной, относящейся к мифу Золотого Века страна, черты которой кажутся тем более приятными, чем дальше они врезаются в линию горизонта.

В такой же степени нам знаком и «эффект дилижанса» (Жак Перрио). Он обозначает запаздывание, с коим новое поколение векторов выкристаллизовывается из формы предшествующего поколения, которую оно впоследствии взломает, но с которой оно поначалу объединяется. Так, печатной книге потребовалось как минимум столетие, чтобы освободиться от форм рукописи. Первыми железнодорожными вагонами были дилижансы, поставленные на рельсы; первыми фотографиями — академические картины: ню и пейзажи. Первыми площадками для те-

левидения были радиостудии с таким дополнительным аксессуаром, как камера (а «Чтения для всех», устраивавшиеся превосходными Дюмее и Дегропом, были первой литературной телепередачей, обладавшей всеми характеристиками продолжительной радиобеседы). Аналогичным образом, страница-экран наших компьютеров поначалу имитировала страницу печатную (сегодня мы, скорее, видим противоположное). Эти эффекты отпечатка широко известны.

Рассмотрим поподробнее *эффект бреда*. Существует очевидный резонанс между баснословными упованиями, возлагавшимися на типографию веком Просвещения, и утопиями, каким сегодня дает повод *www*. Для Кондорсе изобретение печати возвещает наступление «восьмой эпохи» человечества; оно, несомненно, устранил фанатизм, считал Кондорсе, потому что оно несет с собой разумного и прозрачного индивида (мимоходом упраздняя, как архаическое, понятие интеллектуальной собственности, в пользу свободного присвоения самоуправляющихся и до бесконечности видоизменяемых текстов, беспрепятственно циркулирующих из страны в страну). Благодаря этому факту Республика, моральная награда, предложенная хорошим ученикам Гутенберга, не могла не распространиться по всей планете, будучи несомой неодолимым порывом печатных текстов, который, разумеется, освободит умы. Франция будет экспортировать словари, книги и газеты повсюду в Европе, а «печатный материал взломает все двери, через которые стремится ворваться истина». Кондорсе называл «Атлантидой» новый Континент будущего, где живут работники типографии, посвятившие себя публичному пространству благодаря печатным



рассуждениям. Утописты сегодняшнего дня — которые живут на берегу Тихого океана — тоже ждут «третьей волны», «цифрового, и даже симбиотического человека», а также «поколения Интернета». Нам говорят, что автоматизированные потоки информации завтра принесут свободу в самые темные уголки обвитой проводами планеты. Верующие в «технодемократию» — спустя два века после «типореспублики» — англизировали Атлантиду, превратив ее в *new-age*, но можно задаться вопросом, не является ли отличительной чертой миллениаристов вчерашнего и сегодняшнего дня то, что они поворачиваются спиной к будущему, потому что воображают — в кумулятивной и возмещающей концепции времени, — что будущее устраняет прошлое, тогда как в действительности оно оживляет прошлое, совершая в нем метаморфозы.

Немало хороших врачей предупреждали около 1840 г. машинистов и пассажиров железных дорог, что человеческое тело не может противостоять скоростям, превышающим 40 км/ч, без смертельных рисков. Один современный мыслитель утверждает, что человеческому телу угрожает исчезновение в киберпространстве, а информатическая интерактивность подобна радиоактивности. Эти случаи негативного упадничества не могут обратить вспять в умах широкой публики преобладающее течение благих вестей с той стороны Атлантики. Поскольку ветер из Америки одолевает бризы из Европы, как «фундаменталисты» — «апокалиптиков», киберкультура чаще продвигается вперед, будучи украшенной эмблемами Тысячелетнего царства, нежели Апокалипсиса. Зачем остерегаться *энного* провозглашения «нового человека»? Прежде всего, вспомним, что инфор-

матики спонтанно склонны переоценивать информационные технологии. Здесь мы видим вполне простительный «профессиональный идиотизм» всех тех, чье ремесло состоит в абстрагировании, символизации и моделировании. Сапожники, как правило, считают, что люди ходят, потому что у них есть обувь; юристы — что Право служит альфой и омегой социального развития; а манипуляторы знаками полагают, что в основе человечества лежит циркуляция знаков. У каждого свой профессиональный эгоизм, свои жизненно важные валоризации. Ничего удивительного, что пионеры в сфере интеллекта воображают, будто интеллектуальные революции напрямую руководят революциями в сферах власти, социальной психологии, сосуществования, нейтрализуя структурные постоянства политического пространства (территориальную замкнутость, иерархию, агрессивность и т. д.). Существует сотня способов формирования общества, и наиболее разумные из них *ipso facto* не являются самыми оперативными. Неизвестно, чтобы научное сообщество, пример разумного коллектива, могло навязывать или даже предлагать правила игры для политической жизни. Если бы нравы и поведение государств можно было свести к механизмам, то сколь бы мудреными они ни были, варварство международных (и прочих) отношений отошло бы среди нас в область воспоминаний. Информатическая эра меняет арсеналы и способы ведения войны, но не сам факт войны и не частоту военных действий.

Затем: из логики объекта невозможно вывести логику его употребления. Из *self-media* (Интернет) невозможно вывести гарантию *self-fulfillment* (самореализации), а из прямой связи — прямую де-

мократию. Эти экстраполяции, связанные с продвижением, обыгрывают соединение «скаутского» морализма (примирение между людьми, Любовь, Союз, Мир во всем мире) с катастрофическим детерминизмом (рельсовый транспорт, искусственные спутники, Интернет). «Пойдем впереди жизни / Пойдем впереди утра...» Поостережемся избавляться от медиаций, потребных новому медиуму ради выявления его виртуальностей. И поостережемся фетишизировать инструменты сами по себе, волшебным образом привнося в них внешние для них условия функционирования, от которых зависит осуществление собственных им эффектов. Читатели существуют не потому, что имеются книги, а эрудиты — не потому, что имеются библиотеки. Не потому, что тексты существуют в цифровой форме, их можно мгновенно перевести в строчную форму во всем мире, и все человечество, в том числе непальцы, китайцы и банту, включит экран компьютера, чтобы прочесть Шекспира по-английски. Как некогда печатные тексты для публичного пространства, освобождающее *networking*<sup>17</sup> предполагает в качестве предварительных условий экономику, школы, доходы, досуг, интерес, короче говоря, известный порог антропологической густоты (по сю сторону которого удобная *broadcast*<sup>18</sup> остается самой надежной из сетей).

Аналогичным образом, было бы авантюрой (второе упрощение, вытекающее из первого) приписывать однозначные и односторонние эффекты системе с предполагаемой монокаузальностью — когда ее следствия всякий раз оказываются не просто многообразными, но и противоречивыми. Печатные тексты упрочили языковые и национальные разделения, а также образовали всемирную Республику

словесности и знания. Эта Республика стала орудием сектантства, *а также* толерантности. Телеавтоматика облегчает доступ к информации и усугубляет неравенства в сфере знания. Она обрамляет централизованную цензуру, *а также* льстит сектантской замкнутости. Она способствует торговле порнографией и нигилистическим тезисам в такой же степени, что и демократической контркультуре и дискуссионным форумам. И так далее. Стало банальным, но разумным, встречаясь с каждым «революционным» медиумом, вспоминать Эзопов язык, это наихудшее и наилучшее из изобретений.

Электричество, атом, бит: эти разрывы в цепи всякий раз дают меньше и больше того, чего ожидали от них превозносившие их сектанты и отрицавшие их хулители; и, как правило, это «меньше» и «больше» расстраивают ожидания (принять инновации всерьез — да, но сделать из этого драму — нет). Легковерные почитатели Прогресса, ожидающие от перехода через какой-либо технологический порог выхода из тьмы к свету, бессознательно подчиняясь механической причинно-следственной связи, опрощают циклическое становление, переводя его в линейную перспективу. Эти слишком пренебрегающие историей футурологи недооценивают парадоксы и грубые шутки, проделываемые «продвижением вперед», которое в известных отношениях непрерывно возвращаются к пройденному.

Наконец, разветвленное техническое мировоззрение подпитывается происходящим исподволь смешением порядков реальности, заключающимся в проецировании *необратимости технического времени*, на всем своем протяжении отмеченного стопорными эффектами (к плугу мы не вернемся после тракто-

ра, к счетам — после компьютера и т. д.), *на время психическое и политическое*. Как если бы отношение человека к человеку подчинялось тем же законам последовательности, что и отношение человека к вещам (или к человеческому телу как к вещи, например, в медицине, которая непрерывно прогрессирует в той мере, в какой она может представить свой предмет в физической форме)... Как если бы прагматика непрограммируемого могла копироваться с научного и технического программирования... Как если бы нам была знакома «техническая» дестабилизация, которая сопровождалась бы «культурными» ресурсами.

Кроме того, чтобы разведать наименьшее зло, поостережемся подражать перспективистам. При каждом обманчивом возгласе «как современно, как современно!», мы, скорее, обнаружим забытое или ветхое, которое вскоре оживится благодаря гиперновому (разумеется, при непрерывном преобразовании, так как стародавнее никогда не возвращается в прежнем виде). Это делает из медиолога, из человека, работающего на перепутье, не мудреца, но трезвенника, предпочитающего центр крайностям. Позиция, эстетически и социально неблагодарная, так как она обязывает соблюдать золотую середину, мало способствующую как содроганию от демонизации, так и восторгам «технософов». Она помещает наблюдателя справа от оптимистической трезвости (ну что ж, это будет не столь ниспровергающим, как вы говорите; не ликуйте от победы), но слева от пессимистического очернения (ну что ж, это не столь тяжело; не войте о конце света). Если нам позволят такую смелость, то ярлык архео-модерниста (барочный оксюморон в применении к эпохе, которая переста-

ла быть барочной) весьма неплохо подходит к адепту критической медиологии. Проблему здесь составляет именно дефис. Он кажется иррациональным. Как разумно объяснить его?

### ЭФФЕКТ БЕГА ТРУСЦОЙ

Похоже, в «глобализации» с недавних пор заметны черты складывания мира, общего для всех его обитателей — земного шара, тщательно опоясанного проводами, с досконально связанными между собой регионами, с чрезвычайно интенсивными линиями связи. Как если бы технический разум был единственным «пассажиром на борту»: *One World*<sup>19</sup> всегда навязывался инженерами. Но если дарвинистский динамизм инноваций (отбор наиболее рентабельного через устранение не слишком производительного) и воспринимался как *ultima ratio*<sup>20</sup> для исторического развития, *World Company*<sup>21</sup> или Соединенных Штатов Земного Шара на пути их учреждения — то признаков ничего этого не видно. В этом как будто бы близком *brave new world*, обреченном на неразличимость, осталось бы место (в виде зон сопротивления для одних и заноз в ногах для других) лишь для нескольких заповедников для субсидируемых индейцев и для глубинки, чтобы проводить отпуск, а в центре мегаполисов располагались бы прекрасные и дорогостоящие экомuzeи. Да и сам Леруа-Гуран не провозгласил ли около 1960 г. «ветхость групповых этнических структур» и пришествие некоего «планетарного мегаэтноса»? Но ведь факты на сей раз не подтверждают его правоту. Очень далеко до того, чтобы «ураган неразличимости» уносил все на своем пути. Мир, синтезированный с помощью техники, не является

духовно единым; единственные в своем роде кочующие объекты не произвели единственного в своем роде кочующего субъекта. На галопирующую унификацию технико-экономической среды современного мира — вопреки идеям согласных между собой визионеров — реагирует яростная политико-культурная балканизация.

Учитывая, что «материя бежит быстрее духа» (Франсуа Дагонье), этот сдвиг можно свести к *сдвигу по фазе*, минимизируя его, словно *перезитки* или *фольклор*, и называя термином «вторичных компенсаций». Тогда можно будет сказать, что культурные *ареалы* (буддистские, мусульманские, католические и т. д.) соответствуют различным *стадиям* технического развития, призванным рано или поздно слиться, нагнав свое запоздание от авангарда (коим является, как иногда уточняют, мультикультурное американское общество или фирма IBM). Согласно этому мировоззрению, просветитель идет впереди основной части войска, ведя за собой по направлению к *global shopping center*<sup>22</sup> неолиберала из бывшего Союза мировых социалистических республик. Эта утопия не принимает в расчет странного реактивирования фольклора постмодерном, как и реактивирования территорий «первого поколения» (регионов, «стран», городов) через планирование детерриторизаций, или, образно выражаясь, через компьютеризированный шариат — Бог, возрождаемый посредством чипа, *God and chips*.

Другое возможное прочтение феномена, который видит потребителей всех стран, раздираемых между удостоверением личности и голубой карточкой: таков «принцип разрыва», выдвинутый социологом Роже Бастидом. Этот последний показал, как афробрази-

лец может преспокойно быть и пылким последователем культа Кандомбле, и экономическим деятелем, превосходно приспособленным к инструментальной рациональности. Не будет ли такое раздвоение, вызванное окультуриванием периферий», встречаться у высокотехнологичных элит «первого мира»? Раздвоение личности позволяет в Бразилии, в Индии и в Иране выдержать скачкообразное движение вперед, получив выгоду от завидных вкладов — сочетая высокий уровень жизни с различными образами жизни. Когда же мы, напротив того, видим расцвет культов *new-age*, восточной мистики, сектантского поведения у западных адептов NTIC<sup>23</sup> (Силиконовая долина), представляется, что эти профили «смешанных личностей» относятся не только к «окультуренным» в самое последнее время. Полуединообразное и полунеряшливое сочетание техники с жизнью, примеряемое человечеством постмодерна, дает нам видеть с каждым днем все более прозрачный лоскутный наряд Арлекина культур. В итоге это рассуждение следует продвинуть еще дальше. Можно предположить, что каждому «скачку вперед» в сфере оборудования соответствует «скачок назад» в сфере ментальностей. Такова гипотеза о *ретроградном прогрессе*, который можно назвать шутливым термином «эффект бега трусцой». Ибо в начале XX столетия кое-какие визионеры предсказывали, что безудержное использование автомобиля горожанами вскоре вызовет атрофию их нижних конечностей, ведь моторизованное двуногое отучится от ходьбы. И что же мы теперь видим? Вот что: после того как горожане разучились ходить, они стали бегать. И фанатично. В парках или за неимением парков — в залах, на движущихся дорожках.



Припомним несколько примеров архаизирующей модернизации.

Рост мощи *live*<sup>24</sup> и прямой связи вызывает необыкновенное стремление к обретению истоков, воздуха родины. Фанатическое увлечение всем новым вызывает бумерангом ретроманию. На Западе — перегруженность юбилеями, вместе с нашими столетними, пятидесятилетними и прочими юбилеями — возведение дорогостоящих библиотек в тотемы национальной идентичности, изобилие «памятных мест», мода на генеалогов и на биографии (великих людей), первенство «культурной истории» над историей социально-экономической, чрезмерное финансирование музеев, реставрации и сохранения памятников, возрождение региональных языков, мода на бревенчатые строения и печи для выпечки хлеба и т. д. Повсюду мы видим лейтмотив архаизации. Музыковеды поражаются «бушующей загадочности средневековой музыки», записанной на CD и слышащейся на концертах. Уставшая от барочного репертуара (Глюк, Вивальди, Рамо), публика устраивает триумфы григорианскому пению и иератической полифонии Кристобала де Моралиса и Гильома де Машо (компакт-диски способствуют переизданиям покойных великих исполнителей). Цифровая техника благоприятствует продвижению цистерцианских звуковых образов, вызывающих отзвуки, простых и чистых, тогда как атональные или неотональные сочинения («планирующая» музыка) подают руку сочинениям неосредневековым. Справедливо, что «неопримитивизм» знаменует собой переход от спонтанной памяти к памяти прикладной, но раздробленной и деконтекстуализированной — слишком уж ученым образом и намеренно реконструированной.

Аналогично этому, «возвращение пыла» на наших глазах реструктурирует геополитику. Мы видим новый подъем этнических разделений — индигенизма<sup>25</sup>, национализма и сепаратизма, как и взлет религиозного фундаментализма (исламского, но еще и христианского, иудейского, буддистского, православного и т. д.): сегодняшний день в значительной степени доказывает нам, что увеличение количества машин не обязательно соответствует уменьшению количества «предрассудков» (противоположное тоже не доказано). Нация, построенная по принципу участия в выборах, может вновь стать нацией этнической, а согражданство — кровными узами. Разве мы не видим, как масса демократий с господством этнокультурных партий подавляет некогда доминировавшие светские формации (Израиль, Индия, Турция)? Melting-pots<sup>26</sup> функционируют плохо. В результате — нивелировка классовых различий, возрождение различий, касающихся истоков...

Планета-город не является зароком космополитизма. Вы говорите об урбанизации тел и о «рурализации» духа? Так вот, в 1900 г. горожанином был один житель планеты из десяти, а сегодня — один из двух. В арабо-мусульманском мире количество горожан за XX столетие увеличилось в пятьдесят раз — а в исламском фундаментализме в той же пропорции возросло количество боевиков. Городская, но не сельская пассионарность присуща скорее трущобным окраинам и пригородам, нежели традиционным историческим центрам. В первую очередь, она затрагивает утративших ориентиры сельских жителей (кадры фундаменталистов происходят не с факультетов словесности, но с факультетов естественных наук и технологии). В зонах, традиционно струк-

турировавшихся верой, фундаментализм представляет как культура утративших собственную культуру в современную эпоху, или как возвращение детерриториализованных к земле. Идет ли речь о *любовичских* раввинах, о харизматиках или «бородачах», мессианский пыл или ортодоксальный зуд затрагивают, в первую очередь, иммигрантов, и притом недавно переселившихся. Дело определенно выглядит так, словно История отнимает у нас одной рукой то, что дарит другой рукой: открытость тут, замкнутость там. В конце концов, какой «диалог культур» мог бы существовать без поддержки между ними минимального взаимодействия различий, при отсутствии чего обмена больше не было бы, но остались бы закоснелость, монологичность и атония? Леви-Стросс говорил, что хорошо было бы вообще не ассимилировать других, если бы можно было успешно с ними договориться.

В эпоху виртуального обильны дискурсы конца: речь идет о *конце тела*, личного и стареющего (*body is obsolete*<sup>27</sup> — говорит один инфо-художник; о *конце* реального *пространства* и физической подвижности; о *конце родных языков* при аморфной мондиализации (*global village*<sup>28</sup> Маклюэна); о *конце чтения* (однако меняется именно отношение к написанному и его носителям). Это не один из тех тревожных прогнозов, которые нельзя дополнить провозглашением *ренессанса*. И не только потому, что множественность пространств и времен могут сосуществовать в жизни одного и того же индивида, но и потому, что каждая новая веха реальности, которую технический прогресс добавляет к вехам существующим, проявляет склонность вновь валоризировать древность, ставшую фундаментом.

— *Тело*. Виртуализированное в клоны, раздробленное на прививки, имплантаты и протезы; восстановленное биотехнологиями, получившее допинг от промышленной биохимии, детерриториализованное мобильными телефонами и цифровым телеприсутствием, оно никогда не было предметом стольких интенсивных забот: *бодибилдинг*, диететика, пластическая хирургия, разнообразные виды спорта, эксгибиционизм здоровья и красоты. Технические средства развоплощения приводят к культуре индивидуального гипервоплощения. А вот киберинформатика возвращает целостному телу присущее ему место, с воплощенным, живым и экспериментальным телеприсутствием при погружении в виртуальность.

— *Пространство*. Отнюдь не избавляя нас от физического перемещения, ускорение коммуникаций повышает количество путешествий (чем больше разговаривают по телефону, тем больше путешествуют). И все-таки, связываясь через сервер, разве мы не можем гарцевать по континентам, сидя у себя дома? Можно сказать, что наш внутренний мир больше не имеет потребности куда-либо ехать, чтобы куда-либо приезжать. Отсюда получается своего рода паноптическая инерция. К чему она приводит? Подобно тому как электронное воспроизведение документов не отменило, но десятикратно увеличило потребление бумаги, телекоммуникации способствовали превращению туризма в первую всемирную индустрию. И наоборот: чем больше мы располагаем дальними средствами передвижения, тем большую важность приобретает близость. Автострады вновь способствуют популярности прогулок по бездорожью. Человеческий шаг создал тротуар, конь создал нацию, автомобиль создал континент, самолет — планету Земля,

искусственный спутник — космос. Разумеется, существует обработка наличного пространства с точки зрения передвижения, так как протяженность, подобно времени, представляет собой техническую, а, стало быть, эволюционную категорию. Но с культурной точки зрения, каждое новое транспортное средство, отнюдь не обесценивая предшествующую территорию, вновь способствует ее очарованию. Так, размах наших действий лишает нас маломасштабности, но аффективность и миф вновь ею овладевают, превращая в точку отсчета для нашей идентичности. Космическая ракета вновь научила нас ценить почвенность. Мы видим на экране метеоспутник и как бы съеживаемся в своем гнездышке. Индустриальный гигантизм способствовал продвижению лозунга *small is beautiful*, а тяжелогрузный самолет — лозунга «жить и работать в сельской местности».

— *Родной язык*. Выдвижение англо-американского языка в *lingua franca* всей планеты возвестило «лингвицид». Но, с другой стороны, Интернет помогает приютить периферийные языки, а всемирный английский язык пробуждает идентичности подчиненных ему языков. Идеал единообразия в федерациях менеджеров и General American<sup>29</sup> для руководств по применению приборов, вывесок и научных журналов, в противовес этому, пробуждают орфическую жизненную силу креольских языков и боевой дух диалектов. В особенности, в Европе с ее шестьюдесятью разговорными взаимопереплетенными языками, там, где дожидались угасания территориальных идиом, преобразованных в мертвый язык или деградировавших в более или менее люмпенские патуа, избранными языками вновь стали диалекты, по крайней мере, те, что объявляют себя таковыми (хо-

тя на практике не употребляются). В прошлом состоялся ренессанс древнееврейского и классического арабского языков. Совсем недавно — ренессанс каталонского, баскского, корсиканского, бретонского, галльского, фламандского, окситанского и т. д. Во Франции предлагается даже институционализировать употребление региональных языков.

Не приумножая приметы и симптомы, попытаемся уловить смысл этого. Всё происходит, как если бы мондиализация объектов и знаков вызвала (в качестве своей изнанки) трайбализацию субъектов и ценностей. Утраченная снисходительность к автохтонности приводит к ее завышенной оценке, а бумеранг попадает в самое средоточие «постиндустриальной эпохи». Монотехническое обеднение цивилизации превозносит отстаивание прав на мультикультурность, и именно в богатейшей стране Запада, где города, партии, Церкви, телевизионные каналы, мебель, жилые дома и магазины, вкусы и ароматы являются наиболее взаимозаменяемыми (или наименее идентифицирующими), «ethnic» и «gender-gaps»<sup>30</sup> больше всего подчеркиваются и валоризуются (*political correctness*<sup>31</sup>). Оживление стародавних воспоминаний в разгар модернизации, этот знак живучести этносов, которая может обернуться похоронным настроением, возможно, знаменует собой безумное увлечение бессознательной «мудростью тела», своего рода патологией нормального. Человек, пользующийся техническими приборами подобно протезам, в равной степени и по одинаковым причинам имеет потребность в зелени и в предках — в пении птиц и в белках, скачущих по скверам, — а также в «забытых» мифах и ритуалах. Техника в чрезмерной дозе, перейдя известный по-

рог «денатурации» или «дегуманизации», нарушает равновесие ультрацивилизованных организмов (наших «рурбанических»<sup>32</sup> агломераций), и эти сироты искусственным образом изготавливают для себя пейзажи, традиции, и даже ощущения примитивного характера — микшированную цифровую Гею на CD, с приливами и отливами, громом и криками чаек. Подобно тому как для слишком уж оснащенных техническими приспособлениями млекопитающих необходим минимум естественной дикости, для космической интеграции необходим минимум этнической уникальности. Однако это новое обретение личного равновесия редко происходит без борьбы, и размножение наших рамок принадлежности (баск, испанец, европеец, западноевропеец, человек), возможно, не является разумным вложением многоступенчатых идентичностей, каковым похвальноется федералистский идеал.

Психоанализ сгруппировал под термином «метаспсихология» определенное количество неверифицируемых принципов, обобщающих данные опыта (принцип удовольствия, инстинкт смерти и т. д.). В противоположность этому, мы знаем, что такое аршин, но отсюда возникают известные удобства описания и классификации. Погресим, что однажды некая метамедиология вплотную займется «экономической» (во фрейдистском смысле) гипотезой о *принципе постоянства*. Мы оказались раздираемыми между перспективой отрезать себя от мира, если он замкнется в своем этнокосмосе, и перспективой утонуть в мире, если он сомкнется с технокосмосом, раздираемым между своей внутренней средой («пузырьки», складки, нравы и обычаи) и средой внешней (машинизированная мондиализованная столи-

ца), и каждый социальный универсум-в-становлении извлечет выгоду для себя, став своего рода инстинктивным термостатом, чтобы благодаря культурному утверждению аналогичной интенсивности вновь привести в состояние равновесия вызванную машинами дестабилизацию. В итоге каждый резкий прирост «факторов прогресса и объединения» вызывает имеющий такой же качественный эффект рост «факторов регрессии и раздробления»<sup>33</sup>. Таким образом, скачками и прерывистыми движениями, методом проб и ошибок восстанавливаются разнообразные коллективные идентичности, несмотря на передраги мондиализации. Мы видим, каким способом можно считать «архаизмом» то, что вот-вот вернется, а не то, что уже наступило, — принцип «перед нами, *потому что* за нами».

Что бы ни думать об этих умозрительных догадках, мы согласимся, что если жизнь представляет собой процесс бесконечной дифференциации — то борьба за «культурную исключительность» входит в «жизненный порыв», как инстинктивное движение сопротивления смертоносной или энтропической гомогенизации. Изобилие видов живого в биосфере потребовало многих сот миллионов лет. Изобилие культур в ноосфере — нескольких тысячелетий. И те и другие рельефно проявились благодаря сложной последовательности селективных операций, мутаций и переразложений, и вот им грозит растущий коэффициент исчезновения. Если мнение «продвинутых» стран отныне испытывает потребность предотвратить исчезновение «живых генетических библиотек», коими являются животные и растительные виды, то как это мнение может, не вызывая протестов, дать исчезнуть письменным челове-



ским мнемотекам, в форме материальных памятников, но еще и ритуалов, песен и даже памятников природы в мировом наследии? Почему бы иным, нежели американские, кинофильмам, литературам национальных и прочих меньшинств или определенным прикладным искусствам не заслужить столько же внимания, сколько его заслуживают колонии детенышей тюленей и синих китов? Биоразнообразие отныне является общепризнанной ставкой, и было бы непоследовательным ограничивать ее организацией живого. Благодаря какому чуду память, воображение и сознание человеческих сообществ можно уберечь от ужасов загрязнения среды, от промышленной агрессии и от алчного стремления к немедленной прибыли? Разве, например, — столкнувшись с развитием многоканального кабельного телевидения и ростом предвзятой дистрибуции фильмов, — сохранить разнообразие национального кино в предложении составителей кинопрограмм и кинодистрибуторов не является хорошим способом для горожанина засадить землю садами? Сохраняя при этом разнообразие «аудиовизуальных пейзажей»... И богатство памяти для наших внуков... Тем лучше будет, если медиологи смогут ускорить пришествие *духовной экологии* — как науки об отношениях духа с технической средой. Эти исследования являются неотложными в той мере, в которой наше наиболее инстинктивное внутреннее равновесие оказывается дестабилизированным из-за буйства технологии. Мы больше не можем ни мыслить, ни обустривать, ни защищать одно, не зная, не предвидя и не контролируя другое.

## В СТОРОНУ ТЕХНОЭТИКИ

Как мы видели, между ритмами совершенствования машин и темпом созревания человечества нет согласованности. Из этой несогласованности могут происходить травматические поражения психических и моральных связей филиации, принадлежности и солидарности. Не считая себя носителями какого бы то ни было социального снадобья, медиологи могут лишь опровергать слепую веру в приборы информатики, безумный разлад публичных служб, невнимание к субподрядным работам и идею того, что любой ценой, повсеместно и в каждый момент необходимо «устранять наше технологическое отставание». «Францию проявляет известное отставание в развитии информационных технологий». «Французские школы информатизируются с трудом». «Администрация должна ускорить темп». Пионер образовательных передач по телевизору Жак Перрио справедливо выступает против подобных некритичных речей, доказывая, что не следует смешивать политику серверов с политикой терминалов, что у каждой страны своеобразная техническая культура, собственный стиль подхода к информатике и пользования ею и что «не существует фатальности, напоминающей воронку, куда обрушится все человечество»<sup>34</sup>. Медленно эволюционирующие институты, кроме прочего, обладают функцией вносить инерцию, а, стало быть, и безопасность в неравновесные и деструктурирующие системы. Медлительность не должна автоматически исчезнуть перед лицом скорости, а такие испытанные институты, как школа, имеющие собственную целесообразность, а, стало быть, присущий им порядок приоритетов (вести коммуни-

кацию — да, но при условии, что она будет служить передаче), не должны стремительно приспосабливаться к незрелым и зачастую уязвимым технологиям. Малая толика здравомыслия могла бы помочь сделать факторы непрерывности и векторы преобразований более сбалансированными — чтобы идти на разумные компромиссы.

Наверное, изучение фактов передачи не может надеяться ни на ту же счастливую судьбу, ни на ту же общедоступность, что присущи расплывчатой «коммуникации». Может быть, передача и не более интересна, нежели коммуникация, но — в силу самих вещей — она бескорыстнее. Если передача имеет в виду долгосрочные цивилизационные ставки, то и происходит она не в диапазоне настоящего времени, мало учитывающего глубину времени. Поскольку передача не соответствует неотложным потребностям ни рынка, ни власти, она не может включаться в те же экономические и политические цепи, что и Инфоком. Их соответственные социальные деятели, потенциальные вульгаризаторы и легитиматоры, не должны даже соперничать между собой. Коммуникация обращается к предприятиям, передача — к институтам, и в рыночном обществе у них неодинаковый баланс. Непосредственно затрагивая интересы классов информации, торговли и политического представительства, меньшинств-гегемонов и второстепенных лиц, играющих роль главных, коммуникация распространяется восходящими общественными слоями, представителями которых являются директора компаний, рекламисты, пиар-консультанты, специалисты по кадрам и маркетингу, радио- и тележурналисты, исследователи общественного мнения, имиджмейкеры. Стимулируемая с помощью ме-

## «ИНФОРМИРОВАТЬ» НЕ ОЗНАЧАЕТ «ОБУЧАТЬ»

У каждой эпохи есть слова-фетиши. Они играют роль промокашки, постепенно засасывая свое окружение. В информационную эпоху таким словом является информация: от «информационного общества» к «информационным бюллетеням», через обработку информации, открытость информации, право на информацию — отныне все, включая познание, стало информацией. Недавняя амальгама, процветание которой мы видим даже в определенной педагогической среде (где склонны думать, что компьютер может выполнять работу преподавателя), обязательно сопряжена с серьезным риском. Следует дойти до истоков, чтобы ясно увидеть положение дел. Так что же такое информация? Этот термин употребляется, в зависимости от контекстов, в нескольких смыслах.

В смысле «теории информации» (Винер, Шеннон) информация — не вещь, но статистически измеримая математическая величина, которую можно представить как противоположность вероятности появления. Измерение этого количества (или степени уменьшения неопределенности) требует вынесения за скобки всякого смыслового содержания, чтобы заняться лишь морфологией сигнала. Это научное значение, единственно строгое, не имеет ничего общего со значением слова «информация» в повседневном языке.

В повседневном смысле «средств информации» это слово означает новость, которая провозглашает некий — подлинный или вымышленный — факт или некое — подлинное или вымышленное — событие с помощью слов, звуков или доступных публике образов. По-английски это называется *news*, а по-немецки — *Na-  
chricht*. Сначала употребление этого слова было распространено на публикацию, а затем — на сам предмет коммуникации. В таком случае мы соскальзываем от сообщения к данным, к составляющим элементам некое-

го знания или суждения. Отсюда возможное смешение двух миров: журналистики и знания.

Настал момент напомнить, что если знания подпитываются информацией, то они к ней все-таки несводимы. Знание-что (такое-то событие произошло) не является подлинным знанием (почему оно произошло). Информация фрагментарна, состоит из изолированных и разрозненных данных. А вот познание — синтетический акт, объединяющий разнообразие эмпирических данных, сводя их к единству принципа конструкции или нормы оценки (познание приходит изнутри, информация — извне). Существует систематический порядок познаний, которые строятся, возрастают и приобретаются ступенчатым, методичным образом (идея метода чужда информации). Информация, в конечном счете, не может объяснить свой процесс порождения, а знание, по природе своей, делает это.

Независимо от подобных соображений эпистемологического порядка, которые мы здесь затрагиваем лишь слегка, медиолог будет придерживаться четырех практических, можно сказать, тривиальных замечаний.

1) Ценность информации индексируется в соответствии с обесценивающим ее временем. Новость либо свежа, либо нет, и моя ежедневная газета, которая стоит сегодня 7 франков, завтра не будет стоить и гроша. Гонка за информацией между агентствами и газетами — гонка на скорость. Зато какие-нибудь теорема или закон будут иметь завтра ту же ценность, что и сегодня. Их не надо поставлять «в срок».

2) Ценность информации обуславливается публикой, к которой она адресована. Не существует информации самой по себе, она существует лишь для некоей заданной среды. То, что является новостью в Австралии, не является таковой во Франции, и каждая страна, каждая среда или каждый индивид как бы издает свою газету, в зависимости от того, что уместно или неуместно для их собственного мира. Зато познание есть нечто иное, не-

жели эхо или зеркало. Его ценность не является функцией от среды его рецепции (Евклида или Ньютона, по правде говоря, можно преподавать повсеместно и в любое время). Логическое или научное высказывание может без всякого ущерба отделяться от процесса своего высказывания.

3) У информации нет инстанции обращения, и судьба ее разыгрывается в течение мгновения: если депеша Французского телеграфного агентства не воспроизведена в газете, если она не переходит в новостной кино- или тележурнал и его носители, то она утрачивается навсегда. Информация должна и может быть верифицирована, «отформатирована», сопоставлена с другой информацией, но происходит это с небольшим запозданием, под давлением конкуренции и в границах текущего действия. Зато познание открыто в сторону будущего; оно интегрируется в бесконечный процесс и, будучи незамеченным в момент его начала, может всегда быть признано и возобновлено «задним числом».

4) Информация, *last but not the least*<sup>35</sup>, является товаром. Она продается и покупается, так как дорого стоит (*time is money*<sup>36</sup>), и процесс этот интенсифицируется (растет корреспондентская сеть и увеличивается количество служб вещания). К тому же агентства, газеты и журналы (информационные) представляют собой продукты экономических предприятий, продаваемые на в высшей степени конкурентоспособном рынке. Подобно тому, как говорили «разум — это то, что измеряют мои тесты», можно с большим основанием сказать, что информация — это то, что я продаю. Информация, которую я не могу продать, таковой не является. Зато  $2 + 3 = 5$ , второй принцип термодинамики или  $e = mc^2$  не имеют никакого отношения к рентабельным объектам, участвующим в товарно-денежных отношениях. По природе своей они ускользают от механизмов предложения и спроса.

«Информационное общество» может, без сомнения,

благоприятствовать росту познаний, а NTIC — облегчать доступ большего количества людей к знанию: преподавание по телевизору, новые процедуры введения закона в силу, мультимедийное сотрудничество. Но менее авантюрным было бы усматривать в информационном обществе синоним «педагогического общества».

диа и взрывообразной волны изобретений NTIC, для которой она обеспечивает дополнение в виде души, опосредующей непрерывный обмен празднествами и службами, коммуникация стала идеологией. Она подпитывает мифологии выслушивания, прозрачности и взаимопонимания, необходимые для смазки экономических двигателей и для чистой совести всех граждан. Очевидно, такова Вульгата торжествующего либерализма — впрочем, даже наше старинное «общество потребления» было переименовано в «общество коммуникации». Что же касается передачи, то с профессиональной точки зрения она касается лишь классов, имеющих отношение к познанию, техническому умению и традициям, — в школьной, академической, религиозной и военной сферах, природа коих такова, что их подозревают в корпоративизме, закоснелости и архаичности — наших антиценностях *par excellence*. Враждебность к ним не ослабевает. Кроме того, над этими находящимися в состоянии упадка социальными слоями — профессорами, учителями, освобожденными партийными и профсоюзными работниками, приходскими священниками и пр. зачастую духовно господствуют деятели коммуникации. Разве мы не слышим, как педагоги и «специалисты» по дидактике распространяют идею, что Школа представляет собой такой же аппарат коммуникации, как и другие, и должна взять другие за об-

разец — тогда как она определенно и в принципе, и по призванию является институтом передачи — откуда проистекают совершенно иные императивы (и особенно тот, что требует образовать разрыв с медиатическим окружением, даже если придется, хотя и на свой лад, использовать некоторые из медиа, аудио-, видео- и цифровых носителей)? Разве мы не видим, как влиятельные министры, предприниматели и идеологи грубо смешивают понятия *информации* и *познания* — противопоставленные по всем параметрам (см. врезку)? Опрометчивость такого рода подвергает опасности не только Школу в государстве, но даже самую неприкосновенность культуры.

Вероятно, в воспитании именно разрушение критического смысла шумовым оформлением коммуникации, которое «покрывает» (во всех смыслах слова) рыночный строй, оказывается наиболее вредоносным. Эти промахи, объясняемые перекрещиванием интересов, подпитывают зачастую пикантную неразбериху, например ту, что приписывает ту или иную неудачу *энному* «дефициту коммуникации», тогда как более реалистичным было бы объяснять ее избытком коммуникации, при дефиците соответствующей передачи. Занимаясь поисками «кризисных выходов» и «восстановления социальных уз» со стороны новых технологий и новых сетей коммуникации, официальная идеология вполне могла бы, сама того не ведая, повернуться к ним спиной. Уместным было бы опасаться, что «культура потока», которую общество наделяет полномочиями (лишая ее всякого противовеса со стороны «культур запаса»), может необратимо усугубить деисторизацию современности. Но ведь исчезновение исторической перспективы способствует возвращению межэтнических разладов



и делает связи между гражданами более хрупкими. Когда человек больше не принадлежит времени, наступает момент, когда он больше не будет принадлежать человечеству (универсальное приходит посредством истории, но противостоит фольклору). Сегодняшнее всевластие телеиндустрии, будь это даже «всемирное телевидение», завтра обернется всевластием балканизации земного шара.

Цивилизация на кону? Вернем этот широко вещательный термин на Землю, непосредственным практическим потребностям: демократии повседневности и ее применениям в нашей повседневной жизни. Медиологическая забота требует не только пылкого обязательства заниматься передачей — и не только ясного знания, что передавать приоритетным образом. Эта забота может помочь осознанию фундаментального вызова завтрашнего дня: как помыслить политику передачи, не прояснив, какова политика техники? Т. е. каков контроль над неконтролируемым? Каков контроль над решениями, свободно и коллективно взвешивающими то, что принимает решения относительно нашей жизни, когда мы непричастны ни информации, ни дискуссиям по ее поводу, ни принятию решений? Технологические революции — как мы видим каждый день — порождают детей в тылу у «суверенного народа». Извращенные или целебные — их последствия, подобно снежному кому, как будто бы сводят к соответствующей пропорции публичную мощь и контроль над законодательством. Разве способность моделировать общество, а то и изменять жизнь, исподволь не перешла со времен Бальзака из одних рук в другие? «Не ищите власть во дворце Тюильри... Она перешла к журналистам», — бросил Бальзак сто пятьдесят

лет назад подданным Луи-Филиппа. Сегодня Бальзак мог бы дополнить в духе фанатов Билла Гейтса: «Не ищите власть ни во дворцах республики, ни в редакциях — она у белых воротничков, в лабораториях, исследовательских центрах, у операторов высокотехнологичных установок. Технология правит бал». Любопытно, что ни одного избирателя не призывали голосовать за или против Интернета, за или против приумножения шоссейных дорог, за или против отмены регламентирования телекоммуникаций. Правда, то же замечание верно и относительно бифуркаций позавчерашнего дня. В свое время никто не сталкивался ни с манифестами за или против электричества, ни с программами в защиту паровой машины. Хотя эти инновации предвиделись издаелека... Мы живем уже не в эпоху железных дорог, телефонных проводов и работающих на частотах Герца старых добрых радиопередатчиков с заземлением. Новое управление прибегает к дематериализованным и невидимым средствам. Программное обеспечение, микроэлектроника, оптоэлектроника ускользают в одинаковой мере и от невооруженного глаза, и от спутников Земли, и от кремниевых чипов. Техника сегодня есть то, что прячется. Все, что позволяет слышать, видеть, давать мне что-либо понимать, показывать мне что-либо, перемещать меня, информировать меня, заниматься обменом, питать меня — и что себя не показывает...

Разумеется, нет необходимости быть технофобом или технофилом, пребывать в состоянии эйфории или катастрофичности, чтобы «запротоколировать» изначальный пробел между двумя измерениями эволюции. Мы выбираем свою партию, мы подвергаемся воздействию собственной среды. Мы избираем на-

ших депутатов согласно неким программе или проекту, в некоем заданном месте. Машина же, будь то паровая, электрическая или информационная, не связана ни с каким территориальным субстратом, ее технические характеристики являются универсальными. Политический выбор является продуктом дискуссии, о законе рассуждают сообща, в рамках национальных или федеральных образований. Технологический же выбор не подлежит публичным дебатам в каких бы то ни было рамках. Инновации являются сразу и случайными в том, что касается их возникновения, и принудительными по своим импликациям. Неразумные, беспричинные и безжалостные, случайные и неумолимые... Они наводняют общества и устраивают в государствах короткие замыкания, а, стало быть, делегитимируют государства. Вероятно, эти последние из всех сил стараются подбодрять себя, перераспределять кредиты, контролировать чрезмерности. Но технически оптимальное постепенно опережает социально легитимное. Сфера обязательного все меньше относится к сфере законов или регламентации, директив, пусть даже европейских, или разрешений, и все больше к области норм, протоколов и стандартов, де-факто навязываемых частными деятелями, безличными, без точной адресации, без печати в виде имени — таковы результаты альянсов между группами или индустриальными лидерами (стандарт GSM в мобильной телефонной связи, стандарт АТМ в сетях с высокой пропускной способностью и т. д.). Изменяет ли присутствие принца картину военных действий? Правы ли были спрашивавшие: «Что на самом деле решают те, кто принимает у нас решения?» Вопрос «Но что же, на самом деле, делает законодатель по сравнению с инженером?» яв-

ляется вопросом, неотъемлемо свойственным самому техническому обществу. Он стал серьезным уже начиная с первой промышленной революции; а сегодня бессилие так называемых властей может внушить страх. Ведь техническая обусловленность стала конститутивным элементом будущего, да и самой нашей индивидуальности. Вместе с индустриализацией культуры (провозглашенной в первые послевоенные годы Адорно и Хоркхаймером), техническая обусловленность овладевает как самыми глубинными потоками сознания, так и нравами, и ментальностью. Технонаука (или то овладение науки техникой, которое прослеживается с 1950-х гг.) атакует с фланга и наше символическое наследие незапамятных времен (постоянно ремоделируя наши способы архивирования), и сами понятия труда и богатства. Какой заповедник, какое «священное» убежище ускользнут сегодня от пересечения научных исследований с техническими инновациями и крупными промышленными организациями?

Отсюда все менее терпимый разлад между технической и гражданской сферами. Вопрос «чему служат наши политики» все больше сверлит наши черепа. Как если бы реальное общество исподволь избавлялось от собственного законного представительства; как если бы программы, речи, статьи законов «рассыпались» перед с виду жалкими приборчиками, которые как ни в чем не бывало, не спрашивая разрешения у правительств, преобразуют время и пространство, где живут подвластные люди: связанный со спутником мобильный телефон, антенна на крыше, мультимедийный передатчик в небе, оптоволоконный кабель под землей и поисковое устройство в Интернете мгновенно передают мне сплетню

или книгу, продавать которые запрещает правосудие моей страны. «Властителя можно найти повсюду, только не на троне», — безрадостно констатировал Бальзак, потому что он был роялистом и легитимистом. То, что «суверенность повсюду, только не у суверенного народа», — не может понравиться ни одному демократу. Политика, становящаяся всего лишь повседневным управлением операциональных систем, в конечном счете приводит к вопросу: «Что толку опускать бюллетень в урну?» Подобный ползучий нигилизм дестабилизирует и подрывает институт республики, вплоть до чувства принадлежности.

Дифракция систем координат, утрата основных ориентиров, исчезновение границ дезориентируют одинокого индивида эпохи постмодерна, обладающего абстрактными универсальными правами, вписанными, однако, в пространства, напоминающие леопардовую шкуру, алеаторные и все менее совместимые. Похоже, у «сетевиков» нет родины. Они культивируют полуобщинные и полупланетарные чувства. Расщепленный между локальным и глобальным, житель сетевой деревни устраивает короткое замыкание в среднем эшелоне наций, где вот уже два века проходила демократическая жизнь. Угрожает дезориентация. Мы, простые граждане, уже не знаем, кто и как утверждает право. Какой легитимной власти мы должны засвидетельствовать лояльность — тоже неизвестно. Не знаем мы теперь и того, не способствуют ли врачи нашей смерти вместо того, чтобы охранять здоровье. И того, питает ли нас или отравляет содержимое нашей тарелки. Отсюда ощутимый кризис доверия — к технологиям, которые мы бываем склонны разжаловать, вложив в них слишком много надежд; в результате этого к

моральной дезориентации добавляется технофрустрация.

Однако речь уже не идет о сетованиях, об экзорцизме или о воспитании. Мы не справимся со становлением технологии, поворачиваясь к нему спиной. Ответственность состоит в том, чтобы понять его логику, чтобы по мере возможности предвидеть его последствия. Рассуждение о целях и ценностях, которое не опирается на отчетливо составленную смету арсеналов, является пустым. Зато рассуждение об инновациях, не просеивающихся через сито памяти, опасно.

Экология приучила нас к необычной и даже шокирующей для индустриального общества идее того, что человек — как индивид — несет ответственность за природу и ее экосистемное равновесие, от которого зависит его выживание как вида. Не пора ли распространять принцип предосторожности на сферу знаков, а также убеждать каждого гражданина в его индивидуальной ответственности за культуру его сообщества? И не безумие ли отдавать свою память и творчество (а они зависят друг от друга) на волю рынка и машин, тем самым жертвуя долгосрочными интересами в угоду краткосрочным?

Вероятно, знания, относящиеся к культуре, чрезвычайно запаздывают по сравнению с науками о жизни — и мы осознали ставки генетики лучше и быстрее, нежели ставки цифровых компьютеров. Манипуляции над эмбрионами беспокоят нас больше, чем манипуляции над архивами или информацией; ведь существует международное право биоэтики. Так, официально запрещено изменять человеческий геном (Декларация ООН), а клонирование в целях воспроизводства человека официально на-

ходится под строжайшим контролем. Здесь существуют комитеты по этике. Зато не запрещено изымать из каталогов наследие образов страны, чтобы контролировать их распространение; не запрещено и отводить на второй план литературные сокровища страны, запрещая их перевод. Не будет ли вскоре техноэтика по отношению к культурной политике тем же, чем биоэтика является сегодня по отношению к политике здравоохранения? Ведь достоинство человеческой личности задействовано в индустриальном производстве сознания не меньше, чем в половом воспроизводстве тел. Если мы считаем себя ответственными за механизмы наследственности, то не следует ли позаботиться о бесконечно более уязвимых сетях культурного наследия?

Ясно, что запаздывание техноэтики по сравнению с биоэтикой невозможно устранить, пока мы будем мыслить субъект без (или против) объекта, а человечество — без (или против) техницизма. Предлагаемый здесь подход может помочь преодолению такого навязываемого разлада. Необходимо рассеивать ложные надежды (решение посредством новой техники) как пустые опасения (общество, дегуманизированное *Техникой*). Не фетишизировать и не стигматизировать: заменить *versus*<sup>37</sup> на *verso*<sup>38</sup>.

Парадокс состоит в том, что медиолог (в чем никто не сомневается) стремится к благу для человечества, но медиология признаёт, что играет роль объекта по отношению к субъекту, не против субъекта, но и не за него. Нам уже сказали, каким образом идеалистический гуманизм исходил из постулата, что человек является источником и должен оставаться мерой всех вещей и, прежде всего, самого себя. Мы исходим из противоположной констатации: *процесс оче-*

*ловечивания, начатый на планете приблизительно два или три миллиона лет и происходящий непрерывно (теперь больше, чем когда-либо, так как он значительно ускорился), не только не ставит человеческого субъекта в центре, но и прогрессирует через эксцентризацию или экспроприацию, которые овнешняют и усиливают наши способности. В этом смысле мотор эксцентрирует (и отнимает у нас) руки и ноги, а компьютер эксцентрирует (и отнимает у нас) мозг. И именно так человек конструирует себя и развивается. Очеловечивание было и остается нечеловеческим процессом. Чтобы воспрепятствовать его превращению в бесчеловечный процесс (с постоянными инновациями), связанные с которым неравенства технология лишь усиливает (едва ли 2% мирового населения «привито» к Сети), начнем с признания, направленного против трех тысячелетий ортодоксии: нет ничего более человеческого, нежели техника. Нам кажется, что лишь при таком условии или при этой поправке (с метафизики сознания на физику среды) для нас будет возможным очеловечить бесчеловечное очеловечивание.*

Один американский исследователь (Майкл Дертузос, директор Лаборатории компьютерных наук в Массачусетском технологическом институте) определил себя как «технолога и гуманиста». Хорошо бы сделать так, чтобы каждый слышал здесь избыточность. И не праздную, но жизненно важную и достойную бесконечного соревнования.



## БИБЛИОГРАФИЯ

### ГЛАВА 1 — ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧИ

- Bougnoux Daniel, *Sciences de l'information et de la communication, les textes essentiels*, Paris, Éd. Larousse, 1991.
- Clair Jean, *Élevage de poussière*, Paris, Éd. L'Échoppe, 1992.
- Derrida Jacques, *Mal d'archive*, Paris, Éd. Galilée, 1995.
- Guédez Annie, *Compagnonnage et apprentissage*, Paris, Éd. PUF, 1994.
- Haudricourt André-Georges, *La technologie, science humaine*, Paris, Éd. La Maison des sciences d'homme, 1987.
- Jacob, Christian, *Vers une histoire comparée des bibliothèques. Questions préliminaires. Entre Grèce et Chine ancienne*, Quaderni di Storia, Italia, Éd. Dedalo, 1998.
- Jacob François, *La logique du vivant. Une histoire de l'hérédité*, Paris, Éd. Gallimard, 1978.
- Jacques-Jouvenot Dominique, *Choix de successeur et transmission patrimoniale*, Paris, Éd. L'Harmattan, «Logiques sociales», 1997.
- Leroi-Gourhan, André, *Le geste et la parole, I: Technique et langage*, 1964; *II: La mémoire et les rythmes*, Paris, Éd. Albin Michel, 1965.
- Leroi-Gourhan, André, *Les racines du monde*, Paris, Éd. Bel-fond, 1982.
- Lumley Henry de, *L'Homme premier. Préhistoire. Évolution. Culture*, Paris, Éd. Odile Jacob, 1998.
- Melot Michel (sous la dir. de), *Nouvelle Alexandrie. Les grands chantiers de bibliothèques dans le monde*, Paris, Éd. Cercle du Libraire, 1996.
- Pech Thierry, *La pierre et la centre. Pour une anthropologie du droit de la sépulture*, Paris, Éd. Droit et cultures, 1999.
- Stiegler Bernard, *La technique et le temps. La faute d'Épi-*

- methée* (t. I), et *La désorientation* (t. 2), Paris, Éd. Galilée, coll. «La Philosophie en effet», 1996.
- Stiegler Bernard, *Mémoires gauches*, *Revue philosophique*, juin 1990, Paris, Éd. PUF.
- Tisseron, Serge, «La psychanalyse a l'épreuve des générations», in *Clinique du fantôme*, Paris, Éd. Dunod, coll. «Inconscient et culture», 1995.
- Urbain Jean-Didier, *L'archipel des morts. Le sentiment de la mort et les dérives de la mémoire dans les cimetières d'Occident*, Paris, Éd. Plon, 1989.
- Catéchèse*, no. 148, dossier «Transmettre», Paris, 1995.
- Le Genre humaine* (dir. Maurice Olender), Paris, Éd. Fayard, «La Transmission», 1982.
- Les Nouvelles de l'archéologie*, no. 48–49, été-automne 1992, Paris, Éd. Errance.

ГЛАВА 2 — «THE MEDIUM IS THE MESSAGE»

- Ardenne, Paul, *Art, l'âge contemporain*, Paris, Éd. du Regard, 1998.
- Bayle F., Bourg D., Debray R., Ettighoffer A., Finkielkraut A., Hermitte M.-A., Jacomy B., Janicaud D., Latour B., Laufer R., Lévy P., Moles A., Perrin J., Picon A., Quéau Ph., Sicard M., Sigaut F., Stiegler B., Virilio P., Weissenbach J., interrogés par Ruth Scheps et Jacques Tranero, *L'empire des techniques*, Paris, Éd. du Seuil, coll. «Points-Sciences», 1994.
- Beaune Jean-Claude, *La technologie introuvable*, Paris, Éd. Vrin, 1980.
- Beaune Jean-Claude, *Philosophie des milieux techniques. La matière, l'instrument, l'automate*, Paris, Éd. Champ Vallon, coll. «Mieux», 1998.
- Benjamin Walter, *Écrits français*, Paris, Éd. Gallimard, 1991.
- Blistène Bernard, David Catherine, Pacquement Alfred (sous la dir. de), *L'époque, la mode, la morale, la passion*. As-

- pects de l'art d'aujourd'hui*, 1977–1987, Paris, Éd. Centre Georges-Pompidou, 1987.
- Bougnoux Daniel, *Introduction aux sciences de la communication*, Paris, Éd. La Découverte, coll. «Repères», 1998.
- Chartier Roger, *L'ordre des livres. Lecteurs, auteurs, bibliothèques en Europe entre le XIVe et le XVIIIe siècle*, Paris, Éd. Alinéa, 1992.
- Ellul Jacques, *La technique ou l'enjeu du siècle*, Paris, Éd. Colin, 1954.
- Frau-Meigs Divina, Technologie et pornographie dans l'espace cybernétique, *Reseaux*, no. 77, mai-juin 1996, Paris.
- Gilles Bertrand, *Histoire des techniques*, Paris, Encyclopédie de la Pléiade, 1978.
- Goody Jack, *Entre l'oralité et l'écriture*, Paris, Éd. PUF, 1994.
- Goody Jack, *La raison graphique. La domestication de la pensée sauvage*, Paris, Éd. de Minuit, 1979.
- Hennion Antoine, De l'étude des médias à l'analyse de la médiation: esquisse d'une problématique, *Média-pouvoirs*, no. 20, octobre-décembre 1990, Paris.
- Johannot Yvonne, *Tourner la page, livres, rites et symboles*, Grenoble, Éd. Jérôme Millon, 1988.
- Kant Emmanuel, *Qu'est-ce qu'un livre?*, Présentation de Jocelyn Benoist, Paris, Éd. PUF, 1995.
- Kerckhove Derrick (de), *Brainframes, Technology, Mind and Business*, Amsterdam, Bosch and Keuning, 1991.
- Latour Bruno, *Nous n'avons jamais été modernes, Essai d'anthropologie symétrique*, Paris, Éd. La Découverte, 1991.
- Leroi-Gourhan André, *Évolution et techniques*, t. I: *L'homme et la matière*, 1943, t. 2: *Milieu et techniques*, Paris, Éd. Albin Michel, coll. «Sciences d'aujourd'hui», 1945.
- McLuhan Marshall, *Pour comprendre les médias*, Paris, Éd. du Seuil, 1968. [Маклюэн, Маршалл, «Понимание медиа», М., 2007, пер. В. Г. Николаева].
- Mumford Lewis, *Technique et civilisation*, Paris, Éd. du Seuil, 1950.

- Roques René, *L'univers dionysien. Structure hiérarchique du monde selon le pseudo-Denys*, Paris, Éd. Aubier, 1954.
- Sachot Maurice, *Religio/Superstitio*, historique d'une subversion et d'un retournement, *Revue des sciences religieuses*, CCVIII, no. 4, 1991, Éd. PUF.
- Sachot Maurice, *Christianisme et philosophie, la subversion fondatrice originaire*, Angers, Conférence organisée par la Société angevine de philosophie, 1999.
- Sachot Maurice, *L'invention du Christ, genèse d'une religion*, Paris, Éd. Odile Jacob, 1998.
- Siegfried André, *Itinéraires de contagions, épidémies et idéologies*, Paris, Éd. Armand Collin, 1960.
- Simmel Georg, *La tragédie de la culture et autres essais*, Paris, Éd. Rivages, 1988.

ГЛАВА 3 — «ВОТ ЭТО УБЬЕТ ТО»

- Acot Pascal, *Histoire de l'écologie*, Paris, Éd. PUF, coll. «La politique éclatée», 1988.
- Berque Augustin, *Médiance, de milieux en paysage*, Gap, Éd. Reclus, coll. «Géographiques», 1991.
- Eisenstein Élisabeth, *La révolution de l'imprimé dans l'Europe des premiers temps modernes*, Éd. La Découverte, 1991.
- Huyghe Édith et François-Bernard, *Les empires du mirage*, Paris, Éd. Robert Laffont, 1992.
- Jullien François, *La propension des choses*, Paris, Éd. du Seuil, 1992.
- Perriault Jacques, *La logique de l'usage, essai sur les machines à communiquer*, Paris, Éd. Flammarion, 1989.
- Piveteau Jean-Luc, La territorialité des Hébreux: l'affaire d'un petit peuple il y a longtemps, ou un cas d'école pour le III millénaire?, *L'Espace géographique*, no. 1, 1993, Fribourg, Université de Fribourg.
- Quéau Philippe, *Metaxu: théorie de l'art intermédiaire*, Paris, Éd. Champ Vallon/INA, 1993.
- Rodinson Maxime, *Mahomet*, Paris, Éd. du Seuil, 1968.

- Sicard Monique, *La fabrique du regard*, Paris, Éd. Odile Jacob, 1998.
- Sicard Monique, *L'année 1895, l'image écartelée*, Paris, Éd. Les Empêcheurs de penser en rond, 1995.
- Tisseron Serge, *Comment l'esprit vient aux objets*, Paris, Éd. Aubier, 1999.
- Wolton Dominique, avec Missika Jean-Louis, *Les réseaux pensants, télécommunication et société*, Paris, Éd. Masson, 1978.
- Terminal*, automne 1995, no. 69, Paris, Éd. L'Harmattan.
- Dialectiques*, revue trimestrielle, printemps 1981, no. 32: «Techniques et machines», Paris.

#### ГЛАВА 4 — ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИМВОЛОВ

- Benjamin Walter, *Sur l'art et la photographie*, Paris, Éd. Arts et esthétique, 1997.
- Caune Jean, *Culture et communication, convergences théoriques et lieux de médiation*, Grenoble, Éd. PUG, Coll. «La Communication en plus», 1995.
- Darnton Robert, La France, ton café fout le camp, *Actes de la recherche en sciences sociales*, no. 100, décembre 1993, Paris.
- Debray Régis, *Croire, voir, faire. Traverses*, Paris, Éd. Odile Jacob, coll. «Le Champ médiologique», 1999.
- Dumas Robert, La médiologie, un savoir nostalgique, mai 1993, revue *Critique*, no. 552, Paris.
- Frodon, Jean-Michel, *La projection nationale, cinéma et nation*, Paris, Éd. Odile Jacob, coll. «Le Champ médiologique», 1998.
- Gras Alain, *Les macro-systèmes techniques*, Paris, Éd. PUF, coll. «Que suis-je?», 1997.
- Gras Alain et Sophie, Poirot-Delpech L., *Grandeur et dépendance. Sociologie des macro-systèmes techniques*, Paris, PUF, 1993.
- Heinich Nathalie, *Du peintre à l'artiste, artisans et académiciens à l'âge classique*, Paris, Éd. de Minuit, 1993.

- Heinich Nathalie, L'aura de Walter Benjamin, *Actes de la recherche en sciences sociales*, no. 49, septembre 1983, Paris.
- Landes David, *L'Heure qu'il est. Les horloges, la mesure du temps et la formation du monde moderne*, Paris, Éd. Gallimard, 1987.
- Latour Bruno, *Petite réflexion sur le culte moderne des dieux faitiches*, Paris, Éd. Les Empêcheurs de penser en rond, 1996.
- Latour Bruno, Hennion Antoine, Comment devenir célèbre en faisant tant d'erreurs à la fois..., *Cahiers de médiologie*, no. 1, 1996, Paris, Éd. Gallimard.
- Lévy Pierre, *Les technologies de l'intelligence. L'avenir de la pensée à l'ère informatique*, Paris, Éd. La Découverte, coll. «Sciences et société», 1990.
- Malinowski Bronislaw, *Une théorie scientifique de la culture*, États-Unis, The University of North Carolina Press, 1944; Paris, Éd. F. Maspero, trad. franç., 1968 (rééd. Éd. du Seuil, coll. «Points»).
- Meyer Luc de, *Vers l'invention de la rhétorique. Une perspective ethnologique sur la communication en Grèce ancienne*, Louvain-la-Neuve, Éd. Peeters, 1997.
- Piveteau Jean-Luc, *Le temps du territoire. Continuités et ruptures dans la relation de l'homme à l'espace*, Genève, Éd. Zoé, 1995.
- Seris, Jean-Pierre, *La technique*, Paris, Éd. PUF, coll. «Les Grandes Questions de la philosophie», 1994.
- Serres Michel, *Le tiers instruit*, Paris, Éd. F. Bourin, 1991.
- Simondon Georges, *Du mode d'existence de l'objets techniques*, Paris, Éd. Aubier, 1958.
- Travail médiologique, *La route en débats*, no. 2, 1997, Paris, Éd. Ad Rem.
- Les nouveaux cahiers de l'IREPP, *Internet et nous. Le commerce et les échanges: la fin des intermédiaires?*, Paris, Médiation, 1997.

ГЛАВА 5 — СОВЕТ ДИСЦИПЛИН

- Bertho-Lavenir Catherine, *La roue et le stylo. Comment nous sommes devenus touristes*, Paris, Éd. Odile Jacob, coll. «Champ médiologique», 1999.
- Dagognet François, *Écriture et iconographie*, Paris, Éd. Vrin, 1973.
- Dagognet François, *Éloge de l'objet*, Paris, Éd. Vrin, 1989.
- Dagognet François, *Rematérialiser*, Paris, Éd. Vrin, 1989.
- Fabbri Paolo, *La svolta semiotica*, Italia, Éd. Laterza, 1998.
- Jeanneret Yves, *La médiologie de Régis Debray, Communication et langage*, no. 104, 1995, Paris.
- Lepenies Wolf, *Les trois cultures. Entre science et littérature, l'avènement de la sociologie*, Paris, Éd. La Maison des sciences de l'homme, 1991.
- Lieury Alain, *La psychologie est-elle science?*, Paris, Éd. Flammarion, coll. «Dominos», 1997.
- Lubek Ian, *Histoire de psychologies sociales perdues: le cas de Gabriel Tarde, Revue française de sociologie*, 1981, Paris.
- Moscovici Serge, *Psychologie sociale*, Paris, Éd. PUF, coll. «Fondamental», 1984.
- Mumford Lewis, *Technique et civilisation*, Paris, Éd. du Seuil, coll. «Esprit, la cité prochaine», 1950.
- Passeron Jean-Claude, *La raisonnement sociologique. L'espace non poppérien du raisonnement naturel*, Paris, Éd. Nathan, coll. «Essais et recherches», 1991.
- Peretz Henri, *Les méthodes en sociologie. L'observation*, Paris, Éd. La Découverte, coll. «Repères», 1998.
- Tarde Gabriel, *Les lois de l'initiation*, Paris, Éd. Kime, 1993.
- Tarde Gabriel, *L'opinion et la foule*, Paris, Éd. PUF, 1989.
- Le Genre humain*, no. 33, 1988: «Interdisciplinaires», Paris, Éd. du Seuil.

ГЛАВА 6 — ЗАЧЕМ ЗАНИМАТЬСЯ МЕДИОЛОГИЕЙ?

- Bone E., Donnea F.-X. (de), Deurinck G., Haenes A. (d'), Fourez G., Fox R., Fransen G., Guelluy R., Jacquemin A., Ladrrière J., Lévy P.-M.-G., *Responsabilité éthique dans les sciences*, Louvain-la-Neuve, Éd. PUF, Groupe de synthèses de Louvain, 1982.
- Breton Philippe, *A l'image de l'homme. Du Golem aux créatures virtuelles*, Paris, Éd. du Seuil, 1995.
- Brocard Bastien, *La révolution numérique est-elle maîtrisée? Genèse du bogue de l'an 2000*, Grenoble, Institut d'études politiques, mémoires de fin d'études sous la direction de D. Bougnoux, 1989.
- Caune Jean, *Pour une éthique de la médiation. Le sens des pratiques culturelles*, Grenoble, Éd. PUG, 1999.
- Guillaume Marc, sous la direction Janicaud Dominique, *La puissance du rationnel*, Paris, Éd. Gallimard, 1985.
- Païni Dominique, *Conserver, montrer*, Paris, Éd. Yellow Now, 1992.
- Perriault Jacques, *La communication du savoir à distance*, Paris, Éd. La Découverte, 1996.
- Perriault Jacques, *La logique de l'usage, essai sur les machines à communiquer*, Paris, Éd. Flammarion, 1989.
- Sève Lucien, *Pour une critique de la raison bioéthique*, Paris, Éd. Odile Jacob, 1994.
- Vallet Odon, *Qu'est-ce qu'une religion? Héritages et croyances dans les traditions momothéistes*, Paris, Éd. Albin Michel, coll. «Spiritualités», 1999.
- Weissberg Jean-Louis, *Présences à distance. Pourquoi nous ne croyons plus la télévision*, Paris, Éd. L'Harmattan, coll. «Communication», 1998.
- Terminal*, automne 1996, no. 71–72: «Spécial Internet», Paris, Éd. L'Harmattan.



## ПРИМЕЧАНИЯ

### ГЛАВА I — ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧИ

1. André-Georges Haudricourt, *La technologie, science humaine*, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l'Homme, 1987.

2. Слововое письмо. — *Прим. пер.*

3. Передача власти и обучения (лат.). — *Прим. пер.*

4. Сам по себе (лат.). — *Прим. пер.*

5. Новое поколение электронного *editing* [редактирование (англ.). — *Прим. пер.*] является многообещающим, потому что оно видит, как возрождаются коллекции, редактора, клубы, т. е. структурированные опосредующие совокупности, операторы синтеза и отбора. Новое возникновение фигуры редактора в цифровом архиве может превратить библиотеку будущего в нечто иное, нежели дрейф по океану документов без компаса и береговых ориентиров (Robert Darnton, «Le nouvel âge du livre», *Le Débat*, no. 100).

6. В данном случае имеется в виду не американская компьютерная фирма Infocom, а просто «информация и коммуникация». — *Прим. пер.*

7. Знахаря (англ.). — *Прим. пер.*

8. Люди прямоходящие (лат.). — *Прим. пер.*

9. Незавершенное произведение (англ.). — *Прим. пер.*

10. INA — Institut National de l'Audiovisuel, Национальный аудиовизуальный институт (франц.). — *Прим. пер.*

11. Пинакотекa: картинная галерея (др.-греч.). — *Прим. пер.*

12. Глиптотека: хранилище печатей (др.-греч.). — *Прим. пер.*

13. В данном случае имеются в виду инструменты, замещающие по своей функции части тела. — *Прим. пер.*

14. Самоучка (англ.). — *Прим. пер.*

15. Цит. по: Руссо Ж.-Ж., «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми», в: Руссо Ж.-Ж., *Об общественном договоре. Трактаты*, М.: КАНОН-Пресс, Кучково поле, 1998, с. 82–83.

16. В чрезвычайных обстоятельствах (лат.). — *Прим. пер.*

17. К себе (нем.). — *Прим. пер.*

18. Alain Gras, *Les macro-systèmes techniques*, PUF, «Que sais-je?», 1997.

19. Имеется в виду изобретение письма. — *Прим. пер.*
20. В Шотландии: пирамида из камней как надгробие. — *Прим. пер.*
21. Знаменитые статуи из спрессованного вулканического пепла. — *Прим. пер.*
22. Каменный столб. — *Прим. пер.*
23. Племя североамериканских индейцев. — *Прим. пер.*
24. Или кипу: узелковое письмо со знаками из шерсти ламы или из хлопка. — *Прим. пер.*
25. К человеку, не мыслящему, играющему или говорящему, но советующему (лат.). — *Прим. пер.*
26. Цит. по: Гюго В., *Собор Парижской Богоматери*, пер. с франц. Н. Коган, М., 2008, с. 191–192.
27. Негэнтропия, или «негативная энтропия» (термин Э. Шрёдингера) — свободная энергия для жизни, иногда употребляется как синоним слова «информация». — *Прим. пер.*
28. От противного (лат.). — *Прим. пер.*
29. Юридический термин, означающий «ограничение правоспособности» (лат.). — *Прим. пер.*
30. Предпочтение, отдаваемое молодости и молодежи. — *Прим. пер.*

## ГЛАВА II — «THE MEDIUM IS THE MESSAGE»

1. Медиум — это сообщение (англ.). — *Прим. пер.*
2. Сам по себе (лат.). — *Прим. пер.*
3. Émile Benveniste, «Catégories de pensée et catégories de langage», *Problèmes de linguistique générale*, Paris, Éd. Gallimard, 1996.
4. Presses Universitaires Françaises. — *Прим. пер.*
5. В юридическом смысле. — *Прим. пер.*
6. Вживую (лат.). — *Прим. пер.*
7. Под стеклом, в лабораторных условиях (лат.). — *Прим. пер.*
8. Последнее по порядку, но не по важности (англ.). — *Прим. пер.*
9. Т. е. о фонарях, скамейках и проч. — *Прим. пер.*
10. От лат. lapis: «камень». — *Прим. пер.*
11. По-французски *concis*, где корень тот же, что и в *ciseau*: «долото». — *Прим. пер.*
12. Цит. по: Платон, *Сочинения в 3 томах*, т. 2, М.: Мысль, 1970, с. 216–217, пер. с др.-греч. А. Н. Егунова.

13. Написанное улетучивается и пребывает вовеки (лат.). — *Прим. пер.*
14. Не без иронии (лат.). — *Прим. пер.*
15. Среди многочисленных делений на три эпохи (Гегель, Конт), доставшихся нам от традиции хронофилософских таблиц, вспомним систему Вико. Он различал три разновидности языков (божественный, военный, профанный) и три типа письменных знаков: иероглифические начальных времен, героические и вульгарные (алфавитные). Чтобы перейти от символики к технике, вспомним, что Льюис Мамфорд периодизирует на три эпохи эволюцию систем могущества (добычи и производства энергии), выделяя эотехническую фазу — сочетание воды и древесины, палеотехническую фазу — сочетание угля и железа, и неотехническую фазу — сочетание электричества и сплавов.
16. Прямом эфире (англ.). — *Прим. пер.*
17. Louise Merzeau, «Ceci ne tuera pas cela», *Cahiers de médiologie* no. 6, Éd. Gallimard.
18. «Maçon» по-французски может означать и «каменщик», и «масон». — *Прим. пер.*
19. Волей-неволей (лат.). — *Прим. пер.*
20. Ярости (лат.). — *Прим. пер.*
21. Из ниоткуда (лат.). — *Прим. пер.*
22. Революция как обычно (англ.). — *Прим. пер.*
23. Должность клерка при нотариусе. — *Прим. пер.*
24. Связь между придаточными предложениями через союз «и» там, где мы ожидали бы союзов «где», «когда», «потому что» и пр. — *Прим. пер.*
25. Bernard Stiegler, «Le droit, la technique, l'illettrisme», in *Actions et recherches sociales*, juin 1988, no. 2. См. также «Mémoires gauches», in *La Revue philosophique*, PUF, juin 1990.
26. В разных местах (лат.). — *Прим. пер.*
27. Евангелие (англ.). — *Прим. пер.*
28. Биологический термин, означающий отдельно живущую группу людей. — *Прим. пер.*
29. Leroi-Gourhan, *L'Homme et la matière*, Éd. Albin Michel, 1943, p. 14.
30. Св. Винсент де Поль (1581–1660) — создатель нескольких благотворительных организаций и конгрегаций Католической церкви. — *Прим. пер.*
31. В математике: действующий согласно закону случайных чисел. — *Прим. пер.*
32. Чем-то обязательным (англ.). — *Прим. пер.*

33. Конфуцианские символы. — *Прим. пер.*

34. Здесь можно сослаться на Régis Debray, *Vie et mort de l'image, une histoire du regard en Occident*, chap. VI: «Anatomie d'un fantôme: l'art antique», Éd. Gallimard, «Folio», 1993, p. 261.

35. С тем большим основанием (лат.). — *Прим. пер.*

36. Средневековые художники и скульпторы. — *Прим. пер.*

37. О много обсуждаемом вопросе этого «первого рождения искусства» можно справиться в «Naissances de l'art», Michel Constantini, in *EIDOS*, 1996, *Bulletin international de sémiotique de l'image*.

38. «Дело ума» (итал.). — *Прим. пер.*

39. Академия рисунка (итал.). — *Прим. пер.*

40. См. Nathalie Heinich, *Du peintre à l'artiste. Artisans et académiciens à l'âge classique*, Éditions de Minuit, 1993.

41. Michel Melot, «La notion d'originalité et son importance dans la définition des objets d'art», in *Sociologie de l'art* (sous la direction de Raymonde Moulin), La Documentation française, 1986.

42. Имеется в виду создание Дюшаном своего «Писсуара». — *Прим. пер.*

43. Фонтана (Fontana) Лучио (1899–1968) — аргентинско-итальянский художник и скульптор, автор «Первого манифеста спациализма» (1947). — *Прим. пер.*

44. Стелла (Stella) Фрэнк (р. 1936) — амер. художник и скульптор; минималист; один из десяти наиболее «успешных» художников мира в настоящее время. — *Прим. пер.*

45. Fonds Regional d'Art Contemporain, Региональный фонд современного искусства (Орлеан). — *Прим. пер.*

46. Catherine Millet, «L'art moderne est un musée» Art Press, no. 82, juin 1984.

47. Мюз (Muz) Жюли Атлас — современный концептуальный перформер и хореограф (Нью-Йорк). — *Прим. пер.*

48. Кунеллис (Kounellis) Яннис (р. 1936) — живущий в Риме греческий художник; в конце 60-х гг. выставил в одной инсталляции 11 живых лошадей. — *Прим. пер.*

49. Мандзони (Manzoni) Пьеро (1933–1963) — итальянский художник, иронический концептуалист; в 1961 г. выставил 90 баночек с собственными экскрементами, назвав «работу» «Дерьмо художника». — *Прим. пер.*

50. Имеется в виду спираль, выложенная американским художником Робертом Смитсоном в 1970 г. в скальном грунте недалеко от Солт-Лейк-Сити. — *Прим. пер.*

51. Вне (англ.). — Прим. пер.
52. Не на месте (лат.). — Прим. пер.
53. «Бедного искусства» (итал.). — Прим. пер.
54. Ливайн (Levine) Шерри (р. 1947) — американский фотограф-концептуалист; фотографировала произведения Ван Гога и пр., называя их своими. — Прим. пер.
55. Стёртевант (Sturtevant) Илейн (р. 1930) — амер. художница, все работы которой — копии произведений других художников. — Прим. пер.
56. Джонс (Johns) Джаспер (р. 1930) — основоположник абстрактного экспрессионизма, вместе с Робертом Раушенбергом. — Прим. пер.
57. Вызов и реакция (англ.). — Прим. пер.
58. Представление должно продолжаться (англ.). — Прим. пер.
59. История успеха (англ.). — Прим. пер.
60. Джавашефф, Христо (р. 1935) — американский художник — преобразователь окружающей среды; болгарин по происхождению. — Прим. пер.
61. Духа времени (нем.). — Прим. пер.

### ГЛАВА III — «ВОТ ЭТО УБЬЕТ ТО»

1. Цит. по: Гюго В., *Собор Парижской Богоматери*, пер. с франц. Н. Коган, М., 2008, с. 184–185.
2. «Снизу вверх» (англ.). — Прим. пер.
3. «Сверху вниз» (англ.). — Прим. пер.
4. *Cahiers de médiologie*, no. 3, coordonné par Catherine Bertho-Lavenir, где содержится ответ на поставленный вопрос; Éd. Gallimard.
5. Чудесные свойства этого носителя рассмотрены в *Cahiers de médiologie*, no. 4, coordinateurs: Pierre-Marc de Biasi et Marc Guillaume.
6. Большой Рифт — гигантский геологический разлом, протянувшийся от Сирии до Мозамбика. Включает в себя долину Иордана, Мертвое море, Красное море, а в Африке — озера Танганьика, Киву, Альберт и Виктория. — Прим. пер.
7. Самодвижением и из ничего (лат.). — Прим. пер.
8. Деньги по-латыни *rescilia*, что происходит от *rescis* «скот». — Прим. пер.
9. Слово «религия» происходит от лат. глагола *religare* «связывать». — Прим. пер.

10. На иврите слово «алия», означающее «переезд в Израиль», тоже буквально значит «восхождение». — *Прим. пер.*
11. Человек путешествующий (лат.). — *Прим. пер.*
12. Maxime Rodinson, *Mahomet, Le Seuil*, 1968.
13. Leroi-Gourhan, *Le geste et la parole*, Éd. Albin Michel, 1964.
14. Ибо город в конечном итоге победил. Возвращение к фетишистскому укладу (католицизм) неизбежно приходит на смену буйству пустыни, или Абсолюту, явленному через пустоту. На христианском Западе клирики победили отшельников, как готические арки — оазисы. Это не другая история, но продолжение первой.
15. Как известно, пианист Глен Гульд долгие годы своей жизни не выступал в концертных залах, но шлифовал технику игры специально для записи на грампластинки. — *Прим. пер.*
16. Dominique Païni, «Faire violence, à propos du «trafic» des cassettes video», *Cahiers du cinéma*, no. 524, mai 1998.
17. Walter Benjamin, *Essais, 1935–1940*, Paris, Éd. Denoël-Gonthier, 1983.
18. Иглесиас (Iglesias) Пабло (1850–1925) — основатель и секретарь Испанской социалистической рабочей партии. — *Прим. пер.*
19. Эрр (Herr) Люсьен (1864–1926) — франц. журналист и теоретик социализма, сооснователь газеты «Юманите» (1904). — *Прим. пер.*
20. Это продемонстрировано в *Révolution numérique et reconstruction de l'individu*, rapport des *Cahiers de médiologie* в IMCA (International Medias consultants associés, Ассоциация консультантов международных медиа), Paris, 1999.
21. Имеется в виду труд Чарльза Дарвина «Путешествие вокруг света на корабле «Бигль». — *Прим. пер.*
22. Milan Kundera, *L'Immortalité*, Éd. Gallimard, 1990, p. 69.
23. Имеется в виду Триумфальная арка, построенная по приказу Наполеона в 1806–1808 гг. — *Прим. пер.*
24. Акты, опубликованные в *L'abus monumental*, Paris, Éd. du Patrimoine, Fayard, 1999.
25. Pierre Lévy, *Les technologies intellectuelles*, Éd. La Découverte, 1980, p. 169.
26. David Landes, *L'heure qu'il est*, Éd. Gallimard, 1987, p. 98.
27. Опоры на собственные силы (англ.). — *Прим. пер.*
28. Популярнейшая калифорнийская рок-группа, существовавшая с 1965 по 1975 г. (англ.). Существует очень много интернет-сообществ любителей этой группы. — *Прим. пер.*

29. Гражданскому неповиновению (англ.). — *Прим. пер.*

30. Вещания (англ.). — *Прим. пер.*

31. Monique Sicard, *L'année 1895, l'image écartelée entre voie et savoir*, Éd. Les Empêcheurs de tourner en rond, 1994.

32. См. Françoise Gaillard, in *Cahiers de médiologie*, no. 6, p. 261, Éd. Gallimard.

33. «Мир и любовь» (англ.). — *Прим. пер.*

34. Jacques Perriault, *La logique de l'usage. Essai sur les machines à communiquer*, Éd. Flammarion.

35. «Первые месяцы, и даже первые годы развития нового медиа, как правило, представляют собой период неопределенности, когда происходят переговоры по поводу вписывания новой техники в ее окружение. Те, кто внедряет новую технику, должны учитывать конкурирующие технологии упорядоченной окружающей среды. Фактически технология весьма редко появляется посреди девственного ландшафта. И редко бывает так, что она способствует полному исчезновению предшествующих технических решений (тем не менее, это случается: телеграф Шаппа бесповоротно исчез, как и дилижансы). Кроме того, медиа должны вести переговоры с глубинно укорененными в обществе практиками коммуникации. Так, телефон у своих истоков должен был вписаться в «цивилизацию нравов» конца XIX в., когда межличностные отношения улаживались посредством строгого этикета. Необходимо было, чтобы устроители телефонной связи изобрели новый этикет, делающий пользование телефоном приемлемым. И неслучайно, что переход сети Интернета от по преимуществу университетского применения к применению коммерческому проходит сегодня через формирование нового «нетикета». Видеотелефону в свое время пришлось — безуспешно — вести переговоры с проблемами власти в фирмах и обществах». Catherine Bertho-Lavenir, «L'histoire des médias au risque de la technologie», in *La question médiatique*, Éd. Arslan, 1997.

36. Из ничего (лат.). — *Прим. пер.*

37. См. Alain Gras, «La technique, le milieu, et la question du progrès: hypothèses sur un non-sens», *Revue européenne des sciences sociales*, no. 108, 1997.

38. Военная диктатура, правившая в эпоху Эдо (1603–1868 гг.). — *Прим. пер.*

39. Гордон Мур, один из создателей фирмы «Интел», вывел этот закон в 1965 г. — *Прим. пер.*

40. Метафорическое название Франции (франц.). — *Прим. пер.*

41. Игра, когда бегущего нельзя преследовать, если он на что-либо взобрался (*франц.*). — *Прим. пер.*
42. Monique Sicard, «Éco-médio, la paire imparable», *Cahiers de médiologie*, no. 6, p. 83–93, Éd. Gallimard.
43. Имеется в виду экология. — *Прим. пер.*
44. Ibid., p. 89.
45. Serge Tisseron, *Comment l'esprit vient aux objets*, Augier, 1999. См. также *Abécédaire médiologique*, его статью «Environnement», in *Cahiers de médiologie*, No. 6. Éd. Gallimard.
46. François Jullien, *Procès ou création, une introduction à la pensée chinoise*, Éd. du Seuil, 1989.
47. Произведение Ролана Барта о Японии. — *Прим. пер.*
48. Maurice Sachot, *L'invention du Christ, genèse d'une religion*, Éd. Odile Jacob, 1998.
49. Государство (*лат.*). — *Прим. пер.*
50. Суеверия (*лат.*). — *Прим. пер.*
51. Истинную и римскую религию (*лат.*). — *Прим. пер.*
52. Церковь (*лат.*). — *Прим. пер.*
53. Школы (*др.-греч.*). — *Прим. пер.*
54. Maurice Sachot, *Christianisme et philosophie*, Société angevine de philosophie, avril 1999.
55. Матьеризм — направление в современной французской живописи, характеризующееся использованием рельефных мазков и различных материалов. — *Прим. пер.*
56. В конце каждой *Cahier de médiologie* располагается своя антология, где на каждую тему читатель найдет ряд зачастую неожиданных ссылок. Общая антология находится в процессе подготовки.
57. Мудрость с оттенком коварства, по имени относящейся к титанам богини Метис, или Метиды (*др.-греч.*). — *Прим. пер.*
58. Ж. Делёз в книге «Кино» писал о том, что французское кино 30-х гг. достигло особой изобретательности в изображении воды. — *Прим. пер.*
59. Рубо (Roubaud) Жак (р. 1932) — франц. математик и поэт, член группы «Улипо». — *Прим. пер.*
60. *Ouvroir de littérature potentielle* (*франц.*). Литературная группа, основанная в 1960 г. В нее входили такие авторы, как Итало Кальвино, Реймон Кено, Жорж Перек. — *Прим. пер.*
61. Жуффруа (Jouffroy) Ален (р. 1928) — писатель и поэт-авангардист, левый публицист, знаток японской культуры. — *Прим. пер.*



62. Цит. по: Декарт Р., *Сочинения*, СПб.: Наука, 2006, с. 55. — *Прим. пер.*
63. *Nouvelle Revue Française (франц.)*. — *Прим. пер.*
64. Имеется в виду ранняя фотография. — *Прим. пер.*
65. «Но, на мой взгляд, малый эффект, будучи подлинно волнующим, кажется мне превосходящим всякое лживое чародейство, пасторали которого окружают похоронные марши» (Walter Benjamin, *Enfance berlinoise*, 1932–1935).
66. Иннис (Innis) Гарольд (1894–1952) — профессор политэкономии, в последние годы жизни занимавшийся проблемами коммуникации; учитель Маклюэна, вдохновивший его на написание «Галактики Гутенберга». — *Прим. пер.*
67. Де Керков (de Kerkove) Деррик — директор-основатель Глобальной исследовательской сети Маклюэна. — *Прим. пер.*
68. Онг (Ong) Уолтер Джексон (1912–2003) — амер. священник-иезуит; профессор английской литературы, историк культуры и религии, философ. — *Прим. пер.*
69. Гуди (Goody) Джек (р. 1918) — англ. профессор антропологии, исследователь систем родства и систем письменности. — *Прим. пер.*
70. Постмэн (Postman) Нейл (1931–2003) — амер. медиатеоретик и критик культуры, разработал программу экологии медиа. — *Прим. пер.*
71. Более пространные комментарии мы найдем в «Pourquoi des médiologies?», *Cahiers de médiologie*, no. 6, Éd. Gallimard.
72. «Социология не могла появиться перед тем, как возникло ощущение, что общества, как и остальной мир, подчиняются законам, с необходимостью образующимся от их природы и выражающих ее. Как бы там ни было, эта концепция формировалась очень медленно. На протяжении столетий люди считали, что даже минералы не управляются определенными законами, но могут принимать всевозможные формы и свойства, если только на них окажет воздействие достаточно мощная воля. Полагали, будто известные формулы или известные жесты обладают свойством преобразовывать неодушевленное тело в живое существо, человека в животное или растение, или наоборот. Этой иллюзии, к которой мы имели своеобразную инстинктивную склонность, конечно, предстояло просуществовать дольше в сфере социальных фактов. На самом деле, поскольку они гораздо сложнее фактов естественных, порядок, который они представляют, заметить гораздо сложнее, а следовательно, мы склонны полагать, что все

происходит случайным и более или менее беспорядочным образом» («*De la methode dans les sciences*», F. Alcan, 1909).

73. Марк, *Introduction generale à la critique de l'économie politique*, 1857 [цит. по: Маркс К., «Введение (Из экономических рукописей 1857–1858 годов)», в: Маркс К., Энгельс Ф., Сочинения, изд. 2-е, т. 12, с. 731].

74. Передача (англ.). — Прим. пер.

## ГЛАВА IV — ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИМВОЛОВ

1. Американский кинорежиссер Орсон Уэллс 31 октября 1938 г. поставил радиопостановку «Война миров» по роману Г. Дж. Уэллса, что вызвало панику жителей штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси, принявших ее содержание за реальность. — Прим. пер.

2. Antoine Hennion, «Le pouvoir de la musique: de la création, du goût et de la sociologie», *Cahiers du CECEDM*, Lyon, La Médiation, 1997, p. 15.

3. Способ применения (лат.). — Прим. пер.

4. Произведение (лат.). — Прим. пер.

5. Фигура речи, состоящая в опущении грамматически необходимых членов предложения. — Прим. пер.

6. Грамматическая или синтаксическая неправильность, примененная с риторической целью. — Прим. пер.

7. Малое — прекрасно (англ.). — Прим. пер.

8. Малое — действительно (англ.). — Прим. пер.

9. Попечение о душах (лат.). — Прим. пер.

10. Иисус, Спаситель Человеков (лат.). — Прим. пер.

11. Простонародья (лат.). — Прим. пер.

12. «О распространении веры» (лат.). Организация Римской курии по евангелизации народов, основанная Палой Григорием XV в 1922 г. — Прим. пер.

13. В оригинале — *sens César*, «Кесарев смысл». — Прим. пер.

14. Евдокимов (Evdokimov) Павел (1901–1970) — представитель так называемой Парижской школы русского богословия, профессор Свято-Сергиевского института. — Прим. пер.

15. Менестрье (Menestrier) Клод (1631–1705) — один из крупнейших антикваров и специалистов по геральдике своего времени; стремился к синтезу знаний. — Прим. пер.

16. IESVS NAZARENVS REX IVDAEORVM, Иисус Назарей, царь иудейский, согласно Иоанну 19:19, надпись, сделан-

ная Понтием Пилатом на кресте над головой Иисуса Христа. — *Прим. пер.*

17. См. *La pointe ou l'art de génie*, traduction Michèle Gendreau-Massaloux et Pierre Laurens, préface de Marc Fumaroli, L'Age d'homme, 1983, p. 21.

18. Остин (Austin) Джон (1911–1960) — британский философ-аналитик, представитель лингвистической философии. — *Прим. пер.*

19. Edgar Poe, Éd. Gallimard, coll. «La Pléiade», p. 156.

20. Лечения разговором (англ.). — *Прим. пер.*

21. Черного ящика (англ.). — *Прим. пер.*

22. В зародыше (лат.). — *Прим. пер.*

23. «Не удалась моя карьера, И это по вине Вольтера, Судьбы сломалось колесо, И в этом виноват Руссо» (Гюго В., *Отверженные*, пер. с франц. К. Люкса, М., 2008, с. 636). — *Прим. пер.*

24. В Евангелии от Иоанна сказано иначе: «Никто не может придти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня» (Ин. 6, 44). — *Прим. пер.*

25. Широко распространенная итальянская поговорка, основанная на созвучии слов и означающая «переводчик — предатель». — *Прим. пер.*

26. То, что на выходе (англ.). — *Прим. пер.*

27. То, что на входе (англ.). — *Прим. пер.*

28. Намек на то, что имя апостола Петра по-гречески означает «камень». — *Прим. пер.*

29. Ланьо (Lagneau) Жюль (1851–1894) — вошел в историю, главным образом, как учитель Алена по лицу Мишле. — *Прим. пер.*

30. Тем самым (лат.). — *Прим. пер.*

31. Во французском языке слово *clerc* означает «клирик» и «клерк». — *Прим. пер.*

32. Так называемая «Персональная прелатура святого Креста и Католической Церкви», основана в Испании в 1928 г. Хосе-мари-Эскрива. Учит, что повседневные дела — это путь к святости. — *Прим. пер.*

33. Посредника, связующего звена, третейского судьи (англ.). — *Прим. пер.*

34. Именем Сената и римского народа (лат.). — *Прим. пер.*

35. Христианская проповедь. — *Прим. пер.*

36. Фор (Faure) Эли (1873–1937) — франц. историк искусства и эссеист. Автор классических биографий Наполеона и Веласкеса. — *Прим. пер.*

## ПРИМЕЧАНИЯ

37. Хаскелл (Haskell) Фрэнсис (р. 1928) — профессор Оксфордского университета, историк эстетического вкуса. — *Прим. пер.*

38. Баксэндэлл (Baxandall) Майкл (р. 1933) — профессор Калифорнийского университета, автор монументальной истории искусства. — *Прим. пер.*

39. Альперс (Alpers) Светлана (р. 1936) — профессор Калифорнийского университета в Беркли, специалист по Рембрандту и Рубенсу. — *Прим. пер.*

40. Попытка именно этого проведена в Régis Debray, *Vie et mort de l'image, une histoire du regard en Occident*, Éd. Gallimard, 1992.

41. Дарнтон (Darnton) Роберт (р. 1939) — американский историк Франции. — *Прим. пер.*

42. Robert Darnton, «La France, ton café fout le camp, de l'histoire du livre à l'histoire de la communication», *Actes de la recherche en sciences sociales*, no. 100, decembre 1993.

43. Odon Vallet, *Qu'est-ce qu'une religion? Heritage et croyance dans les traditions monothéistes*, Albin Michel, 1999.

44. Edith et François-Bernard Huyghe, *Les empires du mirage*, Robert Laffont, 1992.

45. Организованная в 1996 г. в *Cahiers de médiologie* встреча между ответственными за различные транспортные сети (президента Международной федерации шоссейных дорог, президента Морских путей Франции, представителя Национального общества железных дорог и представителя «Эр Франс»), министерством транспорта и генеральным комиссаром по Плану, на тему «Конкуренция или взаимная дополнительность утопий», позволила констатировать, что технические дебаты стремительно превращаются в идеологическую дискуссию с политическими недомолвками. Вопрос о том, следует ли ставить в привилегированное положение шоссейную дорогу по сравнению с каналами, или железную дорогу по сравнению с автострадой — помимо соображений о вредности — противопоставляет сравнительную стоимость и безопасность каждого вектора, реальных мировоззрений и общества.

## ГЛАВА V — СОВЕТ ДИСЦИПЛИН

1. Лингвистический поворот (англ.). — *Прим. пер.*

2. Paolo Fabbri, *La svolta semiotica*, Ed. Laterza, 1998.

3. Гордыня (др.-греч.). — *Прим. пер.*

4. Pierre Lévy, *L'hyperscène*, «De la communication spectaculaire à la communication tous-tous», *Cahiers de médiologie*, no. 1, Éd. Gallimard.

5. Чудодейственный состав для превращения металлов в золото. — *Прим. пер.*

6. См. Bernard Stiegler, «Les enjeux de la numérisation des objets temporels», in *Cinéma et dernières technologies*, INA, Éd. De Boeck, 1998.

7. См. Régis Debray, *Image n'est pas langage, manifestes médiologiques*, Éd. Gallimard, 1996.

8. Существовать — значит быть воспринимаемым (*лат.*). Выражение, принадлежащее английскому философу Джорджу Беркли. — *Прим. пер.*

9. Фон (*англ.*). — *Прим. пер.*

10. Что (*лат.*). — *Прим. пер.*

11. Каким образом (*лат.*). — *Прим. пер.*

12. См. *Psychologie sociale*, publié sous la direction de Serge Moscovici, PUF, coll. «Fondamental», 1984.

13. В чрезвычайных обстоятельствах (*лат.*). — *Прим. пер.*

14. «Что вы говорите?» — воскликнула герцогиня, останавливаясь на секунду по дороге к карете и поднимая красивые голубые глаза, меланхоличные, но исполненные неуверенности. Оказавшись первый раз в жизни между двумя столь различными обязанностями, как садиться в карету, чтобы ехать на званый обед, и выразить соболезнование умирающему, она не находила в кодексе светских приличий статьи, которая бы указывала, как ей следует поступить, и, не зная, чему отдать предпочтение, сочла долгом сделать вид, будто не верить самому существованию второй обязанности, чтобы со спокойной совестью повиноваться первой, требовавшей гораздо меньше усилий; словом, герцогиня подумала, что лучшим способом разрешения конфликта будет его отрицание. «Вы изволите шутить, — сказала она Свану» (Пруст М., *Германт*, пер. с франц. А. А. Франковского, М., 1936, с. 654).

15. McLuhan, *Pour comprendre les médias*, p. 345, Éd. Mame, Seuil, 1968 [цит. по: Маклюэн М., *Понимание медиа*, пер. с англ. В. Г. Николаева, М., 2007, с. 342].

16. Régis Debray, *L'État séducteur*, Éd. Gallimard, 1997.

17. *Les lois sociales*, p. 59, œuvres de Gabriel Tarde, vol. IV, *Les Empêcheurs de penser en rond*, réédition 1999.

18. Marcel Mauss, «Les techniques du corps», in *Sociologie et anthropologie*, PUF, 1950.

19. Фридман (Fridman) Жорж (1902–1977) — социолог и фи-

- лософ, один из основателей — вместе с Э. Мореном и Р. Бартом — Центра по изучению коммуникаций. — *Прим. пер.*
20. Georges Friedmann, *Problèmes humains et machinisme industriel* (1946); *Où va le travail humain?* (1954).
21. Члена общества (лат.). — *Прим. пер.*
22. Имеется в виду исследование известного французского социолога Пьера Бурдьё и его коллег «Обывательское искусство: очерк социальных способов использования фотографии» (1965).
23. Имеется в виду памфлет Пьера Бурдьё «О телевидении» (1996). Рус. перевод см.: Бурдьё П., *О телевидении и журналистике*, пер. с франц. Т. В. Анисимовой и Ю. В. Марковой, М.: Фонд научных исследований «Прагматика культуры», Институт экспериментальной социологии, 2002.
24. Bruno Latour, *Petite réflexion sur le culte moderne des dieux faitiches*, Éd. Les Empêcheurs de penser en rond, 1996.
25. Американским планом называется вид человека до пояса, средним планом — вид во весь рост. — *Прим. пер.*
26. Институт исследований сознания (англ.). — *Прим. пер.*
27. Человек беседующий (лат.). — *Прим. пер.*
28. Человек советующий (лат.). — *Прим. пер.*
29. С пользой можно прочесть уточнения в: Daniel Bougnoux, *Acheminements du sens. De la pragmatique à la médiologie*, Université de Louvain, 1998.
30. Jean-Pierre Rioux, Jean-François Sirinelli, *Pour une histoire culturelle*, Le Seuil, 1997, p. 17.
31. Вживую (лат.). — *Прим. пер.*
32. Муза Истории. — *Прим. пер.*
33. Pascal Ascot, *Histoire de l'écologie*, PUF, 1988.
34. К примеру (лат.). — *Прим. пер.*
35. Roger Chartier, «Sociologie des textes, histoire du livre», *Le Débat*, no. 85 (mai-août 1995).
36. В конце (лат.). — *Прим. пер.*
37. На поле битвы (нем.). — *Прим. пер.*
38. Персонаж романа Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». — *Прим. пер.*
39. Сеть французских электростанций. — *Прим. пер.*
40. Прекрасный новый мир (англ.). Название романа О. Хаксли. — *Прим. пер.*
41. «Знаки» (англ.). — *Прим. пер.*
42. Длительное время. — *Прим. пер.*
43. Пруст М., *В сторону Свана*, пер. с франц. А. А. Франковского, М., 1934, с. 5.

44. Желательное, или повелительное наклонение. — *Прим. пер.*
45. Наклонение, указывающее на частотность действия. — *Прим. пер.*
46. Закадрового голоса (англ.). — *Прим. пер.*
47. Régis Debray, *Vie et mort de l'image, une histoire du regard en Occident*, Paris, Gallimard, 1985.
48. Вечную философию (лат.). — *Прим. пер.*
49. См. в наших *Manifestes médiologiques*, Gallimard, 1994; chap. III, «Un parcours philosophique», p. 105.
50. Всякое благо распространяется посредством саморастекания. — *Прим. пер.*
51. *Les Annales*, novembre 1935.
52. Намек на знаменитую одноименную работу Ж. Батая. — *Прим. пер.*
53. Pierre-Maximilien Schul, *Machinisme et philosophie*, Paris, 1938; François Dagognet, *L'invention de notre monde: l'industrie, pourquoi et comment?*, Encre marine, 1995.
54. Bernard Stiegler, *La technique et le temps*, 2 vol., Galilée, 1994 et 1996.
55. François Guéry, *La société industrielle et ses ennemis*, Orban, 1992.
56. Непременное условие (лат.). — *Прим. пер.*
57. См. Régis Debray, *Le pouvoir intellectuel en France*, Ramsay, 1979.
58. Ситуационизм — альтернативная революционная доктрина, выдвинутая Ги-Эрнестом Дебором (1931–1994), создавшим так называемый Ситуационистский Интернационал в 1957 г. и написавшим в 1967 г. культовую книгу «Общество спектакля». См. рус. пер.: Дебор Г., *Общество спектакля*, пер. с франц. С. Офертаса и М. Якубович под ред. Б. Скуратова, М.: Логос, 2000. — *Прим. пер.*
59. Парад любви (англ.). — *Прим. пер.*
60. Репортажу непосредственно с места события (англ.). — *Прим. пер.*
61. См. «La querelle du spectacle», *Cahiers de médiologie*, no. 1, 1996, coordinateur Daniel Bounoux.
62. Yves Jeanneret, «La médiographie a la croisée des chemins», *Cahiers de médiologie*, no. 6, Gallimard, 1998, а также «La médiologie de Régis Debray», *Communication et langages*, no. 104, 1995.

63. Robert Darnton, «La France, ton café fout le camp», *Actes de la recherches en sciences sociales*, no. 100, décembre 1993.

64. Augustin Cochin, *La Révolution et la libre pensée*, Paris, Plon, 1923.

65. Более подробный анализ см. в *Cours de médiologie générale*, 9e leçon: «Vie et mort d'un écosystème: le socialisme», Paris, Gallimard, 1991.

66. «Двойная связь» (англ.). Термин из теории шизофрении Грегори Бейтсона (1961); два противопоставленных варианта, решение которых на самом деле одинаково. — Прим. пер.

67. Maurice Sachot, «La médiologie comme discipline», *Cahiers de médiologie*, no. 6, *Pourquoi des médiologues?*

68. Мы рождаемся между калом и мочой (лат.). — Прим. пер.

69. С соответствующими изменениями (лат.). — Прим. пер.

70. Первоначально: послужной список государственных должностей в Римской республике и ранней Империи, необходимый для избрания в Сенат. — Прим. пер.

71. По-французски réseau — «сеть» и raison — «разум» читаются почти одинаково, и Р. Дебрэ говорит, что это одно и то же. — Прим. пер.

72. Понятие, введенное во французскую философию науки Г. Башляром в целях объяснения механизмов рождения современной науки и использованное французским философом-марксистом Л. Альтюссером для интерпретации «Капитала» К. Маркса. — Прим. пер.

73. Герой комедии Ж.-Б. Мольера «Мещанин во дворянстве», неожиданно узнавший, что «все мы говорим прозой». — Прим. пер.

74. С тем большим основанием (лат.). — Прим. пер.

75. Намек на знаменитую работу Марка Блока (1886–1944) «Апология истории, или ремесло историка». — Прим. пер.

76. Ничейную землю (англ.). — Прим. пер.

## ГЛАВА VI — ЗАЧЕМ ЗАНИМАТЬСЯ МЕДИОЛОГИЕЙ?

1. См. Yvon Quiniou, *Problèmes du matérialisme*, Méridiens-Klinksieck, 1987.

2. Mikkel Borch-Jacobsen, *La Psychanalyse est-elle un conte de fées scientifique?*, Chicago, avril 1998.



3. Sophie Jankélévitch, «Durkheim, du descriptif au normatif», in *Futurs antérieurs*, 1993, no. 5/6.
4. Во влечении к знанию (лат.). — Прим. пер.
5. Сеанс психоанализа (англ.). — Прим. пер.
6. Pierre Bourdieu, *Réponses*, Éd. du Seuil, 1992, p. 131.
7. Pierre Lévy, «La place de la médiologie dans le trivium», in *Cahiers de médiologie*, no. 6, 1998, p. 43.
8. Внешней привлекательности науки (англ.). — Прим. пер.
9. Ангельский доктор (лат.). Прозвище Фомы Аквинского. — Прим. пер.
10. Pierre Lévy, *Qu'est-ce que le virtuel?*, Paris, Éd. La Découverte, 1994.
11. Леви (Lévy) Пьер (р. 1956) — профессор факультета коммуникации Оттавского университета. — Прим. пер.
12. Имеется в виду концепция современного итальянского мыслителя Поля Вирилио. — Прим. пер.
13. В общем и целом (лат.). — Прим. пер.
14. Рус. пер.: Йонас Г., *Принцип ответственности*, пер. с нем. И. И. Маханькова, М.: Айрис-Пресс, 2004.
15. Рус. пер.: Вирилио П., *Информационная бомба. Стратегия обмана*, пер. с франц. И. Окуновой под ред. Б. Скуратова, М.: Фонд научных исследований «Прагматика культуры», Логос, 2002.
16. Старший Брат (англ.). «Старший Брат смотрит на тебя» — подпись под портретами диктатора из романа Дж. Оруэлла «1984»; по замечанию Оруэлла, Старший Брат — фикция пропаганды и реально не существует. — Прим. пер.
17. Объединение в сеть (англ.). — Прим. пер.
18. Радио- или телепередача (англ.). — Прим. пер.
19. Единый мир (англ.). — Прим. пер.
20. Конечный довод (лат.). — Прим. пер.
21. Всемирной компании (англ.). — Прим. пер.
22. Мировому торговому центру (англ.). — Прим. пер.
23. Новые технологии информации и коммуникации (англ.). — Прим. пер.
24. Прямой трансляции (англ.). — Прим. пер.
25. От лат. *indigena* — туземный. — Прим. пер.
26. Плавильные котлы (англ.). — Прим. пер.
27. Тело устарело (англ.). — Прим. пер.
28. Мировая деревня (англ.). — Прим. пер.
29. Стандартный американский вариант английского языка (англ.). — Прим. пер.

## ПРИМЕЧАНИЯ

30. Пробелы между этносами и полами (англ.). — Прим. пер.

31. Политическая корректность (англ.). — Прим. пер.

32. Т. е. сельско-городских. — Прим. пер.

33. Здесь можно сослаться на нашу *Critique de la raison politique*, Paris, Gallimard, 1981, где проведен более подробный анализ этого механизма в терминах «принципа постоянства».

34. Jacques Perriault, «Du retard de la France en informatique», in *Cahiers de médiologie*, no. 5, p. 281.

35. Последнее по порядку, но не по значению (англ.). — Прим. пер.

36. Время — деньги (англ.). — Прим. пер.

37. Против (лат.). — Прим. пер.

38. По отношению к (лат.). — Прим. пер.

В издательстве «ПРАКСИС» готовится к выходу:

*Пьер Бурдьё*

**Обывательское искусство.  
Очерк социальных способов  
использования фотографии**

Книга известного французского социолога Пьера Бурдьё «Обывательское искусство. Очерк социальных способов использования фотографии», впервые увидевшая свет в 1965 году, посвящена анализу различных способов исследования фотографии в современном, прежде всего французском, обществе. Обычно занятие фотографией считается частным и притом интимно-личным занятием отдельных индивидов и семей. Однако в действительности, как показывает в своем исследовании Бурдьё, нет ни одного жанра повседневного искусства, которое в столь значительной степени определялось бы социальными практиками и формами жизни, как фотография. Особое внимание в работе уделяется социальным функциям, исполняемым жанром фотографии в современном обществе. Публикация перевода работы Пьера Бурдьё «Фотография: обывательское искусство» позволит представить творчество замечательного французского социолога с новой, непривычной для российского читателя стороны.

**В издательстве «ПРАКСИС» вышла в свет:**

*Светлана Ильинская*

**Толерантность как принцип  
политического действия: история, теория, практика**

Обилие просветительских и адаптационных программ, основанных на традиционных моделях толерантности и направленных на внедрение их принципов, не спасли современный мир от эскалации политического экстремизма и роста бытовой ксенофобии. Жизнь показала, что либеральные рецепты не годятся для ответа на политические вызовы Современности, заставившие усомниться в универсальности многих теоретических схем раннего Модерна, а нелиберальные парадигмы толерантности, будучи инкорпорированы в либеральное сообщество, разрушают его морально-идеологический фундамент. Особую актуальность в связи с этим приобретает изложенная в данной работе оценка возможностей трёх современных политико-философских концепций толерантности и осмысление специфики отечественных режимов толерантности и свойственных им парадигм мышления.

**В издательстве «ПРАКСИС» вышла в свет:**

*Илья Ерохов*

**Современные политические теории:  
кризис нормативности**

Книга посвящена одной из центральных проблем современной политической философии — утрате значения нормативных оснований политики. Предметную основу работы составили три идеологические доктрины: агрегативная, делиберативная и агонистическая. Исследование сфокусировано на стратегиях политического участия, коммуникации и перспективы общественного консенсуса, плюрализма в условиях политической борьбы.

Работа является учебным пособием по курсу «Идея легитимности в современных теориях политики», для аспирантов и магистрантов политологических, социально-философских специальностей.

В издательстве «ПРАКСИС» вышла в свет:

*Карл Шмитт*

**Теория партизана. Промежуточное замечание  
к понятию политического**

Классическая работа известного немецкого правоведа и политического теоретика Карла Шмита, посвященная рассмотрению партизана как «фигуры мирового духа», начиная с его зарождения в ходе борьбы испанского народа против наполеоновских войск в 1808–1813 годах и вплоть до судьбы партизана в ходе «всемирной гражданской войны» XX века.

Режи Дебре

**ВВЕДЕНИЕ В МЕДИОЛОГИЮ**

Оформление обложки *А. Кулагин*  
Макет и верстка *А. В. Иванченко*  
Корректор *Е. В. Феоктистова*

Издательская группа «Праксис»  
ИД № 02945 от 03.10.2000

Подписано в печать 31.10.2009. Формат 84 × 108/32  
Бумага офсетная. Печать офсетная  
Тираж 2000 экз. Заказ 2424

ООО «Издательская и консалтинговая группа „ПРАКСИС“»  
127486, Москва, Коровинское шоссе, д. 9, корп. 2  
<http://www.praxis.su>  
<http://www.politizdat.ru>  
e-mail: [praxis@hotbox.ru](mailto:praxis@hotbox.ru)

Отпечатано с готовых диапозитивов  
в ОАО «Типография „Новости“»  
105005, Москва, ул. Фр. Энгельса, д. 46

**ISBN 978-5-901574-76-8**

